

# КОСТРОМА

ПРОЗА  
ПОЭЗИЯ  
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ  
САТИРА



Писательская организация, 1998 г.



---

Литературный сборник  
Составитель — М.Ф.Базанков

© Писательская организация



## И ВСТРЕТИМСЯ ВНОВЬ

Костромская областная организация Союза писателей России завершает двухгодичный цикл Дней литературы встречами в самых дальних районах нашей области. По согласованию с местными администрациями, с отделами народного образования, культуры, с библиотеками и школами мы получаем благодатную возможность для общения вопреки трудностям, порожденным государственным пренебрежением к провинции. В этой связи можно вспомнить трагические военные и послевоенные годы голода и разрухи: люди спасались не только трудом и надеждами, но и общими праздниками, скромными колхозными гуляньями, кинофильмами и спектаклями в школьных коридорах, детскими концертами, посиделками при лучине и чтением книг. Деревенские собирались зимними вечерами в одной избе — женщины пряли, вязали или штопали детскую одежду, а мужчины, в малом числе уцелевшие за долгие годы жестокого лихолетья, подшивали валенки, ладили сбрую. Вот для них, для этих терпеливых и многое повидавших деревенских жителей, дети и подростки по очереди читали вслух то сказки, рассказы или повести, то «роман с продолжением»...

Верится, и в обстоятельствах нашего времени произойдет возвращение к чтению — замученные преодолением неразберихи, телевизионным окопачиванием, политической трескотней жители русской провинции вновь вспомнят о книгах. А пока нередко приходится слышать о невостребованности новых изданий, вообще, мол, чтение теперь не в моде. Люди читают мало, такая жизнь пошла.

Но вспоминается, вспоминается общий недавний интерес к литературе. Вспоминаю суждение русского мыслителя первой половины двадцатого века И.А. Ильина

о том, что чтение необходимо каждому человеку, поскольку оно является «победой над разлукой, далью и эпохой». Дорогие земляки, не такая ли победа всем нам необходима сегодня — «в век сумасбродства и въедливой лжи» (Л. Попов), во времена коварного отчуждения между людьми, несправедливости, повседневного страха?

Есть в книгах костромских поэтов и прозаиков очень важное — то, что превращает чтение в художественное ясновидение, призванное и способное точно, полно воспроизвести духовное понимание другого человека.

Подумалось вдруг о нынешней равнодушной торопливости, о нежелании вникать в жизнь даже близкого человека, в сказанное, переживаемое другими. Куда уж тут до всего, что выстрадано поэтом, писателем, что укладывается в стихи, повести, романы!.. Нет времени, желания, нет интереса... Тревожат собственные неудачи, невзгоды, обиды, недомогания и нищета (не только материальная). Иногда чувствуешь все-таки — к радости своей — сосредоточенное замирание в зале после нескольких поэтических строк, произнесенных в унисон настроению...

Поэзия воспринимается... Среди будничной суэты еще не у всех «надежно заперт слух». И при заниженном духовном уровне жизни, не говоря уже о материальном, поэтам все-таки удается найти отзыв, созвучие в читательских аудиториях. Поэзия опять востребована и пошла в классический рост. Не потому ли и нам в писательской организации пришлось издательские начинания первонациально посвятить поэзии?.. Останутся особым знаком временем тоненькие поэтические книги Сергея Потехина, Леонида Попова, Татьяны Иноземцевой, Станислава Михайлова, Елены Балашовой, Виктора Лапшина, Анатолия Беляева, Нины Снеговой, Виктора Смирнова, Вячеслава Шапошникова, Николая Муренина, Алексея Зябликова, Светланы Виноградовой, Бориса Дроздова, Евгения Разумова и других поэтов.

Поэтическая «атака» на обстоятельства, содействие общей победе «над разлукой, далью и эпохой» обеспечивается серией «Литературная Кострома» и подкреплена теперь изданием прозаических книг Константина Абатурова, Алексея Акишина, Ольги Гуссаковской, Бориса Бочкирева, Василия Травкина, Олега Калинина, Павла Румянцева, Юрия Лебедева, Михаила Базанкова, Владимира Корнилова...

Живем в состоянии напряженного преодоления обстоятельств, нередко приходящего чувства одиночества. Я имею в виду не то одиночество, когда рядом нет ни друзей, ни родных, а когда у тебя нет возможности передать чувства, мысли, душевное состояние, с тревогой или печалью высказать свое суждение близкому по сердцу и разуму другому человеку, когда тебя некому прочитать, услышать и понять. Именно в поисках единомышленников, отзыва в другой душе, в поисках душевного простора пишутся книги. Может быть, по таким же причинам стремятся костромские поэты и прозаики в районы — к людям, которые тоже устали в отчужденности, забытости, в неразделенных тревогах о будущем детей и внуков.

Дни литературы в первую очередь служат общению и взаимному интересу. Мы надеемся увидеть заинтересованность в лицах школьников и учителей, работников культуры и библиотек, администраторов района и сельских жителей. Уверен: как и повсюду, наши намерения будут поняты и правильно восприняты; как и повсюду, эти встречи помогут увидеть, узнать талантливых, душевно богатых и щедрых людей русской провинции, в жестоких обстоятельствах не утративших интереса к Слову.

Пусть наши встречи окажутся добрыми знаками преодоления заброшенности, одиночества. Убежденный в том, что в России нет более сильных людей, чем поэты, способные жить, никому не угодая, надеюсь на продолжение доброго знакомства. Когда-нибудь мы встретимся вновь, если не очно, то — при помощи книг, которые будут востребованы.

Мы выбрали эту возможность обращаться к читателям и с помощью возрожденного альманаха. Условия издания, конечно, не позволяют выдержать определенный качественный уровень, порадовать авторов достойными гонорарами. Но альманах зафиксирует на многие годы часть наших дум и тревог, напомнит людям о том, что очень важно на все времена.

**Михаил Базанков**  
председатель областной писательской организации,  
секретарь Правления Союза писателей России.



## К 175-летию со дня рождения

### МУДРОСТЬ ОСТРОВСКОГО

Не всякому большому писателю выпадает на долю при жизни услышать слова полного и заслуженного признания. Островский узнал это счастье. В 1882 году, когда праздновался 35-летний юбилей его литературной деятельности, Гончаров прислал драматургу письмо, в котором были такие слова:

«Вы один достроили здание, в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после Вас мы, русские, можем с гордостью сказать: «У нас есть свой русский, национальный театр». Он, по справедливости, должен называться: «Театр Островского».

Как, наверное, волновался Островский, когда читал это письмо, как дрожал в его руке листок почтовой бумаги! Ведь какую долгую дорогу, состоявшую из борь-

бы за свое призвание, обид непонимания и прямой клеветы, счастливых и изнурительных трудов, должен был он пройти, прежде чем завоевал заслуженное им место на российских подмостках.

Вот уже почти 140 лет, как театр и Островский понятия нераздельные. Однако в русской культуре он еще и нечто большее. Есть авторы пьес, принадлежащие репертуару, и есть вошедшие в пантеон литературы. Островский продолжает полнокровно жить на современной сцене, но не менее важно то, что он по праву считается частью классической русской литературы XIX века.

Традиция читать Островского, а не только видеть на сцене повелась не со вчерашнего дня. Сто лет назад подписчики «Современника» и «Отечественных записок» — журналов, в которых охотнее всего печатался драматург, ждали появления его новой комедии с тем же нетерпением, что и романов Тургенева, повестей молодого Толстого, поэм Некрасова. И.И. Панаев, редактировавший вместе с Некрасовым «Современник», умолял Островского скорее прислать новую пьесу, так как без нее журнал «погибнет». А в «Отечественных записках» в 70-е годы прошлого века существовал добрый обычай — открывать ежегодно первую книжку журнала комедией Островского, хотя, казалось бы, пьесы не были самым привычным для «толстого» журнала жанром.

«Вообще мы с драмами очень осторожны и, кроме Островского, принимаем неохотно», — писал Салтыков-Щедрин в 1874 году, предостерегая одного заурядного драматурга, вознамерившегося передать журналу свою пьесу.

А Лев Толстой, приглашая Островского (увы, дней за десять до его кончины) к участию в издательстве «Посредник», делал такое признание: «Я по опыту знаю, как читаются, слышатся и запоминаются твои вещи народом, и потому мне хотелось бы содействовать тому, чтобы ты стал теперь поскорее в действительности тем, что ты есть несомненно — общенародным в самом широком смысле писателем».



Вячеслав Шапошников

## НАД РУСЬЮ НОЧНОЙ

### 1

Не ветра, не ветра тягучие песни  
возносятся в высь, огибая мой дом,  
в окутанном мглою глухом поднебесье  
не ветер гудит — погребальный псалом.  
Едоцкое чавканье в теми осенней,  
хлебки да утробные урканья в ней...  
В такие вот ночи мольба о спасенье  
становится плачем Отчизны моей.  
Гляжу в эту ночь. Предо мною во мраке,  
как будто при свете незримой луны,  
так седы холмы, так черны буераки,  
озера и реки так жутко бледны...

### 2

Свет муки исходит от скорбных удолий\*,  
от каждой деревни, забывшей про сон,  
от каждой дороги, от каждого поля,  
над городом каждым — что зарево он.  
От этого света все дали прозорны.  
Мой взгляд, в небывалом полете ночном,  
свободно объемлет немые просторы,  
где кустик любой ему близко знаком.  
Летит он над Русью, в прозреньях мгновенных,  
над горьким покоем безвестных могил  
безвинно умученных и убиенных...  
Мой взгляд ничего-ничего не забыл.

\* удолий (стар.) — долин.

### 3

И всюду — навстречу — очей воспаленных  
укорные взоры, куда ни взгляни.  
За черною сетью ветвей оголенных —  
слезинки святые — ночные огни.  
Плачь, Русь моя, выплачь под стонущий ветер  
всю боль, всю тревогу в горючих слезах —  
о всех измытаренных этим столетьем  
твоих сыновьях и твоих дочерях,  
о всех заблудившихся в дебрях безверья,  
о спившихся, падших, опутанных злом...  
Как в горе, во тьме зашатало деревья,  
как в горе, траву закрутило кругом...

### 4

И небо, и воды — в безудержной дрожи,  
в ознобе, которому — нет, не пройти...  
Под нависью туч — только шепот мой: «Боже!  
Прости, если можешь, прости нас, прости!...»  
О Русь! Нам с тобою не выплакать горя,  
ни криком, ни стоном его не унять.  
Но завтра, с рассветом, не с мукою во взоре —  
с решимостью твердой нам день начинать.  
Какой бы ни жгло нас неистовой болью,  
какая бы нас ни тиранила жуть,  
Русь, милая, с верой, надеждой, любовью  
продолжим мы Богом начертанный путь.

## ПЕРЕХОД

Ох, в переходе подземном пестро от народу!  
Эти — «туда», так сказать, а другие — «оттуда».  
Кто-то, незримый, в потоке прилип ко мне с ходу,  
духом — Иуда.  
И зашипел подколодной змеей в затылок.  
И норовит проскользнуть без зацепочки в душу.  
Каждое слово — что с банного пола обмылок.  
Липнет: «Послушай!..»  
Шаркают, чавкают в слизи подземной подошвы  
(там — наверху — снеговая кружится «ляпуха»).  
«Поприглядись-ка!» — советует спутник мой дошлый  
в самое ухо.

«Взгляду средь кафельных стен тут и скользко и гадко?  
Ты предпочел бы, конечно, дорожку другую?..  
А не желаешь взглянуть (ну хотя бы украдкой) —  
чем тут торгуют?..»

Рядом с торговлишкой всяческим пестренъким срамом,  
сидя у стенки, в грязи, в сквозняках «перехода»,  
локтем дитя прикрывает кормящая мама...

«Чем не свобода?!.»

К этой же стенке себя кое-как прислонивши,  
ноет, канючит, почти без расчета на жалость,  
голосом ветра — осевшим, охрипшим, осипшим —  
жалкая старость.

«Вон — впереди — посмотри — гитарист изможденный:  
то ли поет, то ли стонет на все подземелье,  
щиплет какой-то мотивчик, весьма монотонный...  
То-то — веселье!..»

Вон и еще (без труда угадаешь латрыжку).  
Шрама страшна на щеке борозда ножевая.  
Тянет навстречу багровой культи кочерыжку,  
не окликая.

Мечутся шавки, поджавши хвосты, меж спешащих.  
«Жалкие твари... А тоже ведь — не без понять:  
поднаучились вот — у человеков просящих...  
Меньшие братья!..

Выбрал, кого пожалеть тебе: пса иль — калеку?  
Выбор — непрост? Молодец! Рассуждаешь ты здраво!  
Ибо дано тут и псу, и... «венцу» — ЧЕ-ЛО-ВЕ-КУ  
равное право...»

В свете безжалостном лампочек люминесцентных  
лиц, проплывающих мимо, пугает бескровье.  
Взглядов, летящих навстречу мне, одномоментных  
гвозди — в межбровье.

«Этот кошмарный тоннель пред тобой — бесконечен.  
Нет им числа — всем его заселивших калекам!  
Кто, мне скажи-ка, в стране твоей не изувечен  
пройденным веком?!.

Ныне ж пора — для увечий особого рода!  
Скоро по русской душе бесы спрятят поминки,  
вытряхнут все, что осталось в душе у народа,  
все — до пылинки!»

И хохоточек надтреснутый — в уши мне, в уши!  
И никуда от него тут не скрыться, не деться...  
«Вот когда время пришло — выдать книжицу «Мертвые души»!  
Что с тобой?! — Сердце?!.

Кстати, — о сердце... В порядке, не слишком пожарном,  
но и оно (вслед за нею — за «русской душою»)

будет объявлено органомrudиментарным.  
Правды не скрою!  
Впрочем, и так уж у многих, считай, его нету.  
Слишком неплохо я знаю породу твою — человечью!  
Слишком неплохо разведал дорожку я эту —  
путь к бессердечью!  
Вон она — тянется детская ковшик-ладошка...  
За подаяньем? А может — вопрос преподносит:  
— Дяденька, ты не читал про «слезинку ребенка»?!.  
Как он — вопросик?!.  
Вот пред тобою — набор человечьих несчастий.  
Как бы паноптикум. Так что спрошу тебя, кстати:  
к каждому ежели тут подойти с соучастьем, —  
сердца-то — хватит?!.  
Ну-ка — прикинь: чем реально помочь ты им можешь?  
Так — мимоходом — предаешься короткой печали...  
Может, «за други своя» свою душу положишь?!.  
Это — едва ли...  
А, между тем, пред тобою — лишь малая-малость,  
жалкая кроха, от целой отпавшая глыбы.  
Если б тебе всю машину увидеть досталось —  
волком завыл бы?..  
Посозерцай в немоте и духовном бессилье  
эти кладбища живых, эти жизни увечной погости.  
Сколько таких «переходов» теперь по России? —  
Версты и версты!  
Каждый из вас в этом мире — всего лишь прохожий.  
Бог вам оставил любви совершенной заветы?  
Пооглядись: содрогнулся ли кто тут всей кожей,  
видя все это?!.  
То-то же! Мне не совершишь ни «сочувствием взгляда»,  
ни бормотанием «бедные сестры и братья»!..  
Тут сораспятья одна лишь приемлема правда.  
Да! — Сораспятья!  
Ну, а коль нет за тобой ничего такого,  
стоит ли нам предаваться сердечной мороке?!

Шествуй себе, поспешай деловито-суроко  
в общем потоке!

По «переходу»! Как прочие дяди и тети!  
По «переходу»! В слепом растворившихся народе!  
Все вы, прости, не в Великой России живете,  
но — в «переходе».

Впрочем, для вас состояние это — не ново.  
Сзади у вас «переходных периодов» столько!..  
Автомедоны-то ваши весьма бестолково  
правят Русь-тройкой...

Ныне ее не назвать уже гордо летящей.  
Еле плетется, бедняга... Повыдохлась вроде...  
Жизни нигде — согласись — не видать настоящей.  
Все — в «переходе».  
Он — сквозь кошмары «тюрят», лагерей и колоний.  
Он — сквозь детдомовский сумрак, сквозь мглу детприютов.  
Он — сквозь безумства бесчисленных семейных агоний...  
Больно кому-то?!.  
Он — через судьбы прожженных Полынью-звездою.  
Он — через судьбы горевших в Чечне и Афгане...  
Кто припадет тут, скажи мне, с живою водою  
к каждой-то ране?!.  
Так что — вперед, от себя отсекая увечья,  
воздух тяжелый тарања и сдвинувши брови!  
Разве не прав я?! Уместнее тут бессердечье  
всякой "любови"...»

.....

К свету осеннему! К свету сырой непогоды!  
Мчусь, как к спасенью, — в объятья метели-«ляпухи».  
Как оторваться от вас, как спастись средь других пешеходов,  
слов оплеухи?!!.

## МОЕМУ АНГЕЛУ-ХРАНИТЕЛЮ

Ранняя память.  
Как свет сквозь чуть зrimые щели:  
еле пробрезжит.  
Но первое в памяти ранней —  
тихое веянье  
возле моей колыбели,  
облачный взлет надо мной  
охраняющих дланей.

Детская вера.  
Кладбищенской церковки стены.  
Луч из подкуполья,  
в детскую душу летящий.  
Как ты желал уберечь ее,  
Ангел, от плена  
дальнего мира,  
от всей его тины грязнящей!

Помню: к крестам надмогильным  
и мраморным плитам  
я прикасался,  
в недетском раздумье их гладил.  
Тайна великая двери,  
до срока закрытой...  
Как ощущал я  
т в о е замирание сзади!..

Жить предстояло.  
И дверь распахнулась иная —  
в мир, где безбожье  
глумилось над верой святою.  
Детская вера моя...  
Огонек, что горит, убывая...  
Был он растоптан  
безверья чугунной пятою...

Сколько же слез  
надо мною, грешнейшим, ты пролил,  
Ангел мой светлый,  
заступник мой и охранитель!  
Сколько пришлось  
за меня тебе вынести боли!  
Я не достоин  
войти с тобой в Божью обитель...

Водами с круч,  
посреди помутненья и мрака,  
дни мои многие  
в бездны греха низвергались.  
Ты не оставил меня  
в этих безднах, однако.  
Вместе, вдвоем  
средь погибельных пастей скитались.

Только о том,  
в слепоте своей, я и не ведал.  
Ныне ж — едва лишь помыслию —  
проймет содроганье:  
скольким не дал ты случиться  
в судьбе моей бедам,  
скольким безумствам  
не отдал меня на закланье!..

Как беспризорника горького,  
к дому родному  
ныне ведешь меня, Ангеле,  
радостно-светел.  
Ждать впереди я могу  
только молний и грому.  
Ты ж — утешаешь:  
«Возрадуйся: порваны сети!..»

Кроткий мой!  
Я утешений твоих не достоин.  
Весь пред тобою я —  
плач и надрыв покаянный:  
сколько залатывать ныне  
прорех и пробоин  
надобно мне,  
вновь прозревшему берег желанный!..

\* \* \*

В раздумье глаза поднимаю.  
Как высь-то светла и легка!  
Примите меня в свою стаю,  
сияющие облака!

Небесная блещет обитель.  
Какая ж у вас благодать!  
Светло и меня научите  
на горькую землю взирать!

Лететь бы на полной свободе!  
Сколь участь такая сладка!  
Одно мне, увы, не подходит:  
на землю смотреть свысока...





# ПРОЗА

Владимир Корнилов  
Михаил Базанков  
Борис Бочкирев  
Владимир Старателев  
Олег Каликин  
Алексей Акишин  
Константин Абатуров  
Олег Хомяков  
Фаина Соломатова  
Ольга Гуссаковская  
Михаил Зайцев

Владимир Корнилов

## ВОЛГА

из романа «Годины»

### 1

В жарком августовском дне разморенно лежала Волга в раздвинутом ее силой окоем. Береговые леса и пойменные тальники, вобравшие ранней желтизны, в точности повторялись в глади воды. Казалось, было два берега: один настоящий, в действительной жизни; другой — словно подсеченный в основании и опрокинутый в воду, совершенно такой же, даже отчетливее, и по краскам гуще, чем действительный. Но любая, самая маленькая рыбь, поднятая случайным дуновением ветра, разрушала нижний, отраженный берег, и тогда становилась очевидной непрочность как будто такого же, но ненастоящего мира.

Алеша сидел в старой Фединой долбленке, напряженно всматривался в расцвеченную даль воды, и этот, сознаваемый им, радующий глаз обман почему-то отзывался болью.

Обеими руками он держался за нагретые солнцем борта, чтобы уравновесить себя на узком поперечном сиденье, сощуриваясь, глядел, старался сосредоточиться на том, что было вдали, что отражалось в воде, и все-таки видел лежащие на берегу протезы; на протезах были ботинки, брюки закрывали их до широкого поясного ремня,—казалось, на песке, у Волги, лежит половина человека. Алеша видел эту свою, чужую ему половину, ощущал то, что осталось в нем живого и хотевшего жить, и с напряженным душевным холодком, который всегда появлялся в нем, когда он готовился исполнить опасное, но уже принятое решение, взглядался в Волгу. Все, что было вокруг, все, что сейчас он видел, было до сладкой боли знакомо: и словно выглаженное от берега до берега пространство Волги; и даль теряющейся в лесах реки, чуть размытая призрачной дымкой; и песчаные чистые берега с полого уходящими под воду косами; и ветхая эта долбленка со следами давней осмолки, в которой сейчас он сидел, но рассчитанную надежность которой не раз испытал, — все, даже небо с чуть забеленной предосенней голубизной, с теми же, казалось из юности, облачками и высокий береговой крутик с серыми покатыми крышами Семигорья, — все было из прежней его жизни. Знакомо жила в ощущении упругость волжской воды, которая всегда рождала в послушном теле стремительную, жадную радость движений. Все до малости вернулось после жестоких к нему годин войны, все готово было принять его, как принимало прежде, а он,

внимая всему, не решался поднять кормовик с памятной, наполовину отколотой лопастью и толкнуть лодку в знакомое пространство воды. Он еще не сделал того, что задумал: от дома он дошел сюда, к Волге, по лугам, с висящим на шее ружьем; пусть с костылем под мышкой и палкой в руке, но он одолел путь, который вчера еще казался невозможным. Теперь предстояло ему испытать себя среди простора и силы когда-то добродой к нему реки. Ему надо было вернуть себе необходимую для жизни силу одоления: душевная работа, которая долгое время в нем происходила, подошла к пределу, за которым должно было последовать действие, может быть, безрассудное, но действие.

Если бы знал отец, куда и зачем он потащился в это как будто обычное утро, если бы застал его здесь, у Волги, в последней готовности к неразумному по его понятиям поступку, он взвился бы в неистовстве от его мальчишества, от очевидной его глупости, от совершенной потери здравого смысла. И был бы прав отец в своем страхе потерять его даже такого, да еще теперь, когда войны уже не было.

Если бы мама нашла его в эти минуты, трудно даже представить исход ее переживаний. Все поняв, она молча уступила бы его упрямой дерзости; угасая от переживаний, ждала бы его на берегу, и, если бы он не одолел, если бы не выплыл, не вернулась бы домой и мама.

То, что он задумал, было жестоко по отношению к матери, к отцу, было жестоко по отношению к себе, было вопреки разуму, но что мог он поделать: чтобы выиграть бой, надо подняться в атаку...

Лодка, в которой Алеша сидел, уже плыла.

Как ни казалась в тишине дня неподвижной освещенная солнцем Волга, он чувствовал по тому, как лодка смешалась, текучую, глубинную ее силу; в первый раз Алеше было страшно перед силой реки.

Ощущение прежней власти над водой в нем жило; сквозь поколы подступившего страха он старался утвердиться в любой своей уверенности пловца. В какую-то минуту ему показалось, что он обрел прежнюю силу и власть над пространством воды, — он поймал это ощущение, оттолкнулся руками от сидения и перекинул свое короткое тело через борт.

Плыть он не мог. Натренированное послушное тело, всегда без усилий входившее в наилучшее положение для плавных скользящих движений, не приняло привычных ему условий: голова, не уравновешенная тяжестью ног, неостановимо потянула его вниз. Алеша понял, что уже не овладеет увлекающим его в глубину падением, и в тоскливом удивлении перед близким, ненужным, глупым концом своей жизни уже готов был

смириться с тем, что уготовил себе сам. Много раз на фронте и на руках врачей, в болезнях и страданиях от ран, подходил он и даже переступал последнюю черту бытия. И спасала его не только помочь врачей, — в не меньшей мере и сила заложенной в нем жизни.

И на этот раз, наперекор растерянному сознанию, сила заложенной в нем и не прожитой еще жизни воспротивилась его смирению. Какими-то невероятными круговыми движениями удалось ему на мгновение вытолкнуть себя на поверхность, хватнуть задыхающимся ртом воздух, и снова тяжесть головы утянула его в глубину. Даже в отчаянности борьбы за жизнь Алеша ощущал, что бессмысленно, неумело тратит силы только на то, чтобы развернуться и вытолкнуть голову наверх. Пугаясь нарастающей толщи воды, он в бешенстве работал руками, крутился колесом, то уходил под воду, то снова вспывал, пока наконец ему, обессиленному, не удалось ухватиться за борт лодки, по непонятной случайности не уплывшей от него.

Он лежал на косе, у воды, лицом в песок, без сил, без мыслей, казалось, без чувств, как когда-то в давнюю, еще довоенную пору лежал на этой же косе Васенкин брат Витька, вот так же в отчаянье от неласковой к нему жизни пытавший свою судьбу.

Жизнь повторялась, пусть в другой судьбе, но жизнь повторялась.

Здесь, на косе, и нашел его Федя-Нос. Алеша не видел, кто шел к нему по берегу, — очки его, вместе с протезами, остались далеко от того места, где сейчас он лежал, — но по мерному звуку уже близких, с пришаркиванием шагов, по тому, что человек, к нему идущий, его не окликнул, а подошел сначала к лодке, подтянул ее на берег с протяжным шорохом подминающего песок днища и лишь потом, с посыпывающим, вроде астматическим, дыханием тяжело сел, Алеша и с закрытыми глазами верно знал, что с ним рядом — Федя.

Вряд ли он мог бы ясно объяснить свое отношение к старому Феде-Носу. Но из множества людей, которых он узнал за свою жизнь, каждого из которых данной ему острой зрительной памятью мог бы мысленно призвать и усадить с собой рядом, одного-единственного его, Федю, он мог видеть и слышать в том своем странном состоянии как бы отделенности от действительного мира, в котором сейчас был. Он не знал, почему этот неуклюжий с виду и ловкий в движениях старик, какой-то даже жалкий в своей неопрятности, тянул его к себе. Что бы ни выкидывал Федя в своей нескладной по понятиям Алеши жизни, как невзрачно ни гляделся бы среди прочих всех семигорских мужиков, связь, соединяющая их, не обрывалась, и Алеша шел к нему и в радости, и в горе. Ни Федя, ни Алеша не объяснили бы друг другу, по каким беспокойным сигналам,

по каким законам души вдруг заторопился Федя-Нос на Волгу, отыскал его здесь, на косе; но Федя сидел рядом, и Алеша знал, что он — рядом, и не поднимал головы, хотя ждал его слов.

Федя отдохнул, заговорил сокрушенно, как всегда бывало, когда брал на себя Алешину вину:

— Не тако надобно, Олеша, к Волге-то заходить! Не вдруг, помалу надобно. Помалу, Олеша, любое дело одолеешь!..

Алеша крепче вжался щекой в песок; он не удивился тому, что Федя оказался рядом; он боялся, что Федя начнет его утешать.

— Забирайся-ко в долбленку, Олеша. Побуду с тобой. Оно, может, дело и пойдет!

Алеша готов был заупрямиться, но Федя встал, подвел к нему ближе лодку. Хмуясь, не глядя на Федю, он боком, опираясь на ладони, подвинул себя к лодке, движением сильных, развившихся за годы госпитальной жизни рук перебросил себя через борт на сиденье, сел ссугнувшись, глядя на воду. Он не терпел принимать помощь от кого бы то ни было. Но Федя-Нос имел над ним непонятную власть.

Работая кормовиком, Федя вывел лодку на середину залива, где могучее русловое течение Волги почти не ощущалось, ободрил:

— Пробуй, Олеша. Придержу, ежели что.

Алеша, не отпуская лодки, погрузился в воду, расслабил тело и тут же почувствовал, как легкую нижнюю его часть повело на верх. Попробовал, подгребая одной рукой, поставить себя в вертикальное положение — вода упрямо развертывала его вдоль борта, опрокидывала на спину. Алеша в горечи чувствовал, что Волга не признает его теперешнего, и в уже испытанном отчаянии оттолкнулся от лодки, надеясь на силу своих рук.

И все повторилось: голову, будто к шее был привязан камень, потянуло вниз, и снова он бешено закрутился, пытаясь вытолкнуть себя из воды. В волосах он почувствовал неожиданно цепкую руку Феди; рука приподняла его, он ухватился за лодку, отвернулся от Феди мокре лицо, глотал воздух, будто после бега.

Федя вроде бы не замечал явных его невозможностей; склонившись над бортом, он размышлял, будто над неводом, севшим на донную корягу:

— Понятное дело, Олеша. Тело прежний лад помнит. Надобно тебе другую опору отыскать. Голову-то не тяни. Подбородок пусти в воде, обопрись. И рукам суеты не давай!..

Удерживаясь за лодку, слизывая натекающую с мокрых волос на губы солоноватую от слез воду, Алеша думал, тоскуя от бесполезности своих усилий: «Дожил! Федя плавать учит!.. Нет, дорогой мой Федя! Или вот сейчас я поплыну, или больше ты меня не увидишь...»

Он отпустил лодку, раскинул руки, медленно стал погружаться в глубину. И в этом медленном, без движений, падении вдруг почувствовал, что короткое его тело расположилось и может плыть; тот воздух, который он вдохнул и удерживал в груди, как будто уравновесил его. Он ждал, что счастливо найденное положение вот-вот нарушится, тяжесть головы снова, уже безвозвратно, потянет его в глубину. Но тело, будто парящая в воздухе птица, медленно опускалось, не теряя найденной в воде опоры, и вдруг плавно коснулось гладкой твердости дна, — знал Федя, где дать ему волю! И когда он лег на дно и плавно повел в стороны руками, тело поднялось, послушно двинулось по плотному слою воды. Грудь требовала вдоха, Алеша, как в былые времена, вытянулся, плавно толкнул под бока воду, и тело пошло головой вверх, всплывая. Он вдохнул раз, другой, снова опустился под воду, опять всплыл, еще раз вдохнул от свежести волжского простора, выбросил перед собой руки, развел с силой, отгребая воду с пути движения, и ощутил в содрогнувшей душу радости, как скользнуло тело, не потеряв найденной опоры.

Погружая голову в прохладу воды, лицом и плечами ощущая бодрящую упругость реки, он плыл заученными брассировыми движениями рук, — одних только рук! И хотя короткое тело ощутимо кособочилось, он все-таки плыл — плыл! — и знал, какая бы глубина под ним ни была, она уже не для него!..

Давно не тренированные в маховых движениях мускулы устали; Алеша перевернулся на спину, часто шевеля под собой кистями рук, удерживая себя в новом положении; попробовал плыть на спине и с новым приливом радости почувствовал, что плывет на спине даже свободнее — облегченное тело как будто само удерживалось на воде. Он раскинул руки, замер в настороженном ожидании: тело, чуть провиснув в пояснице, медленно погружалось; вот уже грудь, уши, подбородок ушли под воду, и, когда остался над поверхностью воды лишь крохотный островок лица с торчащим носом, почувствовал, как мягкая сила реки приподняла его и оставила на себе, под светом и теплом спящего солнца.

Он лежал, раскинув руки, не двигаясь, не погружаясь в воду, и Волга медленно разворачивала его и несла в своем текучем просторе вдоль невидных ему берегов; движение он ощущал только по солнцу: то слепило его даже сквозь закрытые веки, то глазницы затенялись; он открывал глаза, видел над собой даль неба и знакомые, из юности, облака...

Над гладью реки прошел и догнал его сдержаный окрик: «Олеша! Ко мне подгребай!..» — время от времени Алеша замечал в стороне расплывчатое пятно лодки, лодка не прибли-

жалась и не отдалась, Федя следил за ним и в то же время, все понимая, оберегал его радость.

Алеша поднял голову: по очертанию высокого лесистого берега понял, что унесло его ниже Немды. Он повернулся, смущаясь своей радостью и силой, не спеша поплыл на Федин зов.

## 2

Надевал Алеша протезы с дощечки, подложенной Федей. И хотя он был удовлетворен почувствованной своей силой и вроде бы успокоился, пока Федя вез его в лодке к берегу, «вление» в протезы каждый раз вызывало в нем тоску и раздражение. Ломать свой нетерпеливый характер, минута за минутой сдерживать всегда готовое к порыву тело, сцепливать, пристегивать один за другим ремни, ремешки, резинки, расправлять на болезненных кульях складки шерстяных чехлов, потом с напряжением, от которого темнело в глазах, поднимать себя на деревянные ходули и, уже стоя, снова подправлять и стягивать до тугой неподвижности опять те же ремни — все было противно взрывной Алешиной натуре. Стоило немалых сдерживающих усилий разума, чтобы зажать клокочущее бешеное желание разбить неповоротливые деревяшки, разорвать, раскидать всю эту оковывающую его тело тяжелую сбрую.

После вольного проявления силы в мягком текучем просторе Волги особенно трудно было навешивать на себя мученические свои вериги.

Алеша хмурился, и, пока молча, в видимой досаде, ворочал деревяшки, Федя отошел к лодке, будто в озабоченности что-то покачивал, постукивал, давал ему самому управиться с одеждой и душой.

Когда Алеша наконец поднялся и, не внимая укоряющим словам Феди, помог затащить подальше на берег лодку, которую доверчивый Федя не приковывал ни на какие цепи и которую ни один волжский лиходей ни разу не согнал с места без его на то согласия, Федя в какой-то суетности, скрыть которую вроде бы старался и не мог, поднял с песка Алешино ружье, навесил себе на плечо, с заметно полегчавшим настроением позвал:

— Помалу пошли, Алеша. Помогу тебе гору одолеть.

Алеша покачал головой.

— Нет, Федя, сам буду добираться. Посижу немного и пойду, — он протянул руку к ружью; Федя неожиданно торопко отстранился, смущившись своей торопи, пояснил:

— Тягость-то, уж сам домой к тебе занесу.

— Нет-нет! Ружье оставьте, — сказал Алеша безулыбчиво.

— Погоди, Алеша. Ты скажи, пошто пушку сюда приволок? Охоты тут никакой!.. — Он глядел обеспокоенно и стро-

го, и Алеша вдруг догадался, о чем думал Федя. И смутился: Федя был недалек от действительных прежних его мыслей; но к ружью эти мысли отношения не имели.

— Нет, дядя Федя!.. Ни единого патрона с собой!.. Ружье просто для выкладки, чтоб по-солдатски... Не то, все не то, Федя! Волгой порадовался. А на земле вот плох! К земле привыкать надо... — Он принял ружье, приладил за спиной, ободряюще улыбнулся, видя, что старый добрый человек никак не решается его оставить: что-то держало его около.

— А скажи, Олеша, много зла на душе скопил? Круто жизнь-то с тобой обошлась!..

Алеша не удивился прямому Фединому спросу; глядел в себя, зла не видел. Не было зла в его душе ни на жизнь, ни на людей. Была обида, горькая обида на то, что на войне осталась его молодость, что отнята у него сама возможность жить, как живут все. Но обида — не зло. Зла не было. Тело изуродовано. А душа осталась, как была. И, проглядев всего себя, он поднял на Федю измученные постоянной болью глаза, сказал, как настежь раскрылся:

— Было, дядя Федя. Много зла было. Думал, так со мной и жить будет! А теперь ушло. Ушло! Нет во мне зла, дядя Федя. Вот нет и—все!.. — И, как будто сам удивляясь тому, развел руками.

Федя посмотрел на него из-под своих, растущих вниз, на глаза, седых, с остатней желтизной, бровей, зорко посмотрел, хватко и — поверили.

— Вот и ладно, Алеша. Не каждый от лиха добро сберегает... Ну, теперь пойду. — Он отошел на шаг, воротился.

— Может, в гору пособлю?

— Нет, Федя, нет. Сам!..

Алеша, навалившись на костьль и палку, смотрел, как поднимается Федя по крутой тропе, наискось выбитой в горе семигорцами. Взбирался он поначалу ходко, памятливо переступал по неровностям тропы заметно покривленными ногами.

Но скоро приустал, поник в спине, на кручах подпирался рукой. Где-то на середине горы Федя остановился, полинялая распоясанная его рубаха и такие же пообтертые до светlostи порты маячили бледным пятном на одном месте. Потом Федя переместился повыше, снова остановился, видно, не выдюжил, сел; виднелось теперь только бледно-синеватое пятно рубахи. К вершине, где тропа уже пропадала из глаз, Федя добрался, похоже, на коленках; однако добрался, скрылся за горой.

Алеша прикованно следил за неровным, упорным старицким ходом, прикидывал свой предстоящий путь на крутую гору, и неожиданная мысль пришла ему: сейчас он будет так же, с еще большим трудом взбираться наверх, к

Семигорью, и много медленнее, чем взбирался Федя. А ведь ему двадцать два, всего двадцать два года! Тогда как Феде — за семьдесят. Если мерить его мерой физических возможностей старого Феди, то война вырвала из его жизни пятьдесят лет. Половка!.. Он сейчас как семидесятилетний старик! Даже хуже — без долгой его жизни, без дел, радостей, печалей, какие могли бы быть за пятьдесят лет... Это же целая человеческая жизнь!..

Странная и страшная эта мысль была как удар гулкого колокола, гудела и не замирала; и оторопь, и слабость до холодного пота охватили его. Тяжело нависнув на костыле, не двигаясь, он как-то вдруг прозрел свою будущую жизнь, и страшно ему стало от того, что ждало его. Он долго стоял, ждал, когда прихлынет от сердца к рукам нужная ему сила; опираясь на костыль и палку, сделал шаг, другой и, покачиваясь, тяжело переступая, пошел к горе.

### 3

Видная издали, почти на самом берегу Немды, стояла одиноко, в давнем наклоне береза. Уже проступали за ней под темной хвоей бора дома поселка. Еще шагов с тысячу, и будет он дома. Он все-таки осилил весь путь, который в бессонности ночи задумал. И сможет посмотреть в глаза отцу, маме измученно, но почти победно: сегодня он возвратил себе что-то из той жизни, из которой выбила его война.

«Все хорошо, все хорошо», — твердил Алеша, переставляя костыль, за ним правую протезную ногу, потом палку, за ней левую, тоже не свою ногу. Он шел бы дальше, если бы не уже непереносимая боль разодранной и воспаленной в протезах кожи; он делал шаг — сердце останавливалось от боли, культи как будто всовывали в пылающие жаром угли. Шея гнулась под висящим на ремне ружьем; он не знал, что обычное ружье, которое прежде без заботы он таскал по лесам с рассвета до темна, может оборотиться в казнь. Он обливался потом, едва держался костылем и палкой, но до березы дошел.

Он помнил: до войны здесь росли из одного корня две одинаково высокие, сильные березы; в удобную развилину между стволами он однажды усадил отдыхать Ниночку в одну из редких — Ниночка просто до дрожи боялась чужих глаз! — их прогулок вдоль Немды. Теперь одной березы не было, кто-то спилил ее, и, видимо, давно. Алеша пристроился на высоком, почернелом от непогод срезе, привалился к другому, еще целому стволу, закрыл глаза. Ствол почему-то был холодный, хотя день выстоял жарким; спиной и затылком он чувствовал глубинный холод березы, и, хотя прохлада сейчас была ему приятна, он с толкнувшим сердце чувством вины вспомнил свою,

всегда хранящую для него тепло сосну, там, за рекой, в лесу, у которой ясно думалось и успокоенно дышалось.

Протезы теперь он не снимал, знал: боль не даст снова надеть их; не открывая глаз, он только ослабил опутывающие его ремни, чтобы дать отдых занемевшему в неволе телу.

В неподвижности боль как будто затихла. И в живой, никогда не остывающей памяти всплыл такой же вот августовский день сорок первого года: обоз, увозивший их, суетных, бритых, стеснительных; мама, затерявшаяся где-то в пыли, окунувшей дорогу; и грозовая туча за горой, под которую все они с нетерпеливой дерзостью въезжали. Он помнил мост через Туношну, по разбитому настилу которого колеса увозящих их подвод простучали с дробным грохотом, похожим на выстрелы, и — как будто это было сейчас — сжалось сердце от ощущения невозвратности того, что оставил он тогда за Туношной... Стараясь уйти от бесполезной сейчас памяти, Алеша заторопился, сполз с высокого пня, перенес тяжесть тела на протезы и охнул: глаза оплеснуло тьмой, ноги горели, как будто с них сдирали кожу. Стиснув губы, он стоял, заставляя себя привыкнуть к неотпускающей боли. Сделал шаг, другой, попятился, снова прислонился к березе: почувствовал — не дойдет.

«Вот и все, — подумал. — Вот она, черта, отсекающая от жизни. Оказывается, и у человека есть предел возможного. И не дано раздвинуть этот предел ни упорством, ни волей. Кажется, я дошел до своего предела...» Он смотрел затуманенным болью взглядом через поля на взгорье, где были дома и люди; и не смел и не знал, как людей позвать.

Из многого, что хранила память в том августовском, уводящем на войну дне, он не давал себе вспомнить только Зойку, белым трепетным видением ожидавшую его у расстянной дороги. Он знал свою вину перед ней, перед девичьей ее преданностью, им не понятой и не принятой. Он знал, что земное богатство, оставленное им в тот день за Туношной, к которому с надеждой и верой он теперь припадал, может шаг за шагом вернуться к нему; не могла возвратиться в его жизнь лишь удивительная семигорская девчонка, ее открытая всему свету, преданная любовь. Он сознавал это с отягеляющей душу скорбью, как сознавал и справедливость этой, ощущаемой им теперь, может быть, самой великой потери. И, сознавая, не позволяя себе трогать притаенную в душе скорбь. Но в этот час одиночества и боли взорванная страдающими чувствами его память опрокинула запреты: он увидел несущееся к нему с придорожного косогора белое, трепетное, живое облако и услышал протяжный, как осенний птичий клик, наполненный разлукой и тревогой девичий голос:

— Але-ее-шка!..

И настолько сильны были ощущения того далекого дня, что Алеша не смел открыть глаз; с такой яростью он давил костыль, что стонала прихваченная болтами деревянная опора. Заглушить память он не мог и стоял, опустив к груди голову, давал пройти через душу скорбным и светлым видениям.

Когда поутихла наконец душевная сумятица и Алеша возвратился в день, в котором сейчас был, и снова явственно ощутил и свое одиночество, и меру своей беспомощности, и поднял от груди голову, и посмотрел в даль низкого предвечернего неба, он увидел, как от Семигорья — не от середины, не от прогона, откуда выходила дорога к Немде, а от крайнего, ближнего к Волге — дома отделилось и заскользило вниз вдоль некошеных хлебов светлое быстрое пятнышко. Алеша даже не удивился: прошлое было в нем, оно было в сегодняшнем дне, видение прошлого продолжалось; он знал, что видит то, что хранит его память. И только когда белое пятнышко обозначило себя на луговине, на которой он был, и уже не в пятнышке — в белом облачке он увидел бегущую к нему девчонку, он напрягся до ледяного холода в лице, придавил себя к березе и замер, как будто должна была сейчас окончиться его жизнь.

Зойка налетела, как стремительный, упругий, обжигающий ветер; с раскиданными по лбу, по щекам, по губам волосами, она, на последних шагах, будто втянутая магнитной силой, вникла лицом в его грудь, трепетно охватила его плечи и, целяя в подбородок, в щеки, в губы, сдвигая с носа очки, измазывая радостными слезами, обретенно, счастливо твердила: «Алеша... Алеша...» Она оторвала от груди мокре, смеющееся лицо, заглядывая в его растерянные глаза черными, блестящими, как речные камушки-окатыши, глазами, виноватясь, радуясь, смеясь, быстро говорила:

— Я же только-только вернулась! Дядя Федя увидел, кричит, беги, тебя Олеша ждет!.. Я как побегла! Ну про все на свете забыла!.. Алеша... Алеша... Вот какой ты стал, Алеша! Еще красивей. Еще лучше!

Алеша, уронив костыль, смятенно сжимал Зойку железными своими ручищами, жался стыдящимся лицом к ее волосам, пахнущим теплом и полем, и не давал ей поднять головы, чтобы не увидела она прожигающие его глаза слезы.

Зойка первая пришла в себя. Как-то деловито обеспокоилась одной ей известным беспокойством, навесила себе на шею ружье, подняла с земли костыль, заботливо подставила ему под локоть, другую его руку примостила на своем плече, прижала крепко своей рукой. Осторожно, настойчиво отстранила его от березы, сказала в сосредоточенности, по давней девичьей своей привычке растягивая слова:

— Пошли, Алеша. Потихонечку. Далеко-о-о нам еще идти!..



Михаил Базанков

## ДОМОЙ! Из романа «Вольному воля»

Пока свободою горим...  
А.С.Пушкин

### Обращение автора к герою.

«Знаю, я видел, могу подтвердить!» — болезненно кричал ты, Василий, теперь в землянке и через годы тревожился, что голос не долетел куда нужно...

«Знаешь, помнишь, но молчи, — раньше украдчивым голосом наставлял тебя Носков. — В молчании спасенье, вот!»

«Правду не умолчать!» — кричал ты тогда и теперь, не осознавая, что сплющий твой крик не выбьется из-под земли, что подлинная правда многие годы не будет иметь никакого значения...

И твоя правда, Василий, правда твоего поколения, в послевоенных поисках справедливости, в осмыслении великой войны, многие годы не была востребована. Страдали даже те, кто и в самых дальних районах обычными газетными материалами хотел описать судьбы прошедших плен и лагеря. До сих пор мы ищем ответы на многие вопросы.

Как же давать осмысление происходящего — всего, что на нашей общей памяти?

Василий, Василий, родная душа... Для тебя война, плен, лагерь уже никогда не кончается, не хватит твоего жизненного срока, и в семьдесят с лишним лет ты медленно и трудно будешь говорить о пережитом, о происходящем на земле по всей России, а не только в родном Нежевском районе. Уже по другому поводу в прежней традиции людям будут задавать вопросы новые блюстители нравственности: «А где ты был тогда-то? А за кого голосовал?» Даже сыновья наши в студенческие годы, изучая отечественную историю, не смогут узнать всей правды, тысячи специальных изданий не выведут их к полной ясности в понимании подлинных причин всего, что и сегодня творится с людьми...

Разве в правде нашей и печали нет положительного? Разве терпение твое, Василий, страстное желание справедливости — не есть положительное?

Живем с тем, что трагедия сороковых годов не кончается, она не только в огромных потерях и утратах, в страданиях безвинных, но и в том, что нельзя было сказать об этих страданиях. Смотрим на жизнь фронтовиков — и возникает вопрос: «За что страдали столько, вынесли, терпели?» У каждого ведь была какая-то опора духовная, какой-то спасительный рубеж. И должен быть непременно. Даже такой, Василий, как твоя землянка.

## 1

Задуманное земляком не то что бы было отчетливо понятно, но предчувствовалось, угадывалось все настойчивей и тревожней. «Поберегись, голубчик. Оберегаться надо. Береженого бог бережет, смотри. К жизни нету отсюда торной дороги. На волюшку не через красные ворота, а как придется».

Но пришлось все-таки через лагерные ворота белым днем — вывезли будто списанного обоснованием врача помирать в другое место. Телега расшатанная громыхала, визгали немазанные колеса. Коротка оказалась телега-то, ноги лежачего далеко торчали. Конь Битюк, тяжеловоз безотказный, пахтал грязь лохматыми ножищами. Кучер Носков чертыхался где-то сбоку, перепрыгивая через валежины. Затасканная попона воюющая царапала шею, но Василий терпел.

— Лежи, лежи, не брыкайся, ежели болезням поддался, — громко, чтобы кто-то еще, кроме Василия, слышал, говорил Носков.

За болотистой низиной он дал докурить чинарик. Вялым жестом наметил направление до ближайшей станции.

— Запоздаешь — ночевай в лесу. Документы твои в порядке, но по этой стороне лучше не плятиться в такой одежке. Мало ли чего стряслся, облавливать начнут... Своим путем надежнее. Ну, может, свидимся когда. — И отвернулся, чтобы слезы свои не оказывать. Вскочил в телегу, крутнул вожжами над головой. — Эх, тяни, Битюк, на службу сволочную!

Сон это был или явь? Не определить. Не верилось: вольным, спасенным не чуял себя Василий, но шел и шел едва видимой давней просекой, обливался холодным потом, словно рыба на песке дышал. Иногда чудилось: догоняют, упреждают ход угрозивыми криками, стрельбой, лаем разгоряченных собак. Иногда чудилось: поют впереклик близкие деревенские петухи. А заботливая мать зазывает гулену-дочку: «Татьяна, домой пора!»

Близость деревни обнадеживала: верно держится направление; по ориентирам Носкова, первое жило надо миновать, не заходя в него, — справа останется. Отступать от намеченного маршрута нельзя — добрые люди зачем-то продумывали, им было виднее.

«Домой! — билось и клокотало у Василия в глотке. — Домой, в Зоряну! Навсегда!»

Очнулась память, разбудила воображение. Там, за лесом, за буревалами, за полосами тумана поднимешься на зорянский взгорок, остановишься возле Матрениной сосны, чтобы перевести дух, всеми последними силами крикнуть: «Ма-ма-ааа!» И упадешь на тропинку, ведущую к родному дому, словно на лягунье полотно.

Он забыл, сколько лет прошло, где и как скитался, что пережил. Не было прошлого — отрешился от него. Он знал: ждут. И торопился, забывая о своей болезненной слабости, нахлынувшей по весне обострением хронической надсады в легких. А отышавшись, взглядал в небо, словно оттуда что-то еще грозило, словно в прогал между мрачными елками мог усмотреть его всевидящий владыка и вождь. Он чувствовал себя, как те деревенские дети с картинки, бегущие от грозы. Подаваясь всем телом вперед, через каждые несколько шагов косо оглядывался через правое плечо, но видел только раскачивание темных еловых вершин.

## 2

Василий смотрелся в стоячую лесную воду, не узнавая себя: «Что с тобой стало за эти годы? Тебя разве младшие братья Володька да Ленька кралей называли?»

Неужели можно выбраться из жутких северных болот, из-за колючей проволоки, из череды унижений, направленных на то, чтобы сломить твой дух, — и вспомнить, каким был до войны, в которой стороне родительский дом? Неужели ты и есть старший сын Тимофея да Евдокии из деревни Зоряна, расположенной в Нежевском районе на берегу Таволги. Старший...

Пленный, дважды осужденный. И вдруг — вольный? Куда хочешь иди? Но сказано: иди, с тебя хватит за твои прегрешения. Роман Андреевич правильно предсказывал: на новом месте повезет — скоро освободишься, но подозрение за тобой по бумагам увяжется, только думать об этом не надо, как жил по совести, так и живи, достоинство и честь никакой бумагой перечеркнуть невозможно. В прощальный вечер этот степенный человек по-отцовски наставлял тех, кто помоложе, чтобы не отчаявались в начале мирной свободной жизни, верили в свое долголетие, необходимое для возвращения правды и справедливости. У него даже была теория, по которой каждый не сломленный духом в годы испытаний, закаленный преодолением мерзости лагерной жизни рационально воспользуется свободой и в разумном труде будет жить долго уже не только для себя, но и ради других поколений — обязан стать долгожителем.

И вот ты свободен. За твою свободу хлопотали, какими-то мудрыми, тайными способами приблизили ее Роман Андреевич, земляк Носков, врач Петр, а в пути до деревни родной будут помогать другие. Все они могут пострадать за это?

Но сказано: иди, документы в порядке. Только лучше добираться не большаком, а стороной. Почему, если документы в порядке? Значит, не так все просто, не все по закону, если добавленный срок не отстукан от звонка до звонка. Не обмануться бы... Однажды уже была преждевременная радость: думали молодые солдатики, что к своим выбились из огненного кольца, да попали в подозрение как враги. Беда научит осторожничать. Вот и знай цену советам — держись за крайками, деревеньки обходи, избегай лишних встреч. От восточной зари на западную ориентир, на вологодский Никольск примерно, немного левее, поближе к станции Марьино, чтобы сначала на поселок Бутырки, потом на Зяблуху попасть знакомыми тропами своего района, тут и до Зоряны — недалеко.

Он будто бы карту зеленую разложил, охватывает северные увалы — понятное пространство, не чужая сторона. Все воедино: леса на увалах и он сам, мечтающий выжить и спастись теперь уже на свободе, чувствующий себя обязанным перед

Романом Андреевичем, перед отцом и матерью, родными, близкими людьми, знавшими его. Воля силу придаст, а зверь шатающий обойдет, не тронет, людей и сам на этом пути сторониться должен. Ох, волюшка вольная, сторонка лесная раздольная, выручай! Избавь, родная, от надзирателей, охранников, конвоиров, от прокурора, следователя, судьи. Избавь, сбереги.

«Все лучше перед кем-нибудь словами облегчить мне грудь... — пришли на память строки из «Мцыри» Лермонтова. — Но людям я не делал зла, и потому мои дела немного пользы вам узнать, — а душу можно ль рассказать? Я мало жил, и жил в плена. Таких две жизни за одну, но только полную трагог, я променял бы, если б мог».

Понял, при таких словах вольнее шагается и дышится. И хотя в груди покалывало при каждом вздохе, шагал Василий напористо.

«Давным-давно задумал я взглянуть на дальние поля, узнать, прекрасна ли земля, узнать, для воли иль тюрьмы на этот свет родимся мы... — Остановился, чтобы перевести дух. — Бежал я долго — где, куда? Не знаю! ни одна звезда не озаряла трудный путь. Мне было весело вдохнуть в мою измученную грудь ночную свежесть тех лесов...»

Теперь он казался сам себе возвращающимся после занятий из школы. Чтение стихов всегда помогало ему в пути по ненастной погоде.

Голова кружилась от воли, словно несло на волнах. Сознание тоже поддавалось таким волнам. Что-то прихватило ногу — упал вперед головой в разлапистое корневище старого дуба. Когда опомнился — никаких корней не оказалось, никакого дерева поблизости не было, только жидкий окраинный ивнячок со всех сторон. Приподымаясь на дрожащих руках, огляделся настороженно. Кто тут был поблизости? Зверь, человек? В переплетении мелкотя вроде бы мельтешил бес волосатый. Дает понять, что в провожатые набивается, самую короткую дорогу домой хочет показать. Вопросы какие-то задает — не понять, относит ветром. Молчать надо, не выдавать себя ни словом, ни вскриком. Как велел башковитый осмотрительный мужик Носков, молчать — и все, оставаться немым, делать вид, что ничего не знаешь, не помнишь. «И помнишь, да молчи немтырем — меньше будет вопросов, — шептал на ухо наставник. — На волю попал — дыши, забирай силу. И хватит на первое время, а придет час — расскажешь, если надо будет рассказывать в свое облегчение».

Застрекотала сорока над Василием — углядела его лежащего. Хорошо и сделала — не один, значит, перед бесом таким волосатым. Ему только в печальном одиночестве поддайся — уведет по своим чащобам, закрутит, умотает в тайге до смерти.

«Нет, не мани, шельма. Сгинь, дух нечистый. — Василий поспешно перекрестился. — Изыди, злобы услужник». На колени встал, а тут и на ноги подняться сил хватило. Костерок был теперь развести, обсушиться. Да и безопаснее, уютнее с огнем: чертовщина отступит, зверь среует приблизиться. Вспомнилось, там, на Севере, когда сидел возле общего костра, со всех сторон вздыхала трясина; безвольная клонилась голова в это бульканье, а за спиной еще что-то шипело и скрежетало. Из чертова логова выходила и подкрадывалась красивая женщина, беззвучно говорила и улыбалась, готовая одарить лаской, но никто не смел опоганиться с этой женщиной. По давним рассказам бабки Матрены, Василий знал про лесовицу: всякий, кто попадет в ее чары, после этого будет измучен вечным желаньем и тоской. В переплетении ветвей, кажется, взмелькнула голубая ворошко косынка. «Таня Залесова разве тут?» — встрепенулся Василий, хотел позвать ее...

### 3

Василий пришел в себя. Он распластанно лежал лицом к небу, иногда ловил пересохшими губами растопыренные узорчатые снежинки, подбирал их языком со щетины. Пелена облаков плотно укрывала небосвод — невозможно было определить, в какой половине дня очнулся и почему выбился из-под лапника, который служил постелью, уложенной на пепелище. Задыхаясь в бреду, барабахался? Куда теперь? Ориентиром должен служить последний, пятый по счету, овраг — на плане Носкова он помечен крестиком, назван местом встречи. Но с кем?..

Ни человека, ни зверя не попалось — и то радость. А человека бы можно встретить да дорогу спросить — не помешало бы. И тут он подумал о том, как выглядит, лежачий бессильно, — пристыдился. И решительно начал вставать; правда, одной решительности не хватило. С четверенек — на колени, откинулся назад, посидел и выпрямился, воображая себя ванькой-встанькой. Игрушки такие отец мастерил топориком да стамесками из липовых кругляшей: легкие и красивые получались игрушки. И со смыслом. Сколь ни угнетай, ни прижимай — поднимется с достоинством.

Василий встал и пошел, постоял, пошел опять — все размашистее, смелее. В прогале между кустами следы увиделись — волчьи, разлапистые и когтисто отпечатанные в талом снегу. Они не испугали, а даже обрадовали: значит, есть в глухомани живая душа и тоже стремится к человеческому жилью. «Волка ноги кормят», — говорил отец. Истинно так. Ногами его голод управляет. Потому и стремится к жилью матери жвериша. На человека он нападает редко, но слывет душегубом

домашней живности, собак и тех изводит нещадно. Василий предполагал заботы «попутчика» и ничуть не боялся его.

По волчьим следам пробежал желто-полосатый бурундучок и вдруг заверещал на всю округу, словно хотел кого-то оповестить о присутствии большого зверя. На этот шум явилась вешунья-ворона, она, как и положено самой умной в здешних местах долгожительнице, шуметь не стала, тоже полетела в ту сторону, куда волк устремился и человек шагал, словно бы угoreло пошатываясь.

А думалось о том, от чего уходил. Оттуда, из зоны, могут, конечно, еще догнать. Бывало ведь так. Догоняли, избивали, привозили на лагерном коне-тяжеловозе Битюке, выгружали связанных по рукам и ногам, приставляли к забору и расстреливали показательно. Заключенные все равно делали побеги, но далеко не уходили по слабости, по неумению ориентироваться в лесу незнакомой местности. Поэтому нельзя быть слабым, неумелым, суетливым. Ты — не беглец вроде бы, тебя словно перевели-переправили в другую зону на второй половине срока, бывает же так. Но верить ли в эту удачу? Почему именно тебя вывезли? Разве имели значение твои показатели на валке, твои зачеты? Другие тоже такие зачеты отчаянной работой вытягивали... Освобождение по заключению врача?

Василий перекрестился: «Слава тебе, Господи». Впереди обозначилось просветление. Хотелось бежать, качнулся устремленно, а ноги резво не сумел переставить — тяжелы, как свинцовые, вот и полетел, да успел ухватиться за куст. И — устоял, впервые устоял!

Без единого падения преодолел последний километр до пятого оврага. Когда увидел землянку, отчаянно шагнул к лазу и рухнул в темноту земляной сырости. А как только понял, что один в звенящей тишине, шевельнул рукой-ногой, встал на четвереньки и начал обшаривать жилище.

Согнулся, нахлобучил над головой ватник, словно закрывался от ветра, собираясь добывать огонь. И замер в нерешительности: а запах тлеющей ваты? а звук металла при ударе по кремню? а красные отсветы пламени? Но не думал о том, что от костра в землянке можно задохнуться, не проверил, не искал вытяжки... Он понимал, что, уснув в сырости с мокрыми портняками, может не проснуться уже никогда. Привыкший молчать, он захотел проверить свой голос и прохрипел лесные слова из детства: «Аа-уу!» Прислушался — не было ответного звука. Не надо кричать, надо терпеть до утра. И тогда... Тогда, если суждено, кто-то поможет выйти на лесовозную дорогу, по которой в Бутырки, напоминал Носков, посчастливится доехать по узкоколейке.

Отчаянье, боль в груди и в суставах, горечь в пересохшем горле и шум в голове забылись, исчезли, подавленность отступила, душа освободилась от холодных оков постоянного страха. Отогрев дыханием ватный жгуток, прислонил его на ощупь к оструму краю кремня и легонько ширкнул кресалом. Пробрызнули остро ослепляющие звездочки. И красная точечка заронилась в сердцевину жгута; дыхнул на нее, чтобы придать силы.

Гудели толчки крови в груди и в висках, будто бы от этих толчков усиливалось тление ваты в ладонях.

Словно бы сама подвернулась берестяная слоинка, радостно пискнула и загорелась. И тут спохватился: первое, что почувствовал в землянке, был, кажется, запах керосина. Перед ним на дощатом лежаке стояла жестяная керосиновая лампа. Прикоснулся язычком пламени к фитилю...

Начиналась другая жизнь, первые свободные движения, новые чувства, слова, иной ход мысли. Василий некоторое время возбужденно бодрствовал, душа вырвалась из пут колючей проволоки, ликовала в раю спасения, а сердце стремилось по вольной воле ко всему, что держало в жизни.

Огляделся и понял особенность временного уюта этой кемто обжитой землянки. На лежаке, укутав босые ноги лоскутным одеялом, впервые за многие годы чувствовал себя свободным. Очаг из четырех красноглинистых кирпичей напомнил о домашней печи и возродил воспоминания о родном доме: как там, в пятистенке на краю деревни, родные, все ли живы-здоровы, все ли вернулись с войны?..

Жить вблизи от родного района — и ничего ни о ком не знать; о себе не подав никакой весточки, возвращаться окольными путями из тайной будто бы зоны, — почему все так?..

#### 4

Однажды лагерный врач Петр Васильевич сказал: «Будет воля — будет и вольный свет». Не пробивается что-то долгожданный свет: или землянка глуха, или в глазах темно? Земля гудит, содрогается, качает, будто угорелого. Встать бы...

А если землянка не та и дорога не тебе предназначена? А если никто не придет? Землянка эта может стать последним пристанищем, а не спасительным домом среди талых снегов. Нет, нет, нельзя ударяться в панику. Всегда есть один шанс из тысячи. Замкнутость образа жизни при постоянном молчании в течение нескольких лет приучила его уповать на судьбу. Водоворот событий швырял неповинного человека, словно щепку, по испытаниям, но не сломил его дух, волю к жизни. Чувствуя приближение рассвета, он злился на себя: «Распалило, затемпературил, не можешь подняться...» Он казнил себя за эту неспособность вылезть на поверхность земли и встать во весь рост,

чтобы идти куда глаза глядят. Еще аукалось оцепеняющее давление страха, и появилась боязнь потерять надежду на спасение по плану, придуманному Носковым: не выдержать ожидания, выкарабкаться наверх по своей воле — означало для него сделать опасный шаг, подвести, предать доктора, земляка-надзирателя и его дочь Оленьку.

Сквозь земной гул (а происходил этот гул, наверно, от шума ветра в вершинах деревьев) он слышал свое тяжелое, свистящее дыхание. Скрипел песок на зубах. Облизнул пересохшие потрескавшиеся губы — вкус и запах крови не испугал. Вспомнилось:

«И я был страшен в этот миг; как барс пустынный, зол и дик, я пламенел, визжал... — Василий мысленно повторял давно заученное. — Казалось, что слова людей забыл я — и в груди моей родился тот ужасный крик, как будто с детства мой язык к иному звуку не привык...»

Он собирался с силами, чтобы встать. Шевельнул ногой, подтянулся на локтях и, уткнувшись лицом, выпрямился на четвереньки, словно ребенок. Утром на четырех, днем на двух, вечером — на трех. Загадку когда-то мама загадывала, в ней — вся жизнь человека.

Дрожь колотила все тело, но на душе еще теплилась надежда: скоро, скоро придет Ольга, как велено, как задумано. Эх, неволя скакет, неволя пляшет, неволя песни поет. К чему это раньше ты говорила, бабушка Матрена? Если бы ты оказалась рядом, разъяснила и помогла. В деревне ты — лучшая лекарка на всю округу. В лагере тоже был хороший лекарь... Он положит в больницу или определит в оздоровительный пункт, знал, какую «трудовую категорию» дать каждому. Кому посчастливится, того и освободит по статье четыреста пятьдесят восемь. Значит, в неволе — два бога: один бережет душу, другой дарит волю по статье...

Василий понимал: начинает думать не о том, что волнует его теперь. Но горячая голова не подчинялась, словно ей было легче в бредовых рассуждениях.

Послышался давний чужой голос:

«А что, вы начали верить в предопределение?»

— Верю, — отозвался Василий. — Только не понимаю теперь, отчего мне казалось, будто вы непременно должны нынче умереть...

«Нет, мне еще рано умирать. Нынче ваша очередь».

— Не-е-ет! — заорал Василий. — Нет! Меня ждут!

Не поднять головы, руки затекли, ноги закоченели, грудь сдавило... Он потерял чувство времени, не видел просветления над землей, потому что лежал вниз лицом. А надо бы повер-

нуться и смотреть туда, где небо. Опять кто-то спросил, но уже другим голосом:

«Что у тебя есть для жизни?»

Можно бы ответить: земля, вода, небо и память. Но лучше молчать — так велел Носков. И так, отвечая на вопросы, наговорил всего на вред себе и другим.

«Как думаешь дальше жить?» — новый вопрос.

— Как зверь, рыба или птица. Если так не получится, буду жить, как трава, кусты, деревья... Не живи как хочется, а живи как велят.

## 5

Очаг краснел, перемигивались тлеющие угольки — неужели сам, от горячего пепла, возгорелся костер и осторожно, бездымно наполнял землянку теплом? Повернув голову, Василий увидел два оконца на потолке — раньше они не светились, их не было?

Он приподнялся на локтях, отбросил овечью шкуру, которая сберегала его от влажной стужи. И не почувствовал ни головной боли, ни усталости, ни колотья в груди. Не было сеятей из колючей проволоки. Не было высоких лагерных заборов и охранных вышек. Две неволи позади — плen и лагерь. И молодость прошла, и тех нет уже дней, не вернутся опять.

В сумраке обозначилось человеческое присутствие — сидит этак вольно человек, по-домашнему сидит, в распахнутой верхней одежке, руки уютно сложены на коленях. Привиделось? Не воркутинская ли коварная лесовица явилась? Та никогда не показывала свое лицо, но представлялась красивой и ласковой младицей. Красива и молода, весела и ласкова. Кожа у нее теплая и нежная была. Там, в лесах северных, она являлась, чтобы мучить его тоской по другой жизни, еще не испытанной. Неужели опять пришла?

— Не бойся, я давно здесь сижу, — тихо сказала женщина. — Вечером пришла, не дождавшись Ольгу. На улице хоронилась твоей сторожихой — застыла вся. Вот и решилася на ночлег. Вдвоем-то теплее и не так страшно. Доверишься — в деревню пойдем, у меня банька протоплена.

Голос живой. Лицо — отчетливо видно — округлое, пышнощекое. Глаза подняла она к свету в потолочном окошечке — влажно-темными они показались. И губы влажно-вишневые. Волосы в короткой стрижке, но гладенько причесаны, видно, что мягкие, послушные волосы у нее. На плечи серый платок откинут, шея обнажена, распахнут воротник, отороченный кружеvом.

— Ну, разглядел? Как есть вся настоящая. Не лесовица, нет. Напрасно во сне-то взбрыкивал да крестился. «Сгинь, сгинь,

лесовица чертова!» — говорил. А я молчала, чтобы... Мало ли как бывает... Женщин, поди, лет пять не видал, испугавшись, думаю. Местная, неподалеку живу. Подружки мы с Ольгой Носковой, недавно подружились; как она в работу прибыла по направлению — сразу понравились дружка дружке.

Он, чтобы удостовериться, определить, не сон ли это, спросил:

— Как звать-то тебя?

— Лена Белкина. Живу в деревне, а на участке почтового ящика работаю.

— Какое время сейчас — не знаешь, Лена? — спросил Василий, с удовольствием произнося слова смягченным голосом.

— Ты уже спрашивал. Или забыл? Как пришла, спустилась в квартиру твою — ты и задал первый вопрос: утро или вечер? Я сказала, что ночь глубокая. Хмыкнул только и, как дитя, повернулся на бочок, ноги поджал и руку правую под щеку пихнул. Тут и кашлять перестал. Под овчиной-то быстро согрелся. Ноги твои босые я тоже овчиной обмотала да себе на колени их — так и затих, а то колотило всего. Настрадался, милый ты мой. Вот и занемог. Наладишься. Руки, ноги целы, с лица прглядный. И зренье, и слух не отняты... Теперь вольный казак. Бумага освободительная при тебе — не беспокойся, в нагрудном потайном кармашке она. Мысочком торчала — я и прибрала ее поглубже. Кармашек, видно, сам пришивал, по стежкам поняла. Молодой, документ при тебе — чего бояться? Всяко может получиться, конечно. Бывает, изверги человека и с хорошими документами в подозрение возьмут...

Елена говорила неторопно, с тем житейским спокойствием, которое дается натурам добрым и сострадательным. Покоем, умиротворением веяло от нее. Голос так и струился чистым родником. Давно не слыхивал женскую речь — в диковину, вот и подумалось: не сон ли, лесовицей навеянный коварно? Додумался — спросил:

— Ты крещеная или нет?

— Перед войной, взрослую уже, мама крестила. Священник тайно приходил. Ты что, не веришь? Православная. — Она в подтверждение перекрестилась, на пальце у нее взблеснуло медное колечко. — Вот те крест.

Лена привстала и еще раз с поклоном перекрестилась.

— Куда мне теперь? — уже доверительно спросил он.

— Ой... Не пропадешь. Сила будет — доберешься в свою деревню. А потерпеть надо пока. Дороги — одно мученье. Олька скоро ли будет — трудно сказать. Если получится, она со своим женихом приедет. От нижнего склада они добегут. А мы подождем, было бы чего ждать. Вот стемнеет — закрайками поля, по бугринкам, где снег истончал, переправимся ко мне домой.

Отыхай пока, копи силу. Чайку не хочешь ли испить? Не остыл еще у теплинки. Травяной отвар.

Василий послушался, попил из глиняной чашки — окатил душу. И опять расслабленно вытянулся на лежанке. Освободилось будто бы тело от невидимых вериг, которые носил долго не по своей фанатической воле. Женщина, понимая его состояние, ни о чем не спрашивала; чувствовала, что он успокоился и смирился с ее природной заботливой властью.

— Милый ты мой. Спи, мой хороший. Пожалею, обогрею, сберегу.

И он умиротворенно подумал о ней, как о Татьяне: «Хорошая, нежная... Сдергит обещание...»

В тишине и безветрии набрался крепкий морозец. Начал попискивать под кустами оставшийся еще глубоким снежок — его стягивало настом. Трещали и пощелкивали щеластые стволы сухостоин, скрипели покрытые наледью ветви берез и осин, позванивали ледяные сережки на елях. В землянку тоже осаживался холод. Но разводить огонь Елена не решалась. Она прилегла на край топчана, чтобы защитить Василия от холода, охранять его до тех пор, когда надумает встать и выбираться из землянки. Она знала, что такое решение поднимет его, и терпеливо ждала тот час. Иногда приподымалась, чтобы приглядеться к его лицу, словно узнавала или сравнивала с кем-то. Сквозь узкий прогал свинцовой лентой еще падала вниз полоса синего света, а женщина представляла зарю над лесом неподалеку от своей деревни, домик свой под тесовой крышей, в котором не состоялась семейная жизнь из-за этой проклятой войны, свою раскрытую вдовью постель с просоленными слезами подушкой и высказала заветную думу:

— Ненаглядный ты мой, возвращаешься. Долгожданный.

— Где я? — вздумалось ему еще раз удостовериться.

— Теперь будешь в Малом Заболотье. Правильно вышел, не беспокойся. У вас там тоже Заболотье на слуху — большое хлебное село за Бутырками. За ним, если волок миновать, Зяблуха будет, а тут — и твоя Зоряна. Мне Оленька рассказывала. Не бывала сама-то в твоих краях, не приходилось. Может, когда и побываю. Можно бы поменять Малое Заболотье на Зоряну. Хиреет наша деревня. Семнадцать вдовьих домов да восемь нежилых. Война и тюрьмы забрали мужиков, парней — тоже. Никто не вернулся. А тебе посчастливилось — выкарабкался. Радоваться надо, Василий. Все наладится. — Она поняла, что оплошала с упоминанием его родной деревни, собственных заболотских печалей, и потому торопилась с такими словами, от которых полегчало бы на душе. — Скоро лето, считай, дожили. Тепло, вольно, легко. Когда отсемся — передышка. В сенокос — знай крутись, только бы не задожило,

а то сеногной измотает. И жатва мне нравится. Артельные работы. Издавна у нас так: бабенки одни, иначе нельзя. Мужиков бы крепких откуда-нибудь выписать, спасителей наших. Ох, жалели бы мы их, берегли. Не хватает нам спасенных спасителей. Ой, размечталася, удержу нет. — Она усмехнулась.

Усмешка эта после воркующей скороговорки странным образом подействовала на Василия. Он дрогнул в понимании: говорится все это возбужденно и не напрасно — для того чтобы приблизиться душевно к нему открытостью и жаждой жизни. На сердце его пало сознанье, что Елена радостно от встречи с ним, что она жалеет его и помогает стать свободным...

«Спасись душой и сердцем сам — и возле тебя спасутся тысячи», — вспомнились не раз слышанные на Севере слова Романа Андреевича, Василий повторил их беззвучно, стесняясь вслух произнести перед женщиной, впервые за многие годы встреченной.

— Что ты шепчешь? — Елена приклонилась еще ниже — он почувствовал ее сдержанное дыхание, прикосновение волос к щеке — искорки из них трескуче промелькнули. — Какой день сегодня, знаешь ли? Вос-кре-сение. Светлое Христово воскресенье. Христос воскрес! — Она поцеловала щетинистую впалую щеку.

— Свечерело уже. Можно выходить?

— Полежи еще маленько. — Елена медленно обгладила его лоб теплой ладошкой — он уловил запах земляники. — Ой, Вася, а ты — молодчина. Лучше себя чувствуешь? Лоб не горячий. Пожалуй, надо идти по угасающей зорьке. Правильная воля твоя. А то банька простишет...

— На все воля твоя, господи. — Неожиданно сказалось на уме причитанье бабки Матрены. — Прости, сохрани и помилуй.

— Восходное солнце сегодня так играло, так играло. Я глядела — глаза слезились, а радостно было все равно. Слышила сверху, как ты спишь, потревожить боялась. И кашель тебя не будил. Теперь тебе легче? Небо-то, гляжу, прояснило... Подмораживает. По морозцу всегда лучше дышится. — Она энергично суетилась, шуршала по углам, наводя какой-то порядок. И вроде бы не замечала, как он поднимается с лежанки, но слегка прикасалась к нему то спиной, то бедром, то локтем, чтобы придержать. Василий вытянул шею, расправил грудь, словно петух, даже изобразил, что потягивается после хорошего отдыха. Но его пошатнуло. И он вынужден был опереться на ее покатое плечо...

Некоторое время они стояли молча, сознавая свое положение. Они были под землей, но в готовности высвободиться, выйти на волю, оставляя здесь, в землянке, вырытой дезертирами,

долговременный ужас оторванности от жизни. Василий еще не знал, что ждет его впереди, однако душа расправлялась. В сознании и желании отвлечь от всего пережитого Елена знала, что делать, как обращаться с ним, — ей от природы была дана доверчивая способность отогревать других, ничего не ожидая за свою щедрость.

Елена первой поднялась наверх, чтобы оглядеться. Пошире раздвинула елочки, прикрывающие лаз, встав на колени, сдавленным грудным голосом порадовалась:

— Хорошо-то как здесь, свежо и просторно. Иди скорее.  
— Она протянула руку и, встряхнув волосами, повторила: — Иди же.

Василий подчинился, трижды шагнул по земляным ступенькам и в упор разглядел ее лицо — открытое, чистое, с едва угадываемым румянцем, высоко вскинутые брови, приоткрытые в легкой улыбке губы. Он чувствовал ее взгляд и не думал о том, кто она — эта женщина. Он рывком поднялся, она одновременно распрямилась, привстала на цыпочки:

— О, ты на голову выше меня. С такой-то высоты тебе далеко видно. Смотри, просвечивают, проклонулись огоньки. Это в моем Заболотье старухи вечеряют, вот-вот спать улягутся. — Она оглядела его с головы до ног, а потом накинула ему на плечи свою шаль, себе на голову повязала косынку. — Пошли!

По опушкам, угадывая на обтаянные бугрины, шагали рядом, изредка перебрасывались вопросами-ответами:

— Лена, ты здесь родилась?

— Нет, на хуторе. За рекой. Там бараки, зона. Мне здесь терпеть надо, а потом убегу куда-нибудь. Может, и не убегу. Везде хорошо, где нас нет. Мама говорила: есть земля — жить можно. Пашем, сеем, хлеб сдаем. Сами впроголодь живем. Мужиков теперь не знаем, ребятишек — не рожаем. Ой, чего я та-раторю с тобой?! Совсем забылась. Я намелю-насочиняю — только записывай.

Давно не слышал деревенские такие речи. Частобайством Елена окатила — бодрости добавила.

— Отгадай, о чем сейчас думаю. — Она остановилась, чтобы ему отдохнуться. Он сдерживал кашель и потому не заговорил, ничего не ответил. — О погоде. Какой завтра будет день — вот о чем я думаю, Вася.

Даже в глухое ненастье, даже в дикое бездорожье через леса и болота передавалась от одной до другой вдовьей деревни сострадательная молва на многие версты. Междуречье и до войны не имело телефонов, лесные кордоны, деревни, хутора, поселки, безвестные лагерные зоны и теперь связаны сетью слабых дорог, самыми надежными остались пешие да конные сообщения. В любую сторону надо добираться, надеясь больше на свои ноги, чем на попутную подводу. Правда, ми-

новав несколько таежных увалов, перейдя из одного района в другой, если повезет, можно попасть на лесовозную газенную машину, а кое-где проехать по узкоколейке. Лена знала все способы передвижения в пределах доступной округи, четко виделась ей путь Василия до родной деревни. По людской молве, по собственным представлениям и печальным рассказам Ольги Носковой ей были понятны предстоящие радости и невзгоды долгожданного: вернулся с фронта отец, но нет матери, братьев; девушка, обещавшая ждать, ушла в дом к другому. Не один он такой приходил к разбитому корыту. Этот, слава богу, на своих ногах, не калека, да и молодой, — найдется для него укрепа в жизни.

Елена успела многое передумать еще в землянке, ожидая, когда отлежится ее подопечный. Были и тайные думы, о которых она подруге своей не может рассказать. Думы о готовности выходить человека, отогреть его душу, а для этого оставить, задержать его у себя, пусть на время, на одну только весну, а там — по летнему теплу — пускай бы шел без опаски. Только на мгновение допускала она в сердобольные размышления свою мечту, сразу холодела вся от понимания невозможности для него такой задержки.

— Неужели никто не пришел с войны? Восемнадцать домов без единого мужика — ты правду сказала? — Василий остановился перед темнеющим неровным порядком домов.

Как бы перечеркивая этот деревенский порядок, стремительным косым полетом промелькнула ночной птица...

## 6

В бане была приготовлена для него хвойная ванна в огромном деревянном ушате. Погружался он в эту теплую зеленоватую воду медленно и ощущал, как расслабляется, становится легким свободное тело. На душе, обласканной домашним покоем, вдруг сделалось светло и чисто. Чудодейственный перепад состояния духа и тела насторожил Василия, промелькнула нехорошая мысль: перед кончиной, старые люди говорят, человек чувствует облегчение. Он прислушался сам к себе: дыхание ровное, смягченное, и пульс вроде бы нормальный. «Живы будем — не помрем!» И тут же извлек из воображения подготовленную в годы лагерного молчания картину: лежит благостный, пространно рассуждая. «Ну вот, встал бы утром, — начал Обломов, подкладывая руки под затылок, и по лицу разлилось выражение покоя: он мысленно был уже в деревне. — Погода прекрасная, небо синее-пресинее, ни одного облачка...»

— Василий, не бойся. Это я. — Елена приоткрыла дверь. — Одежду твою щелоком в кадке надо залить. Постираю, перед печкой высохнет.

Он стеснительно, по-детски, закрыл глаза ладонями, «спрятался» по самый подбородок. Согласие и разрешение выразил невинно, мычанием, словно воды в рот набрал. Василий смотрел сквозь пальцы, он видел, как она, аккуратненькая, раздевая до рубашки, вошла, пригнув голову под низким черным потолком, на мгновение задержалась у порога, чтобы оглядеться при слабом свете коптилки. И мелькнула мимо, обдав его свежестью. Пальчиком прикоснулась к волосам.

— Не утонешь? — так много было сказано этим вопросом. Он почувствовал себя свежим и сильным в веселом купанье на Таволге. Как бы сама собой игриво взмахнулась правая рука и чиркнула с поверхности мелкие брызги в сторону Елены.

— Ах ты, шаловливый какой! — радостно воскликнула она. — Сейчас вот устрою головомойку. — Пригоршнями взяла воды из стоящей на скамье бадьи, смочила его волосы. И начала обмылочком, похожим на ледышку, накручивать пену на кудлатой голове. — Терпи, не хнычь. Смоем да еще разок намылим. — Она потянулась, чтобы взять с подоконника медный ковш. Василий, успевший незаметно и для себя приподняться, вырасти из воды почти до пояса, плечом угадал упругое тепло ее груди. С этого прикосновения оказался во власти женщины. Покорный, словно дитя, блаженствовал и преображался. Струилась на него и разбрзгивалась ароматная, на каких-то цветах и травах настоящая вода. Скрипели чистотой волосы и уши. Он пыхтел, крякал, отфыркивался, ни разу не сбившись на кашель. А Елена, как ему казалось, не дышала. И эта затаенность была загадочна — хотелось повернуться, взглянуть ей в глаза.

Когда Василий запрокинул голову, подставляя лицо, Лена зачерпнула еще ковшик ароматной воды. На щетинистых щеках его заблестели прозрачные бисеринки, высокий, с залысинами лоб омылся и порозовел. Русые волосы, сведенные, приглаженные назад, стали влажно-черными. Две седые пряди, исходящие от залысин, показались ей белыми, словно полоски у бурундучка.

Василий наклонился вперед, нагнул голову, обжимая лицо руками. На длинной шее обозначились жилы. И тут Елена вздрогнула, узрев при слабом свете, что широкие плечи, спина изрубцована шрамами, в одном месте с левой стороны словно

бы проступали краснотой какие-то цифры. Она чуть не вскрикнула.

Василий подумал: затаилась, придумывает чего-нибудь, вот и не слышно ее дыхания.

Сердце Елены вновь защемило жалостью, но она не могла поддаваться унылому настроению, пережитому в землянке, постаралась сохранить веселость.

— Не о том ли думаешь, где бы через тын перескочить? — поспешно задала игривый вопрос и поперхнулась.

Он уловил перемену в ее голосе, но принятая легкость общения ему нравилась, поэтому нашелся что сказать.

— Об одном думаю: к чему было умываться, если не с кем целоваться, — из давних зорянских лет пригодилась поговорочка Ганьки Веселовой.

— Ишь ты гусь... — Она растерялась со своим острословием. — Все. Я пошла. Самовар там, наверно, разбушевался. Домывайся, окатывайся. Полотенце на гвоздике — вишь, у дверей. Белье в предбаннике. Новенькое, не надевано, настом отбеленное. — И опять промелькнула, исчезла за клубистым воздухом в дверном проеме. — Ой, забыла. Пожелаешь веником хлестаться — в шайке распарен. Полезно. Не бойся, не угореешь, хорошо продохнулось в бане-то. Я первая парилась — ничуточки не угорела, — успокаиваясь, наставляя из предбанника. — Вот растеряха, — ругнула себя. — Бежать ведь надо.

Дощатая дверь прикрылась со вздохом. Проходя за стеной, Лена тихонько пропела: «Вдоль реки несется лодочка...»

Чудо свершилось: Василий не узнавал себя при новом состоянии тела. Он расправил плечи — грудь оказалась просторной, ничто не сдавливало, не стягивало. На спине мурочки не сказывались. Он поднялся приятный самому себе. Вышагнул из продолговатого ушата, сел на скамейку между окном и угловой полочкой.

Василий словно бы проснулся среди спокойной ночи и вспомнил, что жив, молод еще, понял, что тело послушно, сохранило гибкость, в нем исчезает усталость, возрождается упругость и сила. Жизнь не угасла, душе стало уютнее.

Издалека плеснул на каменку — парное тепло всклубилось. Низко пригибаясь, шагнул — дотянулся веником, чтобы ошпарить его над шипящим жаром. Веник взыграл, взвихрился, захватил жарынь влажными листьями. И зашелестела над ним, заговорила зорянская береза...

Окатывался, обмывался той же ароматной водой. И чувствовал себя будто после купанья сенокосным вечером в Таволге.

Длинное вышитое полотенце льняной прохладой напомнило деревенское утро с криком петухов. А как вышагнул в предбанник, не закрывая за собой дверь, оказался будто бы на туманном берегу оврага возле кузницы.

Только нарядился — надел на себя оказавшиеся впору коленкоровые кальсоны и рубашку — распахнулась дверь.

— Опять напугала, с ума сведу! — Лена всплеснула руками. — Бумагу твою освободительную... — Она кинулась в баню. — Ай, вот она, сохранна. Сама ведь на косничок из кармана выкладывала.

## 7

Светлый, легкий, избавленный от рутища человек входил на крыльце, держась за руку женщины. Не мальчик Мцыри и не Обломов, не узник концлагеря в деревянных башмаках и не лагерный лесоруб под номером. А возрожденный Василий Иванов, похожий на своих родителей.

— Не споткнись. Наклоняй голову, — предупредила Елена, широко распахнув избяную дверь.

Он шагнул из войны, из двух лагерей через высокий порог. Не споткнулся и не ударился головой, раненое левое плечо едва коснулось косяка.

Войти бы так уверенно в дом Тани Залесовой.

— Располагайся, где тебе любо. Я сейчас — мигом козу Мильку подую. — У хозяйки были еще свои заботы.

Василий, ошеломленный тем, что с ним произошло за короткий срок, за один-единственный день, поддался обстоятельствам обычной жизни. Нетерпеливое стремление поскорее добраться до своей деревни укротилось, временно заглохло. Он успел оглядеться в уютной избе с четырьмя окнами, полюбоваться на кружевые, вязанные крючком, занавески; на свежо и уверенно зеленеющие цветы, помидорную рассаду, высаженную в бумажные стаканчики; на семишинейную лампу со стеклом, подвешенную к матице; на вышитую розами скатерть, блестящий пузатенький самовар и чашки возле него; на высокую кровать с горкой подушек под кружевной накидкой. Лена вернулась со двора.

— Обрадовалась моя коза — давно не доена была. И козлятки сыты теперь. Напоила. А курицы и голодные переспят, не умрут до утра.

В сочувствии и желании отвлечь его от пережитого растворопной энергичностью своей она хотела разбудить в нем жажду мужской жизни. Выставила старинную фигурную бутыль с самогоном, две рюмочки...

---

Говорят, память стирает самое сложное, самое трудное. Это, наверно, по молодости так бывает. А лучшие годы потеряны. Молодость не кошелек, потерявши — не отыщешь. Хорошо бы пережитое считать давним сном. Там, в лагере, Василий думал, что все страшное, жестокое забудется — стоит выйти на волю.

Возвращаясь домой, обласканный живительным вниманием женщины, поддавался происходящему будто во сне.

Но обманутый всегда помнит горький опыт. ...Колонну молоденых солдатиков несколько дней гнали на запад с постоянным требованием не поднимать головы и молчать. Гнали истощенных и неспособных подать голос... А потом прошедших лагерные муки выволакивали на родину. И снова выволакивали из вагонов с требованием молчать уже не чужие, а свои чистенькие офицерики, от которых терпко пахло одеколоном. «Молчать, изменники! Молчать, предатели!» Заталкивали в теплушки и зорко крысиными глазами смотрели за каждым. Снова и снова выволакивали на снег — ослепительно белый. Пересчитывали, выкликали то по фамилиям, то по номерам. И гнали этапом на дальний Север. Гнали под озлобленным присмотром породистых псов...

В жарком полуночном бреду кажется, что отбиваешься от этих дрожащих в ярости собак. Слышатся окрики, лай, рокот трактора, оттаскивающего к болоту скученные на железном листе трупы тех, кто уже смирился со всем и навсегда.

Морозная тайга поглотила многих, которые в общих военных потерях тогда не могли быть сосчитаны. Но они, зрячая часть из них, остались в памяти Василия Иванова и его спасителя-земляка, который велел молчать, — мало ли что видели глаза и слышали уши. А сколько людей осталось в памяти Романа Андреевича, лагерных докторов и охранников?

«Страшно, Василий? Конечно, страшно. Только нельзя хоронить себя заживо, — слышится голос Романа Андреевича. — И в самых жестоких обстоятельствах у человека остается шанс, озаряется сознанье надеждой даже у последней

черты; собравши остаток сил, хотя бы мысленно поднимается он, чтобы сделать еще один жизненный шаг».

Василий спит и не спит, затаясь от всех бед и гроз мира в уютной комнатке за переборкой. Иногда долетает до него по звучной стене шлепанье стареньких часов. Где-то маякнула кошка...

Нервическим непоследовательным сознанием переметывается Василий из состояния покоя то в метель, то в грозу. Он с детства любил грозу. Мог выбежать под любой гром, ливень и град. И сейчас представилось — словно бы в вершинах близких цветущих черемух предгрозовой порыв ветра. Увиделся ровный, воздушно-пушистый шар одуванчика, не тронутый ни первыми каплями дождя, ни ветровыми порывами. С треском раскололось небо, и бледный синеватый свет обозначил все на привычных местах: спящих братишек, рядом с ними стоящего в простенке отца, перед иконой застывшую с крестным знамением мать.

И его самого, Василия, ожидающего под всеохватным страхом последний, самый сильный грозовой раскат. Отчетливо видны мрачные клубистые тучи, вырванные с корнями деревья, столбы черной пыли, разрастающиеся в вышине и пробивающие кинжалым просверком молний. Даже крохотное семечко с парашютом отчетливо видно. Молнии не ослепляют почему-то, а высвечивают всякую малость в избе: хомутовую иглу, когда-то воткнутую в паз, шило и коточиг, медное кольцо для зыбильна, уголок домотканого коврика, свисающий с полатей, фотографии в киотках, два маленьких детских стульчиков под передней лавкой, костяные кнопочки старой гармони, накинутое на самовар вышитое красными петухами полотенце...

Снова — сухой треск и грохот, дребезжание стекла. Перебойно, жутким многоголосием загрохотали разъяренные псы.

— Сейчас открою, — живым реальным голосом сказала у порога сразу узнанная Елена.

Василий вскочил с кровати:

— Дай вилы или топор. Живьем не возьмут меня...

Она шагнула к нему от порога — спокойная, уверенная — словно бы встала у него на пути...



Борис Бокарев

## КАТАНКИ

Постовал Колька Вешнякин расчесал небольшой оклунок шерсти царапкой и положил на тугую струну, чтобы взбить его в пуховый ком. Равномерно взбитую пуховину полагалось потом раскатать в широкий развал, который надо оформить на колодке: обещал Колька сработать бабке Сутырихе чирики, то есть валяные катанки для домашнего обиходу и от ломоты в поножных козанках.

Катанки, известно, обувка ни с которой не сравнимая, — особенно те, что из поярковой шерсти, мягкие, по щиколотку. Сунь ноги — беги хоть в кладовку, хоть в сени, хоть во двор по снежку. Ногам то — что в раю. А ноги у бабки избиты, истоптаны и все в узлах: чалила бабка на ферме бадыи с водой, навоз кидала, упиралась с навильников острых всем хребтом, чтобы капстраны догнать и перегнать, а пятилетку в четыре года выполнить. Грамоты за то имела, как передовая скотница отрезами на платье и тканьевым одеялом бывала премирована. И надо же — захирела бабка как-то сразу, будто спустился с нес дух, как с пузыря. Налитая была, сильная, а состарилась враз. И проводили бабку с почетом в одинокое житье — все честь по чести, с огородом и в подарок с овцой. Только овца третий год как пустует, и набрала с нее бабка шерсти на катанки. Так-то оно и прибыльно, да ягненочка надо

бы, а назад в обмен ту овцу не берут. Попрекнули даже. «Ты, бабка, — говорят, — личный интерес выше общественного ставиши». Господь с ними: поругали — не без того, а потом сами же обещали удовлетворить просьбу старейшей колхозницы. Указали так: «Пиши, бабка, заявление — на ближайшем правлении рассмотрим».

Попросила бабка соседскую Нюшеньку заявление написать. У самой-то пальцы не гнутся, да и когда было грамоту понять... Еле-еле в ликбезе читать научилась. То вон нынешние ребятишки — ух, больно востры. Нюшенька — смысленыш: третий класс миновала, а бумажку справила без запинки. Отнесла бабка заявление самой главной бухгалтерше в контору. С позатого году оно там и лежит. Теперь уж и не понять: либо до дыр то заявление очками протерли, либо отвергли, либо позабыли про него совсем. Спросить бы, да боязно: а вдруг огород урежут, подводу не дадут либо облог какой припишут... Надо подальше от греха

А теперь вот ждала бабка радости: посулил ей Колька Вешнякин свалить к субботе катанки. Принять в разумение, так такое дело для Кольки не без тревоги, не без риску: предупреждали Кольку, чтоб не занимался частнособственным промыслом. Так ведь человек полагает, а Господь располагает: приболел у Кольки дитенок, последыш крохотулишний, Любушка, а бабка для ребятенка десяток яичек принесла. В прошлую зиму куры у Кольки померзли — вот он и взялся бабке тоже угодить. Не по-хозяйски у Кольки с курами вышло. Своих-то кур бабка зимой в подполье держит. Кудахчут они там, и петух под печкой поет. Слава тебе, Господи, — ребенку впрок пошло, а Господь, он видит — много ли тут для Кольки частнособственного интересу. Разве что Меланья Марковна нагрянет из Райфо да с уполномоченным Зосимой Зосимычем. Так им бы ехать сюда и незачем. Разве злыдни что сболтнут. Тогда худо: Меланья Марковна — баба крутая, линию держит, как сверху заказано, и даже шибче того, — потому как старается и в награду хочет угодить.

Колька обволошил колодку шерстяным пластом, оформил по перворазу, опустил заготовку в крутой вар, прошелся рулем, осадил на доске: поярковая шерсть ложилась вязко, ровно, плотно — любо-дорого в руку взять. В таких катанках — ногам сплошная радость! От этой мысли у Кольки потеплело на душе: за добрую работу назвалась бабка еще пяток яиц принести. Да на ту ли притчу яйца, в той ли мысли суть: хорошо, когда человеку от человека есть радость.

Колька оформил катанки на хорошую аккуратную колодку — на полудетскую. К такой работе имел он особое прилежание: любил Колька детишек в валенки наряжать. Спостовалит

этакие махонькие на годовалого карапуза или на малявку той же поры, — топает в валенках человечишко, а Колька смотрит и тихо так, одним только лицом, смеется. Под ребячью стать Колька платы не брал и делал мелкую обувчонку, потаясь от жены, чтоб не корила. Жена знала, да не лезла, словом лишним не обмолвилась, — душу Кольке не мутила: пользы от того никакой, а вреда, что в дому, что в миру, не оберешься.

Осмотрев уже готовые, осевшие на колодках катанки, Колька еще раз убедился — вышло хорошо. Теперь готовые — на печь, а как просохнут, опалить над пучком соломы, — и на тебе, бабка, носи, — поминай добром человека! «Эх, выпить бы теперь, — поразмыслил Колька, — как-никак суббота, завтра воскресенье. Не грех бы в бане попариться, кости прогреть, телом отмякнуть да стакашек малый с устатку кинуть». В одном нездача: в конторе с полгода как аванец обещают дать. Хлеба по двести грамм на трудодень выдали — в половину овсом да ячменем. Ну так овес и ячмень тоже дело — курам дать, перемолоть для скотины в присыпку, и на муку отсеять можно. А денег вот в конторе нет и нет: должен колхоз государству лет на сто вперед. Каждый год дают колхозу ссуду, и петля эта год от году все толще становится: кто чего хочет, сколько чего захочет, то с колхоза и тащит и берет. И зачем этот колхоз только делали, коли жить ему не дают?..

\* \* \*

Меланья Марковна зорким глазом своим еще спозаранку приметила над темным катухом сизый дымок: «Самогонку либо гонют к ноябрьским, к празднику революции? Нет, не то. Чуть свет такое не творят. То производят ночью. А ведь Кольки Вешнякина катух. Опять, стервец, за свое. Ну я те покажу!»

Утро выдалось ясное, и слегка уже морозило. Землю прихватило первой стынью. Дымок из-под котла тянулся в трубу и поднимался легкой струйкой. Колька стоял в пару, по пояс раздетый, и держал в руке в аккурат осевший на колодке чирик.

Меланья Марковна долбанула в дверь с ходу большим яловым сапогом. Хлипкая дверь шаркнула по глинобитному полу и, перекосившись в петлях, кособоко зависла.

— Зосима Зосимыч, ну что я говорила? Смотри! Вот с такими коммунизм построишь! — Меланья Марковна вырвала заготовку из Колькиных рук.

Зосима Зосимыч, окутанный паром, стоял в дверном проеме, подсунув под мышку портфель.

— Все! — рявкнула Меланья Марковна, тиская в свой портфель чирик вместе с деревянной колодкой. — Доказательство есть, свидетель тоже...

Колодка выпирала: деревяшка была сработана с расчетом на голенище и потому торчала из портфеля, как бычья кость. Меланья Марковна пыталась содрать еще сырой катанец с колодки, однако не тут-то было: шерсть облегла деревяшку плотно, — Колька делал дело на совесть. Меланья Марковна, раскрасневшись и вспотев, позадрала края ногтями, но чувствуя бесполезность собственных стараний, в сердцах пригрозила:

— Ну, приблудок кулацкий, смотри! — Она запихнула в портфель заготовку как есть, вздернула портфель под локоть и вышла вон, не закрывая двери.

Колька кое-как придинул покалеченную дверь на место. Он слегка зазяб и накинул на плечи ватник. Он забедовал болыше от того, что Меланья Марковна уперла колодку — второй такой не имелось — и придется подобрать непарную. А вот из чего бабке сделать второй чирик? Из какой шерсти? В углу скомканы очески, оборыши. Наскрести, пожалуй, наскребешь, — так ведь серым выйдет чирик и не такой вовсе — намозольный, грубый, неподатливый. И как там бабка будет шмыгать в одном черном, в другом сером чирике, — одной ногой подскакивать, а другой ногою землю загребать?.. Вот ведь незадача!

И Колька принялся сотворять из оборышей вторую понову для бабкиной разутой ноги. Оно с разумением прикинуть — глядишь, и выйдет заготовка. Дверь вот колом надо подпереть снутри, чтобы враз не ворвались. А пока торкаются, заготовку сунуть под дрова. Второй катанок получился пегий, и Колька запрятал его с первым, настоящим, за печь и заложил дровами.

Утром того же дня Кольку навестил председатель Совета и приказал, чтобы Колька никуда не отлучался из села все эти дни, потому что на него заведено теперь дело, по которому пришлют человека провести расследование. Прошла неделя, и Колька подумал было, что беду пронесло, однако в понедельник приехал следователь, вызвал Кольку, вынул из портфеля разрезанный чирик. Колодку, как видно, начальник решил не таскать. «Признаешь?» — спросил он. Колька признал. Следователь вяло и нудно выспросил, когда и как Колька сотворил для бабки катанки, записал все на бумагу. Приладив заскорузлые пальцы в жменьку, Колька подписал протокол, поставил закорючки о невыезде, почесал затылок и отправился домой.

О том, что Кольку заграбили, узнали враз и все. До Колькиной постовойльни виделась набитая тропинка. Теперь тропинка по первому налетному снежку лежала пусто и мертвое: никто по той тропе не шел, не торопился. Затаились люди от греха подальше. Не ровен час — притянут во свидетели, а там, глядь, и к тебе во двор придут. Придут незваны-непрошены, а ворожить все начнут, как хозяева. «Не ведешь ли тайный

промысел в целях наживательства?» С кем водился-знался — спросят тож. На такой случай сперва-наперво надо портрет вождя иметь. Как войдут, а портрет им по лбу, то есть прямо со стены метнет в них зрак, — тогда с них пыл враз слетает, и они хозяина по плечу похлопывать начинают: так и так, мол, трудящийся крестьянин, а сколько у тебя трудодней? Трудодней много — так и отступятся. Перед портретом даже начальство в мать-перемать не пускается. Правда, в какой-такой попадешь случай. На допросах так под портретом ещешибче становятся злей, чтоб верность идеалам показать по борьбе с врагами народа.

А Колька Вешнякин — какой он враг? Из него никакого шпиона и вальком не выколотишь. То все больше из людей партийных да образованных шпионов разоблачают. Призовут гнилую интеллигенцию, так с нее проще простого шпионов делать. Иной профессор, поди-ка, за всю свою жизнь никому и в ухо не дал, зато складно говорит, ну его и сгребут по проценту. Это к тому, что сверху указание было: в каждом районе есть свой процент врагов народа, которых ликвидировать надо. Так ведь Кольку ни один энкаведешник ни в какой процент и даром не возьмет: дурак дураком — путем двух слов связать не может. Куда уж там в шпионы!

Воротясь домой, Колька постоял возле калитки, но в избу не зашел, а направился в свою постовальню — прятать колодки. Колодки в постовальном деле — инструмент первый, а тут — не ровен час — придут, опишут да и заберут все с членками в пользу государства. «Ну этак-то хрен вам, — решил Колька. — Позатырю-ка я их в подпечье, а частью на чердак». Вместе с тем Кольку грызло беспокойство: «Кто он, Колька Вешнякин, теперь будет — элемент или враг?» В недавнюю пору, когда товарищ Берия объединил милицию с особистами, над тем голову не ломали: и так и так тебе крышка, — если элемент, так десять лет дадут; если враг, то расстреляют. А потом, по воле народа, там — в верхах — поделились, и если про Кольку на суде скажут «элемент», — то, значит, будет всего-навсего уголовка — дадут лет пять, не больше. Вот по статье да по пятьдесят восьмой загремишь как «враг народа», — тут уж поминай как звали.

Кольке очень не хотелось попасть во «враги». На его памяти по той статье никто не возвращался. А через пяток лет чего бы и не возвратиться. Кольке еще и сорока нет. Чахотки там, грыжи, спинного срыва, суставной ломоты на великих стройках не нажил. Его и на мобилизациях по причине многодетности обошли. Бывает, что и раньше люди по уголовке домой возвращаются, а когда и позже, — если в лагере пришпандорят еще какую статью.

Обязательный минимум — сто пятьдесят трудодней — Колька выработал и даже сверх того. Может, от тоего и выйдет трудовому колхознику поблажка. Однако попрекнули, что Колька не в числе передовиков, а мог бы. А помыслить взаправду, так не рвал Колька пуп на колхозной ниве и чуял теперь, что ему это отольется. Делал Колька доброе дело — обувал на зиму село; а теперь такой факт скребет Колькину душу: считай, с полсела вышло по первому снежку в Колькиных валенках да катанках. Как на параде, леший их возьми, красуются. Попробуй откажись, что ты своей частной лавочкой не занимаешься. Сам председатель сельсовета три раза втихаря заказывал Кольке красовитые белые валяные сапоги из шленской шерсти. Помозолил Колька с тем заказом руки: шленская шерсть тонкорунная, под холстиной пружинит и не сразу пакуется на колодке, — зато, когда уж ляжет да присядет, чистим фетром стелется. А ногам в любую стужу и легко, и тепло. Просышал Колька, что белокипенные валяные сапоги одни пошли предрику, а вторые — самому начальнику милиции. Вот и уберут они, наверно, Кольку, чтоб про то никто не знал. «Эх, ма! — вздохнул Колька. — Засудят начисто! Куда там оправдаться!»

\* \* \*

На суд в избу-читальню народу валом привалило, и все в подшитых старых валенках. Береженого бог бережет: глянет на новье это тот, что с кобурой при нагане, — и сгребет во свидетели. «Откуда, — спросит, — новые валенки взял?» А в свидетелях — там не запирайся, не то враз на скамейку рядом с Колькой угодишь. Загремишь в соучастники. Кое-кто и вовсе в опорках до избы-читальни доскребся: онучи холстяные вокруг бобышек обмотал, всунул ноги в старые яловые оголенки да влез в самую середку, в гущу, в живое людское тепло. Такого тискали вперед — поближе к скамье подсудимых, потому что каждый от нее подальше затиснуться норовил.

Колька сидел на той скамье в аккурат за двумя милицейскими галифе. Бежать Колька никуда не пытался, а два галифе к нему поставили, видно, для важности, чтобы дух в миру честном прихватывало. А по галифе сбоку на задницах — наганы в кобурах, — страх да и только. На столе под красным полотнищем, соответственно супротив судьи, темнел взъерошенный и смятый Колькин чирик — главное вещественное доказательство. Колька подосадовал, что готовью не дали на колодке высохнуть и расправиться, и теперь выходило, что он, Колька Вешнякин, свалял такое вот дермо для собственной срамоты и надругательства. «Совсем опозорить хотят», — решил Колька, заполняясь безнадежностью и тоскою. Однако

начался опрос свидетелей, и Колька все только кивал русой всклокоченной головой — не то отрикал, не то поддакивал.

Процесс шел гладко, и прокурора понесло: он встал, разительным взглядом окинул серо-зипунную овчинную публику — начал:

— В то время, когда наша страна под водительством великого отца и вождя народов товарища Сталина, в борьбе с международным капитализмом, преодолевая поставленные товарищем Сталиным рубежи, семимильными шагами идет по пути светлого социалистического строительства вперед к победе коммунизма, в то время враги народа, приспешники буржуазии строят нам козни, готовят диверсии, чтобы затмить наше светлое будущее!

«Ну все — хренец... — екнуло у Кольки сердце. — Попал во враги народа...»

А между тем, окинув еще более строгим взглядом намертво притихшую публику, прокурор продолжал: «В то время, когда наш вождь и учитель товарищ Сталин проявляет отеческую заботу о народах нашей страны, отдельные элементы не хотят быть приобщенными к великому созидающему труду на благо всех трудящихся!»

«Каюк, мать твою в душу...» — совсем было приуныл Колька, но слово «элемент» оживило его, и даже прокурор показался ему не таким грозным — этакий напыжистый, набрякший.

Что дальше было, Колька и совсем не упомнил: в духоте, как в угаре, голова гудела чугуном. Хотелось провалиться сквозь землю, зарыться куда-нибудь.

— Люди добрые! — вдруг завопил он, бухнувшись на колени. — Неужто я преступник! Я ж своим трудом!!!

Дальше Колька ничего уже не слышал и не разбирал. Двое в галифе, встягнув, усадили его снова на скамью. Колька не шелохнулся и ничего не сказал в своем последнем слове. Даже когда судья скостили ему срок с десяти до пяти лет, он молчал и тупо, непонимающе смотрел в пол. Он не заметил, как председатель Совета подошел к прокурору и что-то шепнул ему. Прокурор поманил секретаря, что-то сказал, а секретарь чего-то нашептал судье на ухо. Заседание суда закрыли, и двое в галифе приказали очистить помещение.

На ночь Кольку посадили в сельсоветский чулан под охраной тех же галифе. Он не успел еще очухаться, когда в сумерки к нему пришел предсельсовета с тетрадочной бумажкой. «Подпиши», — сказал он. — «А это че такое?» — «Заявление на пересудок». — «А боле не приляпают?» — «Подпиши, дурак, — о тебе забота, значит, есть».

Взаперти, в дощатом закутке Колька иззябся порядком, однако знающие люди в бытность свою говорили, что в настоящей кутузке еще холоднее, чем в этой кладовке. В сельсовете

печь не грела ни черта. С холодрыги конвойные злились,топали сапогами и, кажется, хотели для согреву набить Кольке морду, но к полуночи предсельсовета принес им с полчетверти самогонки, хлеба, луку и сала.

Вскоре сивухой потянуло в чулан. Было слышно, как булькала самогонка, переливаясь в жестянную кружку.

— А этому не плеснуть?.. — прогудел один. — Снаружи стынь вон наседает, — не окочурился бы.

— Оно конечно, — отозвался напарник, — с нас ведь спрос. Прошлую зиму пеньковских конвойных вон как таскали: не дали какому-то профессору размяться, а он и сдох...

— Известно, что с них и взять, с профессоров-то... Квелье... Ниче не могут, — согласился бас. — У них вот тоже тут в Совете по весне труба рухнула и флаг, возьми-ка, и сшибла. Ну, печника, как и положено, загребли за антисоветскую провокацию. Печники, понятно, от Совету потом в округи побегли. Нашелся какой-то свинопас из лишенцев — свалил вот эту дулю, по которой теплый кирпич не сыщешь. Зато вон как держится — трактором не свалишь. Эй, ты! — Постучал он в кладовку. — Живой?!

— Жжжжж... — дробно отозвался Колька.

— Посунь сюда рожу! — Бас отпер замок, снял щеколду. — На — дерни. А то там про тебя — не про тебя, а звонок пришел сверху. Вроде как спецзаказ для самого. Ого! Понял? Говорят, предрик в области был в чесанках белых. Ну, оттуда и тово — работа глянулась. Тебе, дураку, понять это надо, когда сверху тово — указ, тут уж вдрызг разбейся. Я полагаю, тебя в чулан-то для осмысления момента посадили, так как пересудок тебе завтра будет.

Конвойный налил полкружки самогонки, сунул Кольке в руку, дал половинку луковицы, кусок хлеба, а сала не дал.

— Арестантов салом не кормят — не положено, — пояснил он.

Колька выпил и, чувствуя побежавшее по жилам блаженное тепло, разговорился, разбахвалился.

— Ты там, дядя, — гомонился Колька, — хрен со шкворнем перепутаешь, а я сапоги из шленской шерсти могу такие скатать, что самому товарищу Ворошилову под галифе в стать пойдут! Да, я могу. Да я, мать вашу так, всю войну для армии валенки делал. Меня за то и берегли! В бой не пустили. А когда нас обошли, я этому фрицу прямо из постовойльни с ППШ с брюхо врезал. Понял ты, зараза!

— Ну-ну, ты... Ты там не очень, — отозвался, серчая, конвойный, — а то я те сразу сопли размажу...

Колька еще побухтел, повозился в кладовке, но с усталости и с голодухи самогонка быстро сшибла его. Он приткнулся боком на лавке, натянул ватник на уши и тут же заснул.

Наутро — ни свет ни заря — председатель сельсовета разослал по селу нарочных. Каждый нарочный, прихватив пал-

ку, шел по дворам, лупил в калитку либо в ворота, иной раз — по наличникам: «Вечером в избу-читальню всем! Пересудок будет! С уклонистами проведут особый разговор!»

Ожидая бог весть чего, народ привалил на пересудок скопом. Погода выдалась тихая, с легким морозцем, воссияли звезды. В хлевах ревели недоенные коровы. Чуя людскую тревогу, вразнобой тявкали собаки.

Вопреки всем тревогам пересудок оформили в полчаса:

«В связи с ходатайством Сельсовета и Правления колхоза, учитывая чистосердечное раскаяние подсудимого, Бешнякина Николая Еремеевича, определить и заменить меру пресечения, определенную статьей 153-й УК РСФСР как частнособственническая деятельность, на основании статьи 38-й УК РСФСР пункт 9-й, а также статьи 44-й УК РСФСР, статьи 94-й УК РСФСР, статьи 138-й УК РСФСР — по решению выездного суда...»

И Колька совсем сник. Он пошарил рукой под штрипками штанов: ремень с него, наверно, позабыли снять, и можно было еще удавиться. Кто знает, может, на тот случай кто-то сердобольный и всадил толстый шпигорь в сельсоветской кладовке под самым потолком, когда, скажем, невтерпеж изобъют-измучают, душу вытянут на предмет признания вины.

Пока судья перечислял статьи, у Кольки кровь ушла с лица, и стал он бледным, как покойник, — вот-вот упадет, и слова «признать виновным и назначить меру наказания — один год исправительно-трудовых работ с вычетом двадцати пяти процентов заработка» проплыли где-то над ушами. Голова очнулась, и Колька не слышал одобрительный гул толпы. Настроение в избе-читальне всколыхнулось, восторженно и облегченно прокатилось по овчинной духоте.

А на другой день председатель сельсовета подъехал на телеге к Колькиной избе, постучал, вызвал, сбросил на крыльце два мешка со шленской шерстью.

— Открывай-ка свой катух!

— Так я эта... — заикнулся Колька. — Меланья Марковна — она... Зосима Зосимыч тож...

— Заказ сверху... — кратко пояснил председатель. — Тебя перича твоя частнособственническая лавочка прикрыта. Я тебе в твой катух двух лишенцев пришлю. Дохлые они. Срок отматали. Ну да, глядишь, подкормятся. Один тово — помешанный, совсем тихий. Но ты — смотри — не усомнись... Тебя перича на основании обобществления твой катух образуется в артель. Нака вот снаружи пригвозди. — Он вытащил из-под сенной подстилки фанерку в размер двойной ученической тетради.

Колька похлопал глазами и кое-как с трудом прочел:  
САПОГОВАЛЯЛЬНЫЙ ЦЕХ КОЛХОЗА «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».

*Владимир Старателев*

## **«МНЕ БЕСКОНЕЧНО ЖАЛЬ...»**

Юра Родионов нервничал.

Задуманное не то чтобы не получалось, а шло как у всех. А Юре страшно не хотелось, чтобы как у всех. Дело в том, что Юре стукнуло пятьдесят, и как ни противился он (отмечать — не отмечать?) этому малозначащему, с его точки зрения, событию, цифра, однако ж, круглая.

Будучи скромным, Юра привык заботиться о других: о матери, о сестренках, о маленьком братишке, игравшем когда-то в клубе на танцах, и свою судьбу он притормозил — поздно женился, поздно перебрался в город, потому что все сам, помохи ждать неоткуда. Однако жизнь сложилась: Юра живет в кооперативной квартире, ни от кого не зависит, товарищи по работе называют его в доску своим. Еще бы, он их все время выручает, подменяя то одного, то другого. Товарищи со слабинкой, а Юра непьющий, поэтому чуть что — к нему. Юра и закуривает после того, как выпьет, но поскольку он не пьет, то, значит, и не курит.

Итак, жизнь сложилась, а день рождения не складывался. Юра посмотрел на полногрудую, с озорными глазами, жену, перевел взгляд на сына. Нет, жена молодец. Все блюда приготовила сама, менять их за столом попросила соседку, теперь сидит, отдыхает, прическу успела сделать, маникюр. Однако Юра чувствует ее укор: «Предлагала тебе, дурню, в заводской столовой, глядишь, сейчас песни б пели». Жена у Юры реактивная, ей лишь бы быстро, а Юра неторопливый, любит подумать. «Столовая большая, — в который раз отвечал он ей, — гости разбредутся по углам, а потом начнут по одному бегать да прикладываться». — «А баянист на что?» Баянист стоит сорок пять рублей, этих денег Юре откровенно жаль. Незнакомый человек долго сидит за столом, насыщаясь до необходимой кондиции. Какой после этого из него музыкант? Две-три песни, и вот уже съехали на «барыню», топот, визг и... скуча.

Сын пожертвовал тренировкой ради отца, тяжко ему среди стариков, на рюмку водки он смотрит как на горькое лекарство, и на тонких губах можно прочесть усмешку — зачем оно здоровому? Парень с головой, но спорт слишком затянул: то сборы, то соревнования, в том числе и за границей, некогда даже жениться. Юра хотя и любил сына, но от банкетного зала с рок-группой отказался.

Он предоставил одну из своих трех комнат, взял напрокат аккордеон и теперь ждал, чем окончится его собственный вариант.

Пока все шло гладко. Гости, Юрины сослуживцы и несколько приглашенных из поселка, всего человек тридцать, освободились от напряженной тишины, повисшей в начале застолья, пошли разговоры, за ними — смех. Юра одним ухом ловил приветствия в свой адрес, а другим — звуки из прихожей. Спокойствие его убывало. Сын включил магнитофон — Юра метнул сердитый взгляд. Однако сын (тоже характер) лишь приглушил звук. Щелкнул замок на входной двери, Юра вздрогнул, но это соседка за чем-то к себе ходила. Сын, словно издеваясь, принес аккордеон и водрузил его на телевизионную тумбочку (телевизор вынесли).

— Ого! — воскликнул лысый, с молодым лицом, мужчина (Юрин начальник цеха) и, довольный, потер руки.

— Кого ждем?

Юра что-то ответил, но гости не расслышали, и тогда сын пояснил:

— Батя сыграет.

Юра умел играть. Всего лишь одну песню «Хмуриться не надо, Лада». Почему одну? У него были настолько широкие пальцы, что ими — на прессе работать, а не на аккордеоне играть. Поэтому Юра и работал на прессе, а к аккордеону имел самое малое касательство. В конце концов ему пришлось схватить его (гости стихийно запели), и это был порыв отчаяния: перекрывая голоса, Юра врубил свою «Ладу», выразив тем самым накопившуюся обиду, которую причинил ему непоявившийся аккордеонист.

Но аккордеонист уже стоял в прихожей. Никто не заметил, как он вошел. Худощавый, среднего роста, с высоким лбом и умными карими глазами, он снисходительно слушал. Когда Юра закончил, тот чмокнул его в щеку и, отобрав аккордеон, повел компанию дальше. Компания восприняла его появление совершенно естественно, как будто так и было задумано, лишь Юра, выйдя на балкон, хватанул снегу для успокоения. Он все еще не верил, что спасен.

Он пробыл на балконе довольно долго. Доносившиеся звуки говорили о том, что веселье набирает силу. Где-то на двадцатой, без перерыва, песне грянул такой мощный хор, что Юра, обожженный холодом, впрыгнул в комнату. На собственном дне рождения он оказался гостем, никто не вспомнил, где он, что с ним.

Аккордеонист был опытный. Взглянув на расположивших женщин и начинающих седеть мужчин, он понял, что им нужны песни их молодости. И он легко извлекал мелодии из сво-

ей памяти, это ему ничего не стоило. А гости были изумлены тем, как они могли забыть такие дивные песни, ведь это лучшее, что у них было когда-то. И неправда, что время не возвращается, еще как возвращается!

Аккордеонист знал и о таком свойстве поющих, как вспоминать слова через двадцать, тридцать лет. А когда человек, сам себе удивляясь, отыскивает их в памяти, он поет необычайно громко. Он радуется тому, что нырнул в счастливое начало жизни. «Не могу я тебе в день рождения дорогие подарки дарить...»

Конечно, была признательность за доставленное удовольствие вот так, запросто, от души попеть. Юра до того растерялся, что опрокинул подряд две стопки, а вместо закуски попросил сигарету. Но курить не стал, лишь смял ее; внутри у него все трепыхалось. Набежала слеза, и он стыдливо провел по ресницам кулаком. Жена делала ему знаки, мол, горячее стынет, но он ничего не видел. Сын выспрашивал у соседки слова понравившейся ему песни. Аккордеонист почувствовал, что одного пения мало, и предложил танцы. Сделал он это своеобразно: тихонько, как бы для себя, заиграл мелодию популярного в пятидесятые годы танго. Вначале он даже скрыл ее, пустив вперед импровизацию, отдаленно ее напоминающую, но потом внезапно обнажил, простую и бесхитростную. «Мне бесконечно жаль...» Едва он это сделал, как откуда-то из угла хрипло выкрикнули:

— Волька!

Аккордеонист продолжал по инерции играть, всматриваясь в человека в углу, глаза его наполнились тем ужасом, с которым связано всякое нежданное и негаданное, он дрогнувшим голосом, но отчетливо спросил:

— Грень?

Так узнали друг друга бывший председатель поссовета, с легкой руки которого в поселке после войны появился клуб, и мальчишка, игравший в этом клубе на танцах за буханку хлеба. Тридцать лет прошло с той поры, но словно их и не было. Заполняя время, кинулись в объятия друг друга два человека. Оборвалась на полуэтапе музыка, смешались гости, веселье покатилось вспять...

— Десять лет из-за меня? — волновался Владимир Родионов, всматриваясь в расплывшиеся черты своего бывшего покровителя.

— Двадцать пять, — пробасил Грень.

— Двадцать пять?

— Дали четвертак, а отгонял червонец.

— А помните пионервожатую Алю? В поселке говорили, что она на вас донесла.

— Вспоминал кой-когда.

— Злополучный тот пионерский галстук, — сокрушился музыкант, гладя большую мягкотелую стариковскую спину.

— Галстук мелочь. Дали срок мне за плен. Я в плена месец был.

— Товарищи, это мой первый учитель! — радостно сообщил Володя.

Юра глазами показал брату: неплохо бы продолжить. Володя отмахнулся — веселье потеряло для него всякий смысл.

— Сыграй-ка, Волюшка, — поддержал Грень Юру. — Только и был у меня свет в окне, что ты. Прости, не выдержали нервишки, хотя и обещал я Юрке молчать. Кстати, а почему ты опоздал? В поселок завернул?

Володя кивнул.

— Я ж тебе говорил, что мать в Забайкалье, — укорил подошедший Юра. — Теперь в Венгрию собирается к другой дочке.

— Разлеталась, старая, — улыбнулся Грень.

— За офицеров вышли наши сестренки, — пояснил Юра Греню.

— Товарищи, вы как хотите, — громко заявил Юрин начальник цеха, — но я под магнитофон танцевать не собираюсь. Я полюбил аккордеониста и буду ждать его хоть до утра.

— Тяжело было в лагере? — не желая ничего слышать, спросил Володя.

Юра умоляюще смотрел на брата, а Греню скрытно показывал кулак, мол, вылез, сапог, не видишь, все испортил, — но ничего не помогало. Володя не хотел расставаться с мыслью, что из-за него Греня сослали на каторгу, он стоял поникший, опечаленный, как бы раненный новым обликом Греня, тем, что этот опухший старик никогда больше не превратится в стройного молодцеватого сержанта, каким Володя увидел его после войны. Ощущение вины сдавило Володю, как всякого совестливого и думающего человека, но собравшимся его терзания были неизвестны. Они лишь поняли, что встретились старые знакомые.

— В лагере как раз — нет, потому что фронтовики взяли верх над уголовниками. А вот работенка выпала не приведи господь: на урановых рудниках. Возле каждого такого рудника остались разбитые бараки да кучи могил.

— А судил вас кто?

— Никто. Забрали по анонимке, следователь сначала, знаешь, к чему придрался? К фамилии. Что у тебя за фамилия, спрашивает. Чухонская, отвечаю. Мои предки тут жили до Петра еще. Нет, говорит, это ты сейчас придумал, а на самом

деле ты немецкий шпион. Хотел сделать из меня шпиона, но когда я подтвердил, что был в плену...

— Значит, не из-за меня?

— Да что ты, Волюшка! Помнишь, как лазал к Денисенкам через подполье?

— Конечно, — с готовностью ответил Володя.

— А теперь представь: тебя сажают за это.

— За это?

— А почему бы и нет? За то, что жить хочешь. Человеком хочешь быть. Вот и я хотел, да кому-то не понравилось.

— Чувство обиды не прошло?

— Да как сказать... Государство мне вернуло все, что в его силах. Но здоровье разве вернешь?

— Мне тоже не повезло, — сказал Володя. — Аккордеон у меня отобрали, из клуба сделали детский сад. Юрка хотел устроить в музыкальный интернат — мать испугалась, что помру с голоду. Лишь после армии удалось поучиться, но поезд, как говорят, ушел.

— Прибедняешься, наверное, — недоверчиво пробасил Грень.

— Всего лишь преподаватель музыкальной школы.

— Ничего себе, — возмутился Грень, — так играть!

— Самодеятельность, — пренебрежительно сказал Володя и отвернулся.

— Дети есть?

— Сын.

— Музыкант?

— Конечно.

— Ну вот и радуйся. У меня вообще ничего. — Похлопал Грень Володю по спине.

Юра тем временем пустился на хитрость. Принес откуда-то стеариновые свечи и зажег их по всей комнате. Когда верхний свет погасили, то Володя с Гренем словно оказались в клубе, как бы на вечере с керосиновыми лампами. Так велико было это ощущение, что Володя не выдержал и взял аккордеон. Заиграл он таким детским звуком, тоненьkim, в одну строчечку, щемящим, неровным, готовым вот-вот оборваться, что у Греня навернулись слезы. «Вот и хорошо, Волька, вот и хорошо, и больше ничего не надо!.. Мечта сбылась, можно сказать». Володя это сделал из молодого озорства, но комната тут же наполнилась танцовщиками. Он продолжал играть детским звуком один танец за другим, но никто не сказал ему: брось притворяться, выдай что-нибудь посущественнее. Ему верили так же, как и тридцать лет назад! А когда он усложнил музыкальный язык, танцующие буквально вошли в раж. Начальник цеха сначала освободился от пиджака, потом от

галстука и умолял разрешить ему плясать в майке. Как ни крепился Юрин сын, но, попробовав себя в «летке-енке», финском танце шестидесятых годов, он то и дело обращался к аккордеонисту: «Летку, дядь Вов, летку». Греня так утансцевали женщины (в компаниях их всегда больше), что он прятался на балконе.

Володя заиграл «Вам возвращая ваш портрет». Он просто-напросто угадывал любимые мелодии этих людей. Кроме танго, в ходу были чарльстон и краковяк, а вальс оказался королем. Вальсировали так истово, с таким небережением сил, что дверь на балкон не закрывалась: пары вылетали прямо на свежий воздух. «Волька, а помнишь?» — кричал Грень в открытую дверь и тут же получал музыкальный ответ. Юрин начальник цеха после каждого танца нагибал Володину голову и чмокал в темя.

— Какое счастье, что ты не магнитофон!

Юрина жена шепнула Володе:

— Ты сэкономил ящик водки.

— Моя цена в базарный день, — иронизировал Володя. — Начал с буханки хлеба, а кончил...

— Дай Бог всем так, — не поняла она. — Двести рублей за вечер! Больше, чем я за месяца...

Юра принимал первые поздравления. В ответ на его «понравилось?» ему отвечали: «Не то слово». Тихонько спрашивали, можно ли пригласить Володю на свадьбу, день рождения... Редкий музыкант, такому и заплатить не жалко. Юра отвечал уклончиво в том плане, что Володя живет в другом городе, не так легко выбраться. Зато Грень всех обнадеживал: «Мы его вытащим оттуда, он будет наш». Греня благодарили как учителя. Он поначалу конфузился (какой там учитель?), но в конце концов смирился. Так и сновали люди от Юры (он стоял в прихожей) до Греня, курившего на балконе, а Володя в это время играл попурри из всего того, что им было исполнено. Он не только соединил в причудливый орнамент вальсы и фокстроты, но и вкрапил песни новейшего времени, и эта неожиданная, свежая краска задержала людей внизу. Уже все простились и вышли, и Володя пошел на балкон к Греню узнать, как он себя чувствует, но люди у подъезда попросили на прощанье танго.

— Чуть сердце не вылетело, — признался Грень. — Ты опасный человек, Волька!

— Дядя Грень, но я не опаснее рудника, в котором вы...

— Сынок, — попросил Грень, — не пытай меня больше об этом. Ради Бога. Результат будет — я исчезну раньше срока. Пожалей меня, старика, будь добр.

— С рудника, насколько я знаю, ни один человек...

— Правильно, — подтвердил Грень, — зэки на руднике погибали. Я затем вернулся, чтоб сказать тебе об этом.

— Простите меня, дядь Грень, — поднес Володя носовой платок к глазам, — я не по злому умыслу. А помните, у вас была девушка? Дождалась ли она?

— Про девушку лучше завтра.

— Какое завтра? У меня утром поезд.

— Тогда ночью.

— А почему не сейчас?

— Поиграй, Волюшка, люди ждут.

— Не будет этому конца, — вздохнул музыкант.

— Вот и хорошо, родной мой. Самые лучшие слова, которые ты хочешь сказать мне, у тебя в пальцах.

— Не начну, пока не услышу про девушку.

— Танго века! — крикнули снизу.

— Мне бесконечно жаль, — пропел Грень в темноту, — своих несбывшихся мечтаний, и только боль воспоминаний...

Володя через решетку балкона увидел: внизу, в свете уличного фонаря, задвигались пары, и разбавил хрипоту Греня тонким и чистым звуком.

— Она меня не дождалась, но зато я ее дождался, — задыхал над ухом Грень.

— Как так?

— Вернулся, смотрю, жизнь ее не kleится, и предложил пойти за себя. Она — молчок, но глаза... Пришла ко мне с двумя детишками через полгода.

— Так где же она?

— В поселке.

— Утром чуть свет едем в поселок. На первом автобусе.

— А поезд?

— Подождет. Завтра соберем всех, кто танцевал в сорок шестом году.

— Ой, Волька! Ты ли это говоришь? Да за такие слова я... Снизу потребовали прощальный вальс.

— Танцы до упаду! — закричал Грень в темноту.

— Вот именно, — Володя засмеялся и пошел с аккордеоном на улицу.



Олег Каликин

## ВОКРУГ ОЗЕРА

Живут они в скромном старинном городке. Учительствуют в сельской школе, за озером, к которому приился городок.

Школа, белокаменное здание бывшего монастыря, венчает островерхий холм и, высоко вознесенная им, как бы парит летом над светлыми водами озера. В тихие ясные дни всплывает из глубин ее белый двойник. В навигацию шустрый катеришко доставляет учителей к подножью холма, склоны которого украшены сухим запастистым сосновым бором. Застынет озеро — они перебегают по льду. Зимой ходят на лыжах.

И только раз в году, после весенних каникул, — в сельских школах не распускают ребят, пока не потекут овраги, — учителя добираются до школы кружным путем, в обход озера. Накануне занятий они сходятся к двухчасовому автобусу на центральную площадь городка, по-летнему сухую и пыльную.

Константина Сергеевича провожает мать, сгорбленная старушка в сереньком платке и очках. Алевтина Михайловна — младшая сестра, румяная застенчивая девушка. В ожидании автобуса стоят парами, держатся скованно и отчужденно. В автобусе садятся порознь.

Автобус, дребезжа расшатанными стеклами, мчит их сперва сонными улочками рыбацкой слободы, потом берегом озера. Лед на нем вылудили утренники, темная вода закраин тянется по заплескам, огнисто отбрасывает солнечные лучи.

Незаметно озеро уползает в сторону. Автобус делает остановку при въезде в небольшую деревушку, возле чайной, и учителя выходят.

Константин Сергеевич поправляет за спиной тощий рюзак, вздергивает до упора резиновые болотные сапоги и обворачивается к учительнице.

— Пошли, Алевтина Михална!

Долговязый, поджарый, он ходко устремляется по черной тропе в обход деревни к осиннику.

Алевтина Михайловна, покусывая полные губки, семенит следом. Ноги у нее скользят и разъезжаются. Блестящие полу-сапожки вмиг обрастают грязью, смешанной с палым листом, тяжелеют. Алевтина Михайловна старается ступать на островки черного льда — остатки зимней тропы — и бросает в спину попутчику недобрые взгляды.

Вокруг все блестит и сверкает на солнце: ручьи, лужи, прилизанная водой старая трава, глянцевитые стволы осин.

Ярко, празднично сияют атласной кожей березы, разбросанные по осиннику. Пускает свой луч каждая ветка, каждая почка на дереве.

Отовсюду доносятся запахи талого снега, древесной коры, размокющей земли. Воздух стонет, верещит, свистит на разные птички голоса. Вода бурлит, лопочет, шипит, продираясь сквозь снег. Стоять бы, смотреть, слушать и вдыхать. А Константин Сергеевич мчит как нахлестанный, его ничто не трогает вокруг. И как ни обидно Алевтине Михайловне, а надо спешить за ним: одной идти по лесу жутковато.

На выходе из осинника — низина, залитая водой. Учитель, не замедляя шага, вступает в воду, гонит перед собой сапогами волну.

— Да подождите, Константин Сергеич! Может, мне не перейти! — кричит Алевтина Михайловна.

— Действительно! — спохватывается учитель и бредет обратно, останавливается возле попутчицы.

— Что стали? Идите, меряйте! — хмуриется она.

Константин Сергеевич послушно идет. Посреди низины вода достает ему до колен; полы длинного старомодного плаща распłyваются в стороны. Он не замечает, поворачивается и возвращается к учительнице, с сочувствием смотрит на ее полусапожки.

— Да, глубоко... Придется переносить... — говорит он и топчется в нерешительности возле девушки.

— Ну! — командует она и становится к нему боком, прижимает к груди чемоданчик. Нагнувшись, он подхватывает ее под колени и за спину, бережно несет над водой.

Болонья, напеченная солнцем, горячит ему руки, растрапавшиеся девичьи волосы щекочут нос, волнующе пахнут духами.

Он отводит лицо в сторону, сilitся думать о постороннем. В рассеянности делает с девушкой на руках несколько лишних, по ее мнению, шагов.

— Отпускайте! Заснули, что ли? — сердится она, недовольная его стеснительным молчанием, холодной, неулыбчивой серьезностью, с какой он все делает.

Константин Сергеевич упрямо продолжает нести ее. Это забавляет молодую учительницу.

— Ну давайте, давайте... Может, до самой школы донесете? Неплохо, — подтрунивает она и припадает головой к его плечу.

Он останавливается и опускает ее на сухой бугорок.

— Мерси! — Алевтина Михайловна кокетливо приседает и щурит на учителя черные глаза. — Вы уж не бегите так, ладно?

— Попытаюсь, — обещает он и поворачивается к ней спиной.

Дальше дорога идет глухим ельником. Вокруг сумрачно, неприятно. Из чащи, где лежит матерый снег, тянет стылым холодом. А шагать легче: под хвойной навесью сохранилась зимняя тропа. Она обледенела, края подмыты ручьями и часто обламываются под ногами, брызжут грязью.

Константин Сергеевич уходит немного вперед, но чутко прислушивается к звукам за спиной.

«Вжиг, вжиг, вжиг», — раздается позади. Это шуршит при каждом взмахе руки плащ Алевтины Михайловны. Когда звук отдаляется, учитель приостанавливается и оглядывается.

Девушка спешит. Боясь оскользнуться на ледяной корке, ставит каблучки сапожек косо, на внутреннее ребро. В одной руке у нее чемоданчик, в другой — сдернутая с головы голубая газовая косынка.

Косынка развевается по воздуху. Ее свободный кончик вот-вот коснется грязи, но девушка делает взмах рукой, и он вспархивает вверх. Можно подумать, учительница забавляется косынкой.

Маленькая, на крепких ножках, с порозовевшим от ходьбы лицом и распустившимися волосами, Алевтина Михайловна больше походит на школьницу, чем на учительницу.

Константину Сергеевичу страстно хочется подхватить ее на руки, покружить и нести, нести, сколько сил хватит.

Приближаясь, девушка смотрит на него с улыбкой, ласковыми, благодарными глазами. А он смущается и опять уходит вперед.

Лес обрывается, упервшись в подножье высокого холма, на верху которого ладно уселась деревенька Лиходеево, дворов в пятнадцать-двадцать. Холм чист от снега, просушен и обласкан солнцем. Среди бурой, спутанной прошлогодней травы сверкают нежной, светлой зеленью иглы молодых побегов. Над травой порхают бабочки крапивницы.

Тропа поднимается к деревне широкая, утоптанная до твердости, и ступается по ней в охотку. С каждым шагом шире распахивается озеро, серо-стальное, в желтой оправе камышей.

Небо над озером голубое, в редких пухлых облаках. Они вылетают из-за горизонта резво, как дымки от выстреливших пушек, и бегут над озером весело, играючи. Бесшумно скользят за ними по льду темные пятна теней.

Деревню, с круглым прудом посередине, неплотно прикрытым сизым обмылком льда, с распахнутыми настежь для просушки банями — вчера была суббота, — с ныряющими в свои домики скворцами, учителя проходят торопливо, а за околицей, перед спуском с холма, останавливаются.

Константин Сергеевич снимает с головы кепку, вытирает платком лоб, kleenчатую полоску под козырьком кепки и тихо стоит с непокрытой головой, устремив прищуренные глаза вперед. Там, по низинам, темнеют хвойные леса, а по холмам, как белые занавески, светятся березовые рощи, окутанные сиреневой дымкой.

Алевтина Михайловна стоит рядом и украдкой наблюдает за лицом учителя.

Неулыбчивое, с резкими, угловатыми чертами, оно смягчается, нежнеет, в нем проступает умиленность и восхищение.

«Ага! Проняло!» — внутренне ликует учительница и вдруг бесстрашно устремляется вниз по крутыму склону в молодой березняк.

— Догоните, Константин Сергеевич! — не оборачиваясь, звонко кричит она.

Несколько мгновений он стоит не шелохнувшись и смотрит вслед: плащ на девушке пузырит, открыв короткое зелененькое платьице, косынка полощется вдалеко отброшенной руке, голова отчаянно заломлена, волосы развеиваются...

Константин Сергеевич оглядывается на деревню и припускает за учительницей. Сначала робкой трусцой. Потом, когда девушка исчезает в березняке, во весь дух, с гулко колотящимся сердцем. Быстро настигает и дотрагивается до плеча.

Алевтина Михайловна кидается в сторону, хватается за ствол юной березки и бессильно повисает на нем, прижимаясь щекой к нежной атласной бересте.

Константин Сергеевич кладет руки на теплые вздымающиеся плечи девушки.

— Вот и дognал! Теперь что делать будем?

Он хочет заглянуть ей в глаза.

— Ой, подождите! Я ногу подвернула! — вскрикивает она.

— Где? Какую? — пугается он, отдергивает руки и смотрит девушке на ноги. Она не отвечает. Стоит с закрытыми глазами, тяжело дышит.

— Да ну вас! Напугали как! — наконец открывает глаза и, не удостоив его взглядом, идет вперед, не прихрамывая.

«Разыграла!» — догадывается он, и ему становится нестерпимо досадно за неуместную доверчивость и несмелость. В душе она, конечно, смеется над ним. Ему уже не хочется догонять ее, и он плется сзади. А она тоже не торопится. Бредет редколесьем рядом с тропинкой, моет сапожки в каждой встречной ямке. Они выстланы мочалистой травой, и грязь с сапожек сходит быстро.

Тропа выбирается на чистую сухую опушку, и слева показывается озеро. Оно то открывается за пойменными заросля-

ми кустарника, то ярко сияет вольготными разливами в береговых сенокосных лугах. Кое-где по разливам видны человеческие фигуры. Они или крадутся по воде, высоко, по-журавлиному задирая ноги, или мертвко стоят на одном месте. Браконьеры. Охотятся за щукой. Иногда в отдалении слышны глухие выстрелы. Два резких, коротких в воду неожиданно рвут тишину совсем рядом.

По взметнувшимся дымкам видно, кто стрелял: этот человек бежит по воде, наклоняется, что-то вылавливает и кладет к себе в сумку у пояса.

— Вот гады! Совсем совесть потеряли! — Константин Сергеевич кидается к озеру.

— Стойте! Что вы делаете? Они вас пристрелят! — Алевтина Михайловна бросается за ним и успевает уцепиться за вещевой мешок.

— Забыли, как прошлый год по нашему председателю палили? Весь плащ дробью изрешетили! А сами в болото убежали, — растревоженно говорит она.

Константин Сергеевич удивленно смотрит на учительницу. Девушка краснеет.

— Чего доброго, опять школа без директора останется! — объясняет она свое волнение.

— А вам ведь такой не нравится! — замечает он.

— Ну так что? Все лучше, чем никого, — лукаво смеется она. — Между прочим, вы долго будете ходить врио?

— Пока рядовым учителем не сделают.

— Почему же?

— Надоело быть завхозом. Из-за дров зимой к урокам по ночам готовился... А весной половину делянки разворовали. — Ему хочется вызвать сочувствие к себе.

Возвратившись на тропу, они идут рядом, и Алевтина Михайловна, вероятно по забывчивости, продолжает держать руку на лямке его вещевого мешка. Он весь наливается счастьем.

— К себе домой, в город, вы машинку березовых не отправили? — неожиданно спрашивает она.

Он оскорбленно вскидывает голову и не отвечает.

— Ну и зря... До вас Васильков и Анна Павловна всегда так делали.

Константин Сергеевич дергается телом и норовит уйти.

— Не обижайтесь! Я пошутила! — Алевтина Михайловна удерживает его возле себя. — Сейчас подкрепляться будем. Вот наша береза...

Впереди, отбившись от леса, перешагнув тропу, стоит высокая береза. Ее ствол искривлен и напоминает вопросительный знак, ветки понурыми плетями свисают чуть не до самой земли.

Константин Сергеевич вспоминает, что действительно под этой бересой, на поваленном стволе другой, они перекусывали в прошлый весенний поход. Тогда Алевтина Михайловна угощала его копченой щукой и при этом шутила, что сама набрала коньерничала.

И теперь, присев на поваленный ствол, она спешит раскрыть чемоданчик и выкладывает на разостланную газету горку маслянистых пирожков, порезанную холодную телятину, вареные яйца. На лице девушки хлопотливая озабоченность.

Константин Сергеевич стоит рядом и тоскует. В мешке у него тоже есть кое-что из съестного — мать сунула, но ему стыдно и неловко доставать спрессованные бутерброды, сдавленные яйца.

— Садитесь, Константин Сергеевич... Кушайте, пожалуйста, — голос у Алевтины Михайловны мягкий, заботливый, просиящий. Ему не хочется ее обижать отказом.

Константин Сергеевич перебарывает неловкость, садится и берет пирожок, откусывает, начинка в нем еще теплая.

Алевтина Михайловна перекладывает на его сторону мясо, яйца.

— Все, все кушайте. Обратно в чемодан ничего не положу. Он не отказывается, ест с аппетитом.

— Ой, забыла! У меня и запить есть чем! — спохватывается она и достает бутылку лимонада. — Откройте, пожалуйста...

Он протягивает руку за бутылкой, глаза их встречаются. Во взгляде девушки столько нежности, что у него захватывает дух, и он быстро отводит глаза...

Остаток пути они проходят рядом, дружески беседуя о школьных делах.

Квартируют они в разных деревнях. Константину Сергеевичу первому сворачивать. Его деревня стоит на бугре, в километре от тропы. Стекла в домах пылают пожаром заката. Красны и закраины на озере. А само оно густо-сизое, мрачное.

— Вот вы и пришли... Почти что... — говорит Алевтина Михайловна и подает ему руку. — До свидания, Константин Сергеевич... До завтра... Спасибо за компанию.

На него она не смотрит, и он замечает, как напряженно дрожат ресницы, а за ними томятся и страдают девичьи глаза. Он держит ее руку в своей, и она не отнимает, медлит и чего-то ждет. Ему очень хочется проводить ее до дома, сказать на прощанье что-нибудь ласковое, значительное, но в голову ничего не приходит, и он первым опускает руку и поднимается к своей деревне.

Оборачивается, — она смотрит на него и машет рукой. Он отвечает ей. Едва сдерживается, чтобы не сбежать вниз и сно-

ва взять ее руку в свою, смотреть и смотреть в эти загадочные, манящие девичьи глаза. Константин Сергеевич шагает дальше и думает о том, что и прошлой весной, расставаясь с ней после похода вокруг озера, он переживал нечто похожее. А потом начались занятия, был педсовет, и она обвинила его, временно исполняющего обязанности директора школы, во многих школьных грехах. Он весь год ее избегал. Дважды в роно отказывался принимать директорство.

В деревню Константин Сергеевич входит в серых сумерках. Замечает возле домов белые груды неясных очертаний.

— Что? Неужели снег? — поражается он, но, подойдя к дому, смеется над собой: это дрова, березовые дрова. Мало приметные на снегу, теперь на земле они светятся снежными сугробами.

— Ну, в путь ли сходил? — встречает его вопросом хозяйка, одинокая пожилая женщина. Она знает, что ходил он в город на каникулы не отдыхать, а хлопотать материалы для скорого ремонта школы.

— В путь, Любовь Ивановна... В общем-то, в путь, — благодарный за заботу, он широко улыбается. — В путь...

— Молочка с дороги, холодненького, — хлопочет хозяйка и выбегает в сени.

Он залпом выпивает молоко, идет отдыхать. Засыпает сразу, и снится ему дорога, и лес, и Алевтина Михайловна. Она то убегает от него, и он никак не может ее догнать, то останавливается и начинает кричать на него.

Константин Сергеевич просыпается. В избе темно, на печке ровно и глубоко дышит хозяйка. В горнице невнятно бормочет увернутое радио... И это его радует: еще не так поздно.

Он вскакивает с кровати, охваченный страстным, непоборимым желанием видеть сейчас Алевтину Михайловну... Завтра на людях она будет с ним совсем другой...

Константин Сергеевич выходит на крыльцо, после зимы оно кажется непривычно высоким.

Луны на небе нет, звезд тоже. А ночь светлая-светлая, майская, белая... Весь воздух туманно искрится, словно сплошной Млечный Путь. Он спускается с крыльца и идет за деревню.

Алевтина Михайловна сидит за столом в голубом халатике и пишет планы на завтра. С дороги она тоже вздрогнула. Разбудил местный кавалер — Паша Чернов. Он устроился на табуретке у двери, поставив сапоги на разостланную газету. Весь день с зари до зари он пробыл на озере. Лицо его задиристо-курносое, с большим некрасивым ртом, калено-красное. Густые черные волосы примяты, свисают на уши — целый день не снимал шапки. Узкие глаза воспалены и слипаются. Держать

их раскрытыми для Паши превеликая трудность. Тем более в доме тишина, слышно только, как поскрывает перо у Алевтины Михайловны да шелестят страницы.

Глаза у Паши закатываются, голову, а потом и все тело ведет вправо. Парень едва не валится с табуретки, дергается и переступает ногами. С колена падает на пол шапка. Он подхватывает ее, снова кладет на колено и для верности прижимает рукой.

— Так, говорите, дорога хорошая нонче? Овраги нешибко текут? Пройти можно? — в который раз задает Паша одни и те же вопросы и, не дождавшись ответа, — Алевтина Михайловна только головой кивает — заключает: — Завтра, стало быть, я в город двину... Патронами надо разжиться...

Слышно, как кто-то поднимается на крыльцо и стучит.

Паша вскакивает и распахивает дверь в сени.

— Давай! Там не заперто...

Входит Константин Сергеевич.

Алевтина Михайловна медленно поднимается со стула и в изумлении смотрит на гостя, приподняв высоко брови. На душе девушки и радость, и смятение, и тревога.

— Что-нибудь случилось, Константин Сергеевич? — спрашивает она.

Тот медлит с ответом, косится на Пашу.

— В общем-то, случилось...

— Паша, ты иди... Нам с Константином Сергеевичем поговорить надо... О школьных делах... — просит парня учительница.

— Да и то сказать, поздновато... Мне завтра рано в город правиться... Прощайте! — Паша уходит.

— Я вас слушаю, Константин Сергеевич, — Алевтина Михайловна выходит из-за стола, рассматривает ногти на своих узких смуглых руках.

— Я лучше сяду, — неожиданно говорит он и резко опускается на табуретку.

— Да, да... садитесь, пожалуйста... Извините, я совсем забыла, — конфузится и краснеет она.

— Я буду сидеть, пока не прогоните, — с упрямством говорит он. — А потом опять приду... И буду ходить каждый вечер...

— Ну и приходите, пожалуйста... Я буду только рада, — смеется Алевтина Михайловна и прикладывает руки к лицу. — Какой вы смешной!

Она смотрит на него из-за руки сияющими глазами, и он тоже чувствует себя счастливым.

— Чай согреть? — спрашивает она.

— Обязательно, — отвечает он.



Алексей Акишин

## РУЖЬЕ, КОТОРОЕ НЕ СТРЕЛЯЕТ

Мой друг детства Василий Бочкин живет на Урале. Давным-давно от него не было ни слуху ни духу. Не писал, не звонил, а студеным декабрьским вечером нагрянул как снег на голову.

Встретив его у порога, я даже опешил: не стряслось ли чего?

— Решил родные места навестить, — пояснил он, улыбаясь в пышные, свисающие до подбородка усы. — А тебя разве обойдешь?..

Я с нескрываемой радостью помог Василию снять пальто, познакомил его с женой, детьми, а потом, ругая себя за то, что никогда не имею в запасе бутылки, побежал по соседям. Выручила одинокая старушка Александра Михайловна. Пожеманилась немного, но четвертинку дала.

— А мы ведь с тобой в первый раз вместе выпиваем, — с грустинкой сказал Василий.

— И в первый раз после окончания школы встречаемся, — кивнул я в ответ. — В первый — за девятнадцать лет.

Просидели далеко за полночь. Вспомнили всех наших деревенских ровесников, школьных друзей... Разговоров было!.. А когда стали ложиться спать, я спросил:

— А ружье твое где?

— А-а-а, — протянул Василий. — То самое, что ли? У меня. Куда ему деться.

— И на охоту ходишь?

— Оно... — замялся Василий, — оно не стреляет.

— Поломал, что ли?

— Да нет, — возразил он. — Исправное. Но с тех пор я его и не заряжал ни разу, не то чтобы выстрелить...

\* \* \*

Когда дед Василия Максим Бочков привез из города ружье, мы, деревенские пацаны, сразу же забыли про запруду, которой загораживали журчавший за деревней ручей, — всей ватагой бросились к дому Бочковых. Для нас оно было в диковинку. Ни я, ни Васька, ни другие мальчишки настоящего ружья еще не видали.

Мы столпились у порога, а пройти в избу боимся. Дед Максим был строгим. Он сидел на лавке и крутил в руках ружье, не обращая на нас никакого внимания.

— Хороша покупка? — громко спросил дед Максим, высоко взметнув головой.

— Ага, — за всех ответил Венька Пономарев, который был на голову выше нас всех да и старше года на три.

— Дедушка, — горделиво выступил вперед Васька Бочков, — дай мне подержать!..

Дед Максим рассмеялся, прищурился, а потом сердито проворчал:

— Ружье не игрушка. Оно стреляет. А потому убить может. Не дам.

Васька, почувствовавший было себя героем и счастливчиком, смущился и чуть не захныкал.

— Ладно, — неожиданно согласился дед. — Подходите.

И мы, обрадованные, наперегонки бросились к нему, с опаской стали дотрагиваться до ружейного ствола и приклада, а Венька даже на курок пробовал нажимать.

— Все, хватит! — скомандовал дед. — Марш на улицу! С радостным гиканьем и шумом выпорхнули мы из избы.

...А осенью, когда дед Максим почти каждый день ходил на охоту, все наши деревенские мальчишки, придя из школы, играли подле его дома, ждали, когда он вернется из лесу. Зверя и дичи в ту пору было много, и он обычно без добычи не приходил, но нам почему-то дичь не показывал.

— Кыш, мелюзга! — гаркал он с порога, когда мы следом за ним пытались прошмыгнуть в дом.

Мы послушно отступали, прячась за угол избы. И только Васька оставался внутри. Потом он выбегал на улицу и, воровато оглядываясь на дедовы окна, торопливо рассказывал:

— Дедушка зайца принес... И еще двух птиц. Одна такая большая, — он раскидывал руки во всю ширь, — черная. А другая — поменьше...

Прошла осень. Оттрешила морозами зима. В деревне собирались сеять, вывозили в поле навоз. И мы, вернувшись из школы, бросали сумки за порог и сломя голову бежали на конный двор. Всем, конечно, лошадей не доставалось. Поэтому ездили по очереди. В поле нагруженная навозом однооска шла тяжело, поскрипывала колесами, а обратно лошадь бежала налегке.

Про ружье мы тогда и забыли. Но однажды в воскресенье, когда около деревни все уже было посеяно и трактора гудели на самых дальних полях, ко мне прибежал Васька.

— Гляди! — Он зыркнул по сторонам и вытащил из кармана два патрона.

— Настоящие? — изумился я.

— Заряженные. — Васька еще раз обернулся. — На, поддержи!..

Я взял у него патроны. Они были тяжелые, блестящие, закупоренные газетной бумагой.

— Пойдем на охоту, — шепнул он, забирая патроны обратно.

— А дед Максим?

— Он не узнает, — фыркнул Васька. — Эти патроны я еще зимой стибрил. Ружье у него в клети спрятано. А дедушки целый день не будет. Пошли!

Было боязно, но все же мы решились. Крадучись выбрались из ограды, осмотрелись вокруг и припустили что есть духу между недавно вспаханными грядками. За огородами, у ручья, отдышились и логом направились к лесу.

— На-ко, поддержи — какое тяжелое!.. — предложил мне Васька. — Только не урони, а то дедушка и тебя, и меня выпорет.

За деревней рос редкий, длинноствольный березняк. Сквозь него хорошо было видно метров на двести. Но ни

птиц, ни зверей что-то не наблюдалось. Только мелкие пижужки перелетали с ветки на ветку, тонко голося над нашими головами.

— Пойдем домой! — предложил я, боясь, что вдруг дед Максим уже приехал домой и обнаружил пропажу.

— Нет! — решительно ответил Васька. — Давай хоть разу пальнем. Все равно эти патроны теперь уже мои.

— Давай, — робко кивнул я в ответ.

— Т-с-с... — зашипел Васька и, переменившись в лице, начал приседать.

Ничего не понимая, я тоже опустился на корточки.

— За-яц, — прошептал Васька. — Смотри, за березой сидит.

Я всматривался туда, куда указывал Васька, но никого не видел. А он уже копошился с ружьем, дрожа от волнения, и взводил курок.

— Не убежал? — чуть слышно спросил Васька.

Я хмыкнул ему в ответ и пожал плечами.

Он приподнял голову, больно ткнув мне в бок своим локтем и прильнул к ружью.

Сжавшись в комок, я приник к земле. Стало страшно: вдруг ружье разорвется, или патрон Ваське в лоб вылетит!.. Дед Максим рассказывал нам зимой, что с ружьем и такое бывает.

Васька выстрелил. В ушах у меня зазвенело. Когда я открыл глаза, впереди стояла сизая пелена.

Отбросив ружье в сторону и не глядя на меня, Васька бросился в это дымное облако.

— Попал! Попал! — визгливо заорал он.

Я вскочил и не чуя ног кинулся к нему. Васька стоял у небольшой кочки, густо поросшей черничником.

— Смотри! — кивнул он. — Живой еще.

Под ногами у него лежал заяц. На мордочке темнела кровь, падая багровыми капельками на прошлогодние, еще не перевернутые и не укрытые травой листья.

Заяц лежал неподвижно. Только живот у него ходил волнами, то поднимаясь, то опускаясь.

Мы долгоостояли молча. Потом Васька боязливо взял зайца за длинные задние лапы и подтянул к себе. Он дотронулся до шерсти, ходящей ходуном, и испуганно посмотрел на меня.

— Ты чего? — оробел и я, глядя на переменившееся лицо друга.

— Там... там... — заикаясь, выдохнул Васька, — там — зайчатки!

Я осторожно присел рядом и тоже провел ладонью по шевелящемуся животу зайчихи. Под рукою перекатывались клубочки.

— У-умирают... — прошептал Васька. — Жалко.

Забыв про ружье, про деда Максима, мы долгоостояли около зайчихи. Когда ее живот перестал вздыхаться, Васька толкнул меня плечом.

— Пошли домой.

Захоронив зайчиху под корнями развесистой березы, мы понуро направились в деревню. Шли молча. На краю леса Васька остановился.

— Подержи-ка, — подал он мне ружье.

Он отошел в сторону, вытащил из кармана патрон, подбросил его несколько раз на ладони и со всего размаха швырнул в уходящую к деревне лощину.

...Когда мы заканчивали десятилетку, дед Максим занемог. Его увезли в больницу, но поднять на ноги не сумели. Еще недели три он полежал дома и умер.

Перед самой смертью дед позвал к себе Ваську и, еле шевеля губами, проговорил:

— Ружье хорошее, без осечки бьет. В клети оно, за ларем. Бери себе...

\* \* \*

— Ни разу с тех пор и не выстрелил? — удивленно переспросил я.

— Нет! — твердо ответил Василий. — Просили продать — не продаю. Зачем?.. Оно свое отстреляло... Да и деда Максима память.

Василий лег на диване, запахнулся одеялом. Я уже хотел щелкнуть выключателем, но тут в ноги к нему вспрыгнула кошка. Она сложила лапки под себя и замурлыкала. Ее серые пушистые бока чуть заметно колыхались. Я завороженно смотрел на нее, а откуда-то издалека до меня доносилось: «Там... там — зайчатки!»

Не знаю, о чем подумалось в этот миг Василию, но он долго и печально смотрел на свою гостью, потом приподнялся и погладил ее.

Я выключил свет. В доме стало темно и тихо.



Константин Абатуров

## ЗОЛОТОЙ ПОЧИНОК

Все переменчиво.

Не думал — не гадал, что окажусь в казенном доме. Точнее — в больнице, еще точнее — у кардиологов. Почти месяц вылежал там со своим инфарктом. А потом — деревня. Для болящего сердца в самый раз. Чистый воздух, первозданная природа. С врачом не спориши, его совет как приказ.

Куда ехать? Бог ты мой, ну конечно же, в Золотой Почекинок, откуда родом и сам Семен Семеныч, то есть доктор. Одно название чего стоит! Невелика, правда, деревенька, зато зеленая. За полями синь хвойного леса с белыми прочеками берез. Ниже, к речке — густо разросшийся рябинник. У речки Почекинок и разместился. Чистая ключевая вода приманила? Может, и так. А может, солнышко зазвало, ведь на его пригреве и расставлены бревенчатые избы.

Впрочем, точного ответа на это врач не дал. Зато с определенностью говорил о богатстве здешних лесных уроцищ. Прежде всего про грибы. Уверял: почекиновский груздь вне конкуренции — этакий красавец в широкой, цвета слоновой

кости шляпке, на короткой, но стойкой ножке. Растут грузди кругами, как в хороводе. Набредешь на одного, выглянувшего из-под теплой, по-брежному перебродившей прели, ищи — увидишь и другие, полни свой кузовок.

— Туда пойдешь, — вдохновенно говорил Семен Семеныч, прямясь своей сутуловатой сухопарой фигурой, — в царство лесное попадешь. Да, да, дорогой! Только не забудь взять прличествующую обстановку амуницию. Груздевой-то лес за болотными хлябями. Дождливая весна так залила подходы, что — держись!

А вот карандаши и бумагу велел оставить дома. Это — потом.

Как же после такого напутствия сомневаться в чем-то и не ехать? Поехал с расчетом на все лето. Дышать так дышать!

Поселился у бабки Петровны. В немалых годах она была, а шустрая, проворная.

Петровна жила одна. Дед погиб лет десять назад при достройке дома — сорвался с крыши в день последнего гвоздя. Выросших детей нелегкая судьба разбросала в разные стороны, и жили они своими семьями.

Искусен был дедок, дом построил с высоковырубленными светлыми окнами, двумя крыльцами — в любое входи и выходи, с просторной тесовой горенкой-боковушкой, в которой стояли круглый дощатый стол (тоже, видимо, дедовой работы) и пустующие кровати.

— Выбирай любую, твое тут все, — услужливо предложила мне Петровна. — Да почаше открывай окошко, в палисаднике вон какая вольгота...

«Вольгота» — это полыхающие веселыми огоньками мальвы, гвоздички, ноготки со своими шелковыми лепестками и какие-то другие цветы, не такие уж пышные, а все же... У стены кучились неприхотливые кустики чистотела, поодаль пестрели ромашки, раскачивались голубые фонарики цикория — такое вот собрание скромной красоты. Воздух полнился сладчайшим медовым духом, неустанным жужжанием пчел, восторженными птичьими голосами. Все это, видно, и бодрило, согревало душу бабки, оставшейся в одиночестве. Да и мне дышалось тут легко.

По прошествии нескольких дней я отложил в сторону различные лечебные снадобья, таблетки. Ходил по деревне. Меня звал к себе каждый дом. Но так мало было строений на этой зеленой улице! Бросались в глаза опустевшие дворины. На спуске к речке два дома, совсем еще недавней постройки, стояли с заколоченными окнами. Петровна сказала, что это дачные, что хозяева еще не приехали.

Но тут же и оговорила меня: зачем ходить да разными расспросами забивать голову, раз приехал отдыхать?

Но разве усидишь на месте? Вон и речка влечет к себе. Быстрая, говорливая, с бочагами под обрывистыми берегами. При солнышке на песчаных перекатах все дно в красно-желтом свечении. Любо глядеть.

Как-то тут застал меня меднобородый, небольшого роста мужчина, приковылявший на костылях.

— Вижу — приезжий, — здороваясь, сказал он. — Своим-то речка примелькалась. А красива, верно? Дно — чистое золото, ага?

— Похоже, — подтвердил я.

— Вот-вот, золотое... Копали когда-то, промывали донный песок, искали. Но, — он повышдал немного. — Увы! Никакого золота. Просто вымывало крупицы охры. Световой эффект. Однако Починок стали называть Золотым. И то награда...

Мне было жалко, что так неожиданно прозаично закончил он рассказ, хотя я особо и не ожидал какого-то чуда.

— Вы пройдите подальше, вон туда, — нацелился незнакомец костылем, где речка делала крутой изворот, — там серебро увидите, Иваново серебро... — Тут он нахмурился, закашлял и повернулся назад.

А я пошел, куда он указал.

И вот передо мной — широкая низина, вся в белом кипении. Это бушевал разросшийся ... лабазник. Густые соцветия, похожие на пену, издавали резкий, дурманящий запах. Местами виделись борозды. Ясно, когда-то низину пахали, засевали. Разрезала ее заплывшая илом канава. Наверное, бывший главный водоотвод. Такое вот «серебро»!..

Ах, рыжебородый, как ты мрачно подшутил.

Вернувшись под бабкину крышу, я рассказал, где был, что увидел. Побледнела, сухонькие губы задрожали. И вопрос: кто указал низину? Услышав мой ответ, проговорила огорченно:

— Чую, чую, Никита Хмурной. Этот уколов, так уколов. А дружил, долго дружил с Иваном. Одногодки они. Да не поладили, и дружба врозь. Иван уехал... Ох, поплакала я, поревела. Сынок, родной же...

— Сынок?

— А я нешто не сказывала тебе по первости? Неуж забыла? Старший, большак. Гордилась им. Тракторист и комбайнер первейший. Сколько премий да «спасиб» получал. Лавреатом был. Да, милый, да. Это он распахал низину, целое поле образовалось. Иваново поле! Хлебное! — умилилась она. — Землица-то у нас всегда в цене была, потому как не хватало

ее — лес, видишь, кругом. Так вот и начал. И дальше было небось пошло в лад, кабы не накатилась беда. Ох, беда!

Она закачала седой головой, воспоминания взволновали ее.

— Ведь как началась кутерьма, эта ломка деревни, и все — в пропасть, в яму. Новое поле? Да уж до него ли, коль и старые, обжитые не стали засеваться. Заграница-де прокормит. «Новая ера». Господи, зачем разрушили колхоз, кому это нужно? Тракторы подносились, надо бы новые покупать, как раньше делалось. Где там — касса опустела, не на что. Подумать — голова кругом, да. Иван до последнего дыхания своего старенького колесника работал, но когда попросил дать хоть какую ни то замену, председатель ТООта со смехом ответил, что тогда сам впряженный, ты здоров... Ну и взорвался сын, в одночасье собрался и уехал из деревни. Бесовщина припужала и других. Тут, скажу, и горе, и стыд наш...

Долго изливала Петровна встревоженную душу. Но на этом разговор не кончился. После он вновь и вновь возник. Передо мной раскрывались страницы истории деревни. Вот когда я вспомнил о бумаге и карандашах. Да простит меня строгий доктор — я начал записывать.

А бабка? Она, наверное, и не думала, что станет рассказчицей. Нежданно-негаданно.

Больше всего тревожило ее разорение животноводческой фермы, на которой работала — до седых волос. Как-то целый вечер подсчитывала, сколько приняла отелов и вырастила телят. Насчитала восемь сот с лишком. И сама удивилась — столько одна-то...

— А теперь, — подсказывала мне Петровна, когда я брался за перо, — и ферма под откос. Новый голова из этих «емократов» одно твердит: не выгодно держать скотину. И сбывает буренок. А мы-то старались, наживали. Да как это не выгодно? Корма свои, непокупные. Раньше хватало их для всех стад, да. Дожили, господи...

Ничто не могло успокоить ее, все принимала близко к сердцу. Когда ни заходил к ней, всегда она была в тревожной задумчивости. Увидит меня и сразу:

— Вот еще вспомнила. Послушай, запиши.

Как-то заговорила о военных годах. Почти все починковские мужики были на фронте, в деревне остались одни бабы да мальчишня. И тащили бедные весь тяжелый воз. Недоедали, недосыпали, а тащили, не давали хозяйству рухнуть.

— Колхоз тогда устоял, запашки, да, считай, раздались вширь, — вспоминала она. — Кроме кормилицы ржицы, засевали целое поле льном. И все волокно в Кострому на фабрики возили. Там палатки из него ткали. Для наших же солдатиков. Уж так они сердешные были рады. Спасали палат-

ки-то в самые лютые морозы. Было, было. А теперь — тьфу. Фабрики позакрывали, лен уж и не востребывают.

Спрашивала, что в других местах делается. «Неуж же та-  
кое баламутство? Что ведь стало — бежит люд из деревни, куда  
глаза глядят. А везде свои безработные, не знают, как выжить.  
Это же разор, — печалилась Петровна. — А без мужика, еже-  
ли не удержать его, не пособить ему, земле каюк, без хлеба  
останемся. Привозной ить не спасет. Дорогой, разорит подчи-  
стую. — Качала головой. — Правители-то что думают?»

Говоря, она заглядывала на мою писанину и все напоми-  
нала: ты спрашивай, спрашивай, а я все обскажу. Но записи  
были невеселые, иногда опускались руки. Старая в таких слу-  
чаях гнала меня на улицу, в лес.

— Прогуляйся. Грибки в заболотье пошли, первые груз-  
дочки. Походи с корзинкой, обувка у тебя справная.

Обувка — это длинные сапоги, по-магазинному —  
комбинированные: снизу до колен — резина, дальше брезент  
чуть не до самого пояса. Словом, непромокаемые.

Но долго отвлекаться от работы бабка не давала. Снова  
усаживала за стол. Что касается моей «спецодежды», то она не  
оставалась без применения, ибо грибная пора вступала в свои  
права.

Только тут я узнал, что такое эта пора в лесной деревне,  
что она несет ей, как изменяет, если можно так выразиться,  
физиономию, лад. Смотрите сами.

Раннее утро. Над землей висят завитки тумана. Свежо.  
Тихо. За речкой, в восточной стороне, еще по-ночному сум-  
рачно, небо в неподвижной, зачерневшей с вечера кисее обла-  
ков. С высоты сорвалась запоздалая звездочка и мгновенно  
погасла — видно, догадалась: не вовремя выскоцила. Звездо-  
пад бывает же ночью.

Но вот где-то скрипнула калитка. Одна, может, даже нев-  
значай, как и эта звездочка? Нет, еще и еще. Как по сигналу.  
Затем тихие вкрадчивые голоса. Шорох шагов по росной траве.  
Сторожкий шорох. Но, прислушавшись, ты без ошибки опре-  
делишь, кто и куда, в какую сторону пошел — тишина в По-  
чинке не обманчивая.

Проходит несколько минут. На закраек заречного неба  
наплывает дрожащая желтоватая полоска, на виду она ширится,  
светлеет, теснит облака, и вот уже небо заалело. Занимается  
заря. Вдруг доносится торжествующее восклицание:

— Солнышко!

Теперь не только грибники — вся деревня всколыхнулась,  
оживилась. Начался новый день!

С началом грибной поры Починок заметно полюднел.  
Стали наезжать городские грибники, иные с ночлегом. Петров-

на принимала любого, кто стучал в калитку, одних вела на  
поветь, на сено, других в избу и в мою боковушку. Ничего не  
поделаешь, приходилось тесниться.

Не все приезжие были обуты по-грибному, не знали о после-  
дствиях бурного водополья, поэтому моя амуниция была на-  
расхват.

Приедет из райцентра бабкин зять, полнотелый детина, в  
новеньком костюме (любил одеваться с форсом) и тоже спра-  
шивавший: где непромокаемые? В них, пока я торчу за столом, идет  
он в заболотье на грудевые места.

Появится младший бабкин сын, быстрый на ногу, и тот-  
час к вешалке. Пошуривав, снимает мою широкую куртку с  
множеством карманов, в которые можно положить не только  
курево, но и еду — бутылку молока, краюху хлеба, — ходи по  
лесу хоть целый день, голодным не останешься.

Исправно служила грибная амуниция. Сапоги, правда,  
проходили, пришлось нести в починку к горбатенькому все-  
умельцу дяде Васе. Починил, заклеил дыры, — и опять пошли  
с ног на ноги. Образовалась даже очередь на них, причем мне,  
как человеку, занятому сидячей работой, позже всех.

Изредка заходил к нам «хмурой» на своих костылях. Сядет  
на дощатый диван — работы все того же деда, — с позволения  
бабки закурит, прокашляется и начнет спрашивать о ее сыне  
Иване, собирается ли тот в деревню. Петровна медлит с ответ-  
том, видимо, наперед знает, о чем заведет Никита разговор. Он  
напоминает, а она сердится:

— Да что ты все об одном и том же? Писала ему, но безот-  
ветно. Может, письма не доходят. Он и квартиры своей не  
имеет...

— Вот я и говорю — возвращался бы. Так нет. Видно,  
трусит. Или баба не отпускает. Она у него...

— Да перестань ты, Никиша! Что мелешь? — взрываются  
бабка.

— А вот и что, — не уступает тот. — Кто первый уехал?  
Он, Иван. Трудяга из трудяг, авторитет. В общем, вышло —  
сам снялся и другим дорожку показал. Ишь, рассердился. Ладно  
бы на этих «новых»... А вышло, палка вдарила, как в книжке,  
одним концом по барину, другим по мужику, по нам, оста-  
вшимся. Почему об этом он не подумал? Ведь человек без глуп-  
ости, знаю его. Уехал, а надо бы... Да что об этом говорить...

— Тогда и помолчи. Думаешь, приятно матери слышать  
такое?

— Слышать, слышать... — Никита дернулся на диване,  
выкинул вперед потревоженную култыху. — Кем был Иван?  
Передовиком. А это как знамя, как часовой на посту. Значит,  
должен стоять до конца, место жительства своего оберегая...

— Легко ругать. Ты сам-то...

— Что сам? — не дал ей договорить Никита. — Я на своем посту выстоял, ногу потерял, а не оставил часы.

Он нервничал, снова закурил сигарету, но тут же притушил ее и, взял костили, затопал к выходу.

Мы с бабкой долго молчали, стараясь не глядеть друг на друга. Сковывало чувство неловкости за такое окончание разговора.

— Обидела я его. — Встала Петровна и тоже вышла, я остался один.

Ни строчки в этот день у меня не написалось...

Утром Петровна постучала ко мне. Вошла, как никогда, тихо. Взгляд опечаленный. Всегда она входила без стука, как хозяйка, а тут... Что с ней?

— Всю ночь не спала, — сказала, присаживаясь к столу, за которым я сидел, разложив записи. — Взбаламутил, негодный. По-другому-то не мог, что ли, сказать про Ивана? Нет, все направки, все в лоб, чтобы побольнее.

— Он военный. Пострадал. Калека. Таким не до «сладких слов», — заступился я за Никиту.

— Может, и так. В развалинном колхозе, знамо, и ему не легко. Тоже за все переживает. Малость и помогает бригаде. На всю деревню корзинки плетет, косы точит и кое-что починает. За это, конечно, спасибо.

— Вот видите, нашел дело.

— Нашел. По силам помогает, — согласилась бабка, смягчая голос. — Он и раньше был нележебока, ненаживист. Его бы поставить главным в бригаде, — неожиданно предложила она. — Да если и сынка возвернуть...

Поглядела на мои бумаги и на меня. Спросила, сильно ли я занят, не могу ли оторваться от записок?

— Ради бога...

— Так вот просить пришла тебя — напиши, будь добр, Ванюшке. Сама пробовала — руки дрожат. Да подносившиеся глаза отказывают. Поспособствуй, а? Прямо и напиши: приезжай, деревня ждет. Да и я, старая, что без тебя? Рука надобна. Ну как как?

Я пододвинул к себе листок бумаги.

— А вот, — встрепенулась она, — с того и начни, что обсказала. Выручать деревню надо. Господи, — вздохнула Петровна, — жили, никому не мешали. Тихо, спокойно. А эти бесы как с цепи сорвались и давай все крушить. Кто за деревню заступится, как не мы сами? Не забудь про Никиту написать: он особливо ждет, вдвоем могли бы и других поднять. Пиши, все, мол, добра тебе желают, сердца на тебя не держат, снимайся оттуда скорее.

— А где он работает?

— Хорошо не знаю. Женушка будто бы на какие-то перевозки устроила. А на какие, у кого? — Она пожала худыми плечами. — Поменял воронка на сосунка... Пристыди, усовести его. Только закончи поласковее, что мать в ожидании ответа, — ждет не дождется взглянуть в милые сыновья очи. Вот так бы...

Письмо я сам отнес на почту в придорожное залесное село. Вручили лично почтарке, женщине лет тридцати. Она при мне и проштемпелевала его, подержала с минуту, разглядывая почерк на конверте, потом перевела взгляд на меня.

— Вы писали?

— Да, под диктовку Петровны.

— Наверно, опять зовет Ивана?

— Зовет. А вы разве знаете его?

— Я?.. — Она почему-то помедлила с ответом. — Про него писали в районной газете. Про Иваново поле. Да, да... «Урожай на болоте», «Иванов лен», «Шире шаг, новая земля!» А потом слышим: Ивана нет и поле заросло сорняками, вышло из обихода. Кто тут виноват — не знаю... Зря, наверно, мать зовет сына. Да и куда? Бывала я в Починке. Теперь деревня на ладан дышит, как и здешнее село. Никто не помогает...

Узнав, что я впервые в Починке, что все тут для меня внове, она вскинула голову с густыми, зачесанными на бочок светлыми волосами и улыбнулась.

— Ох, красив был Починок, многолюден! Туда мы в девичестве гулять ходили. На речке на золотой хороводили. Но речка — ладно... Ребята какие там были! Трактористы, комбайнеры. Бравые, ох! Ванечку-то я вот как знала! Она зажмурилась; должно быть, вспомнила что-то личное, дорогое. — Высокий, видный. Чернобровое лицо строгое и вместе доброе, такое, что не забудешь. Извините, с разговорами... Петровне передайте — письмо завтра утром будет в райцентре. До свидания!

... Дома ждала меня бабка.

— Отнес, застал почтарку, передал письмо?

— Да. Привет вам.

— Спасибо. Она ничего, хорошая деваха. Про Ивана чего говорила?

— Жалеет его.

Вздохнула. Узловатыми пальцами нашупала концы платка, то натягивая их, то отпуская. И с неожиданной доверчивостью ко мне:

— Так и быть, поведаю. Если бы не та, городская, которая наезжала в деревню и которую Никита упомянул... если бы не она, то, может, с Ленушкой бы расписался Иван, с почтар-

кой. Какая была пара! Ах нет, городская улостила, да. И запрягla. Как уж он поддался, такой самостоятельный, господи? Ленушка переживает, забыть не может его, замуж так и не решилась выходить.

Постучала сухим кулачком по столу.

— Ругаю, так ругаю Иванка, проглядел счастье. Ленушка здоровая, хорошая. Народила бы мне внучат. А эта... эта не хочет детей. Вот не с кем старухе и понянчиться...

Поднялась. Потопталаась немного у стола и засеменила к выходу.

— А ты, голуба, пиши, пиши, — наказала мне.

... Наступил август. После красных дней заладили нудные дожди. Несколько дней я никуда не вылезал из потемневшей боковушки. Петровна выходила на улицу то кур накормить, то подоить козу, которую бабка называла кормилицей. Хотя какая уж она была кормилица, только толстела, а молока давала нам по самой низкой норме — стакан на душу.

К слову сказать, консервы, которые я привез с собой, а потом привозила жена, кончились. Пришлось переходить на картошку и капусту с грядки. Вегетарианцы поневоле!

Несмотря на непогоду, в деревню по-прежнему приезжали грибники из города. Однажды наведался ненадолго мой строгий добрый врач Семен Семеныч. Вот когда я узнал, что один из необжитых дачных домов был его новоприобретенной собственностью.

За летние месяцы доктор вроде бы еще больше похудел, высох. Отдышавшись, открыл старомодный саквояжик и достал эbonитовый стетоскоп.

— Ну-к, снимем рубашку, подышим.

Долго он прослушивал и простикувал меня. Глуховато покашливал. Что-то, видно, не нравилось в моем моторе.

— Ну что я говорил? Ожил ведь, ожил. Здешний воздух кого не враucht.

Но тут же покосился на стол, заваленный записями, и сказал:

— А записочки все-таки лучше в сторонку. Все-таки... За груздочками, конечно, можно. Это продолжайте... Я и сам денька два похожу. Хотел бы дальше походить, но дела, дела больничные. Знаете, врачей все меньше — сокращают, а больных все больше — прибывают. А-аа...

«Меньше — больше...» И это я записал, когда ушел доктор.

Он действительно пробыл в деревне недолго. А надо бы задержаться. По веской причине.

Нежданно-негаданно в Починок нагрянули бойкие бородатые молодцы с измерительными инструментами. Походив по деревне, оглядев дома и приусадебные участки, они направились на ближайшие поля.

Ко мне вошла запыхавшаяся Петровна, а вслед за ней приковылял Никита.

— Видел — нет? — наперебой выкрикивали они. — Новые хозяева объявились, хотят скупить, отобрать нашу землю. Всю, подчистую. Заплатят, слышь. А мы куда? Помогай!

— Ивану телеграмму, — попросила бабка. — Письмо опять, видно, не дошло. Телеграмма надежнее.

— В первую очередь — в район, главному начальству. С протестом! — требовал Никита. Его трясло, как в лихорадке. Размахивал костищами, в мозолях руками. — Чужую землю, видишь ли, посылают защищать черт знает куда, а свою, родную... Пиши!

Сначала все-таки — к непрошеным покупщикам. Меня они встретили с игривыми усмешечками.

— Еще «протестант»? Ну-ка, ну...

Напрашаются на скандал. Нет, повода не будет. Только два слова:

— Селян спросили?

— Председатель дал добро. Земля здесь все равно пропадает. Целые поля. Даже какое-то «серебряное». Сейчас осмотрим и его.

Намек, конечно, на «Иваново поле».

Закуривают, щелкают зажигалками. Предлагают и мне. Справляются, кто я.

— А, гость? — подхватывают ответ. — Извините, вам как гостю, возможно, милее пустыри?..

— Мне милее, когда помогут обиженным мужикам распахать пустыри, получить семена, вернуть растищенное господами «реформаторами».

— А не кажется вам, многоуважаемый, что это фантазия, что вы перепутали времена?

Теперь уже не усмешка. Теперь в голосах жесткий металлический звук. Правы Петровна и Никита — разговор с такими не поможет. Надо действовать.

Телеграммы написали и послали. Опять с помощью милой Ленушки, которая тоже была встревожена худой вестью.

Через несколько дней из районного управления приехал представитель, очень усталый на вид человек. Его окружили мужики и бабы — все, кто оставался в деревне. Шум, гам, слезы. Затем выжидательная тишина.

— Разберемся, — пообещал, не поднимая головы, представитель. И уехал.

Но покупщики продолжали измерять и оценивать своим «новохозяйским глазом» починковскую землю. Рazoхотились. Сходили даже за грибами, за «золотыми груздочками». Новым надо все осмотреть, все пощупать собственными руками...

Потом перекочевали в село к председателю ТОО, у которого — стало известно — засиделись до потемок...

И как в воду. Ни слуху ни духу о них. Одни починковцы говорили, что больше чужаки не приложают — нечего им делать, другие уверяли, что вернутся, умаслят кого надо. К посевной и приедут. А пока не будут нервировать людей.

Так ли? Определенно деревня все же не знала. Одни предположения.

А время шло. Уже доносилось похолодавшее дыхание приближавшейся осени. Изжелтилась листва берез, метельно устилая остывающую землю. Вокруг все полнилось новыми звуками.

Вот уже высокое синее небо прочертил с прощальным курлыканьем первый журавлиный клин. На пугах собирались в громкоголосые стаи скворцы и дрозды. Как только снимут с обремененных рябин увесистые яркие монисты ягод, и они пустятся в дорогу.

Долго вихрил ветер в дальнем поле «забытый» овес. Но наконец-то и оттуда донеслись голоса и рокот мотора. Это выехал комбайн, последний, как опознала Петровна, на котором несколько лет назад работал ее сын. Заволновалась старая. Сумеет ли неизвестный комбайнер без Ивана убрать последнюю ярь? Гуди, гуди, машина, хоть в одиночестве порадуй крестьянскую душу!

Над заречьем покружила невесть откуда взявшийся вертолет. Наверное, это был знак приветствия водителю комбайна, которого, может, только здесь и увидел пилот.

Выходил я, глядел на просторное звонкое небо. За моей спиной неслышно появлялась Петровна. Постоит, вздохнет:

— Скоро, стало, одна останусь. Привыкла я к тебе.

Я переступал с ноги на ногу, не зная, что ответить ей, бедной.

— Так хоть пиши, не забывай. Иванко так и не ответил.

Ни на письмо, ни на телеграмму, да...

Заходил ко мне и Никита, просил, чтобы я выслушал его, как видно, напоследок. А речь опять шла об Иване, о судьбе, которую он связывал с судьбой деревни. Узнав, что от Ивана по-прежнему никаких вестей, он хмурился:

— Плохо. Думаю, вспоминаю стишок из детства про одну «блаженную страну», которая скрывалась «за далью непогоды», где солнце круглый год, море, пальмы, невиданные животные и звери. Заглядение! Не то что у нас, в исхлестанной дождями деревне. И возмечталось тогда по-детски: подрасту и пущусь в поиски «блаженной страны». Смешно?

— Продолжайте, — попросил я.

— Да, за лесами, за морями виделась мне другая жизнь. А когда попал под чужое солнце, затосковал по своей деревеньке,

роднее ее ничего не стало для меня. Ночами снился и слышался спокойный шум починковского бора. Снились говорливая золотая речка, высокое небо над деревней, теплые ливни. И так уж радостно было сердце, когда вспоминались починковские зарницы, зорившие наши хлеба... Вот я по-своему и думаю: особенные, «блаженные» страны — придумка. Счастье ищи на месте, на готовое не заряся. Так — нет?

— Но к чему все это теперь говоришь?

— Да к тому, что жалею Ивана... На стороне не найдет благодей. Прошу: поедешь домой, в город, загляни там к нему, разыщи его, потолкуй. Ведь он умный человек, умный, хотя и дуралей в поступках.

— Вы еще называли его трусом, — напомнил я.

— Ну называл, не отрицаю. Но сейчас другое дело. Сейчас угроза-то особенная. Покупщики на меже... Понял? Вот и прощай... покамест.

Мне осталось сделать последние записи.

А через три дня — рюкзак за плечи и в дорогу. Автобусная остановка была в двух километрах от Починка. Рюкзак все же тянул плечи: уносил я трехлитровую банку груздей бабкиной засолки и пару мотков сущеных коровок. Грибов моего сбора, конечно, мало, но бабка понемногу откладывала мне. В лесной деревне порядок — за добро добром платят.

Автобуса пришлось ждать долго. Но когда он подошел и, забрав нас, пассажиров, поехал, я увидел в окно торопливую старую женщину. Она размахивала какой-то бумажкой и головным платком. И бумажка, и платок белыми ласточками взвивались над ее головой. Все мы, кто был в автобусе, закричали шоферу, прося остановиться.

И шофер затормозил машину, открыл дверцу. Знаете, кто нас догонял? Петровна. Да, да, она! От усталости у нее подгибались ноги.

— Получила! Только сейчас Ленушка принесла. Откликнулся сынок. Вот, вот и ответил, — сообщала она и махала телеграммой. — Приедет! Приедет! Спасибо!

Кому она говорила спасибо — сыну, или шоферу, что остановился, или всем нам, пассажирам, что заметили ее, может, всему свету?..

А вот это уже определенно мне:

— Я письмо пришлю. Все обскажу. Жди!

Временные жильцы уехали. А за окном еще слышался радостный голос Петровны.

Неужели обманется она в радости и надежде? Неужели опять, как много раз бывало... Разве эта земля перестанет быть местом жительства?

**Олег Хомяков**

## **МОЙ ВЗГЛЯД НА АСТАФЬЕВА**

Олег Хомяков — из племени книжников. Это, пожалуй, самое точное определение нашего автора. В свое время он после окончания сценарного факультета института кинематографии попал на Свердловскую киностудию. Его задачей был поиск подходящих для инсценировок книг писателей Уральского региона. Так он «наткнулся» на Виктора Астафьева. Деловое знакомство вскоре переросло в дружбу. Недавно Хомяков закончил о писателе повесть «Сибирский бриллиант», фрагмент из которой публикуется здесь.

По итогам года автору повести присуждена премия еженедельника «Литературная Россия».

### **1. ГОСУДАРСТВЕННИК**

Когда в 90-х годах кончится для Астафьева благодеяние вселюбви, в чем только не обвинят писателя — пользуясь человеческими его слабостями (у кого их нет)! Сказал или скандал где-то: «Детдомовщина во мне сидит» — и забыта «Кражा» с ее светом во тьме, и прилепали к имени порчу («Завтра» № 87). И то же, слепо-дикарское, выискали в астафьевской памяти о коллектivизации. Мол, потому зоологическая в нем неприязнь коммунизма, что у деда мельнице отобрали на Мане, притоке Енисея. И этакие увещевания фамильярные: «Ну что уж ты так-то, Витя? Ну мало ли?.. Ну «пострадал старик, пострадал», да ведь миллионов судьба, а ты за деда всю теперь социалистическую Родину обливаешь грязью!..»

Чепуха это. Я никакой не биограф Астафьева и больше скажу: подозреваю, что он — в разговорах, в письмах — учтивал врожденный мой романтизм, видел и книжника во мне, и «юношу бледного».

«И все же, все же...» Дело мое, коль взялся сказать о дорогом сердцу современному свое слово, в том, чтобы — свидетельствовать. По возможности честно. (При этом говорю только о возможностях памяти, а не о каких-то путах или шорах, которых теперь нет. Включая неудовольствие портретируемого лица: В.П. суров на оценки подобных писаний и, увы, как показывает жизнь, не всегда к ним справедлив...)

Бот и говорю, удостоверяю.

Никогда Виктор Петрович не обращался к драме деда-мельника как к некой исходной точке его отношения к социализму, к судьбе крестьянства 30-х годов. Немало про то сказано-пересказано, но ни разу и не упомянул о деде: мое теперь право ссылаться на мое с ним общение.

Другое о колхозах запомнилось. Появилась в 70-х «Продовольственная программа» — всех смущавшая, стыдная для страны развитого социализма. Опять неси поэт любимой «морковочку за крысиный хвостик»? На Руси это называется: снова здорово. Я как-то и скажи Виктору про сказку про белого бычка, про новый Царицын, куда за хлебом пора посыпать нового Сталина. Ответ писателя, только что вернувшегося из БССР, прозвучал так — в моей смысловой интерпретации:

— Непросто все это, Олег. Мы ведь живем на асфальте, газетки читаем да ворчим. А я вот сидел недавно в кабинете секретаря по идеологии белорусского ЦК — с группой «деятелей культуры». Рассказал он, как хлеб-тодается. Взять уборку. Есть урожай, дни погожие. Да есть еще военкоматы. Осенний призыв. Лучшие крепкие молодые руки тысячами забирают с полей. И не скажи слова — про отсрочку. «Защита Родины — священный долг»... Но войны-то, слава Богу, нет и не предвидится, а сообразить, что призвать ребят и в ноябре можно, никому в голову не придет. Так и теряем: то на одном, то на другом. По головотяпству щедринскому, а не по причине «колхозного строя»...

Вообще исключалась для писателя какая бы то ни было озлобленность. Исключение составляла война, то есть обиды (вплоть до ухода с писательских совещаний при СП или Главпуре, посвященных военно-патриотическому воспитанию) на лживую или поверхностную о ней «писанину», но об этом позже. В.П. Астафьев не раз говорил, что все мы породнены, повязаны с КПСС историей: вместе или выплынем или утонем.

О Ленине, как ни модно было в 60-е годы опираться, уповать на это имя, Виктор не упоминал. Есть у него привычка не приставать к общему хору. (Причина, по которой не писал он, любя, восторгаясь ими, ни о Шукшине, ни о Рубцове, ни о Распутине...) Но, помню, зашел разговор о Сталине. Сделаем поправку на «молодость» пермского начинаящего писателя, но даже по отношению к этой зловещей фигуре никакой утробной ненависти В.П. не выказал. Говорил, глядя в ночь, в заиндевелое окно:

— Сильный, конечно, человек. Это ведь представить надо: побег зимой из Туруханской ссылки! Почти как поход Пири на полюс или все эти санные экспедиции Амундсена. Я сибиряк и сознаю, что на подобное может решиться лишь героическая натура. Сказать о нем «чудесный грузин», как тогда писал Ленин, мало. То грабит банки (по Ленинской же просьбе-наводке), то бежит из ссылок, то редактирует «Правду», то чуть ли не командует фронтом в гражданскую, а в Оте-

чественную всеми фронтами с первого до последнего дня... Из какого замеса сделан был, испечен этот «кремлевский горец»? Большая тайна...

Началась перестройка. Так уж совпало, что стало именно тогда перестраиваться отношение народа к писателю Астафьеву. Скажем, что «самый читающий» далеко не всегда все читает у кумиров-писателей (а то и строчки не читал!), но как-то доверяется инстинктивно уму, достоинству, облику. Помнится, Г.Бакланова дружно не взлюбили: М.С. Горбачеву, когда писателя зашикли-захлопывали на трибуне, приходилось упрашивать зал — давайте дослушаем, уж за то хотя бы, что пожилой, фронтовик... Совсем не случайно попенял Твардовский на бороду Солженицыну: ценз доверия к писателю-мученику упал — закон СМИ, массового сознания...

А вот Виктору Астафьеву, с его умным лицом русского простолюдина, с живейшими, хоть и разносмотряющими глазами, с красиво седеющими прядями, — верили. Даже, повторюсь, те, кто не читал (за недосугом, за нелюбовью к книге вообще, коли есть «телек»), но слышал: и пишет хорошо мужик, и человек хороший. Главным-то литературным жанром становились вовсе не романы и повести — не говоря уж о рассказе, который то ли скончался, то ли загнулся на «Рычагах» Яшина и «Судьбе человека» Шолохова. Люди, жившие по эту сторону железного занавеса, открыли для себя прелесть — интервью. Они ж сродни транзисторному приемнику взамен лампового! Какой там Юрий Бондарев с его все тяжелеющими «кирочками»! (Хоть тот, кто читал, убеждался: писатель достойнонес крест романиста.) Осильтя леоновскую «Пирамиду» оказалось невмоготу даже литературным критикам.

Не всякий, однако, пишущий «вписался» в систему СМИ. Этот не телегеничен, тот развязен, болтлив, третий скован перед объективом.

В.П.Астафьев — с природной его талантливостью во всем — в жанр интервью вписался. С новым для себя блеском и органикой! И авторский вечер в Останкино провел великолепно: прямо-таки с актерским блеском. И ни одной о себе телепередачи, телефильма не провалил.

И государство в лице СМИ, конечно же, тянется, льнет — к государственнику.

Вернусь к перестройке. Главный импульс — «прибавить в работе» — быстро иссяк. Словно искра в свече цилиндра: смесь из хорошего и плохого в системе социализма не зажигалась. Энтузиазм, порожденный гласностью, газетным и журнальным бумом, пропал. На Одесской киностудии, где я тогда работал, начальница пошивочного цеха, вторая генсеку с трибуны открытого партийного собрания, сказала: «Нужен настрой не на

большие СЛОВА, а на большие ДЕЛА»... Имела в виду—ло-зунги, переврав цитату, да напрасно мы ее обсмеяли. Права была одесситка: с больших слов начали и ими же кончили... И вот в студийном общежитии смотрю я на нестареющего Виктора Петровича, который дает телеинтервью в Овсянке — после заезда туда М.С. Горбачева. Слово писателя взвешенно, спокойно. Все новое, что пришло в жизнь, он приемлет. Но последовал вопрос: дела ведь отнюдь не блестячи — может, в чем-то мы спешили?.. Пауза.

—Тихо!! Астафьев говорит — всем слушать!!!

Я вздрогнул. Но и возрадовался: рабочий человек возвзвал, шофер тонвагена — зная цену астафьевской мысли. Как приговор истории услышим...

— А если бы не было перестройки, — все тем бестрепетным, умиротворенным голосом произнес писатель, — было бы еще хуже. Да!!.. Мы ведь до ручки дошли: не застой у нас был, а паралич, тупик. Сейчас появился шанс — выйти из тупика. Как же не приветствовать такое?

Сюжет кончился. «Одобрямса» у слушателей не было. Поскреб в затылке и тонвагенщик...

Что ж, лед общественного мнения тогда уже тронулся — чтобы скоро, очень скоро превратиться в грохочущий разномыслием ледоход. По слову писателя С.Залыгина, и вся-то русская литература утрачивает роль лидера в духовной жизни общества, ее воспитательские, просветительские функции перехватывают СМИ. В новый век с новым раскладом сил и средств: воля истории.

Пройдет некоторое время, и никто не станет чесать в затылке, рассуждая: нужен ли был России 1985 год. Как перестраиваться, кого ставить у руля — вопрос иной.

Вот у Астафьева гостит уже Б.Н. Ельцин, совершающий предвыборную поездку. Уважит и его В.П. лестной оценкой («типичный русский самородок»), найдет и с ним, антагонистом Горбачева, общий язык. («История вам не простит, если допустите к власти коммунистов».)

Пройдет время, и народное мнение, народное волеизъявление у избирательных урн, сольется с писательским.

«Можно короткое время дурачить многих людей. Можно дурачить долго немногих людей. Но обманывать долго или всегда весь народ — невозможно» (Авраам Линкольн).

А ледоход в разгаре. От грохота, треска льдин уже закладывает уши.

«Твой Астафьев, — кричит мне один из тех, кто приватизировал слово патриот,— никакой не государственник, а просто хитрый сибирский мужичок! Именно себе на уме — при золотом певчем горле. Он бы и при Сталине жил и пел райской

птицей (с его-то талантом!), и при Хрущеве он первый, и при Горбачеве лауреат и Герой Соцтруда, и Е.Б.Н., враг Горбачева, его, Астафьева, друг. И при евреях он — на щите. Кому они всучили свой «Триумф»? Распутину, Белову, Шафаревичу? Астафьеву! Слово «конформист» не для него: тем паче «космополит», «интернационалист». Но хитрый удачливый сибирский мужичок — в точку...»

Что сказать на это?

Из степей ковыльных и лесов дремучих, из времен первых князей русских дошла до нас пословица: «Кто воюет с Россией, тот состоит в тайном союзе со смертью».

Государственник Виктор Петрович Астафьев воевал не с Россией, а за Россию и не на белом листе бумаги, как мой оппонент, а на поле боя...



Фаина Соломатова

## НА НЕБО ВЗГЛЯНУТЬ ИЗ ТОЛПЫ...

Москва встретила неприветливо. Моросил дождь.

— Если на целый день, то дело — труба, — поморщилась Лида и набросила на голову капюшон куртки.

Наденька старалась не отстать от подруги. Шагать в ногу не получалось. Лида шла быстрой уверенной походкой.

— В аэропорт Шереметьево, — предлагали таксисты.

Они выщупывали опытным взглядом своего клиента. Но с провинциального поезда пассажиры явно не собирались следовать дальше, по крайней мере, сейчас. Где-то во второй половине суток им, возможно, и потребуется предлагаемая услуга.

Большинство народа с прибывшего поезда устремилось в метро и вмиг слилось, растворилось, как сахар в стакане, толпа поглотила его. На вокзале перед открытием метро москвичей немногого. Люд приезжий, однодневный. А пожаловал он в столицу по казенной дороге за личным интересом с коммерческой целью, а проще, за товаром. Днем затарится, а вечером отчалил в свои большие и мелкие города и поселки. Вот так и курсирует народец через определенное время туда — сюда. Наверное, за это их и прозвали членками. Бывалого членника от новичка враз отличишь. Новичок один и не решится без сопровождения и поддержки в не очень легкое путешествие.

— Тetenька, подайте Христа ради, — тянула руку цыганочка лет пяти-шести.

— Идем, — дернула Лида Надю, — этой публики здесь мо-ре.

Электричка на «Спортивной» почти опустела. Толпа подхватила подруг и нередеющим плавным потоком доставила до рынка.

— Теперь смотри в оба. От меня ни на шаг, — предупредила Лида.

Наденька вцепилась в Лидин рукав. Ее без конца толкали, больно ударяли колясками.

— Не бойся. Красота жертв требует. Отхватиши плащик — мужик ахнет, — подбодрила Лида. — Кстати, в туалет нет желания зайти? Это учреждение от нас далеко будет.

— Да нет.

— Терпи, казак, атаманом будешь.

— Дорогу... Даем дорогу, — кричали носильщики, проталкивая высоко груженные тележки. — Ноги... Осторожно... Берегись, — предупреждали сзади и спереди.

Вначале, когда шли по более широкому проходу и можно было временами видеть дорогу, она обходила лужи. Но в узком проходе их зажали в такие тиски, что, казалось, еще поднадавить малость — затрешат кости. Лида постоянно оборачивалась, где можно, подхватывала Наденьку под руку.

— Мы только на склад пробьемся... А потом ты стоять будешь.

— Да я ничего... Только ногам сырьо, — пожаловалась Надя, размягченная поддержкой. В ее предположении московский рынок, в отличие от местного, должен быть размерами побольше, да покультурнее обслуживание.

— Накладные... сертификаты... ручки... пишут, стирают. Следов не оставляют, — громко выкрикивал молодой человек и тряс разноцветным набором.

Подруги вылезли из пробки и отошли к металлической изгороди газона. Здесь столпотворения не было.

— Стой тут. Я быстро.

Наденька вздохнула с облегчением. И принялась очищать грязь с брюк и ботинок.

— Женщина, вы выиграли. Поздравляю! Пойдемте, получите деньги, — щебетала, словно из-под земли выпорхнувшая, девица и совала картонный жетон.

— Я нигде не играла и не собираюсь, — испугалась Наденька.

— Дама, вы что деньги-то швыряете. Да ради Бога — не играйте, а что положено возьмите...

— Что тут происходит?

— Ей выигрыш выпал, а дама понять не может, — воскликнула девица.

— Брысь, липучка. Дама не игривая. Из серьезной породы.

— А мы и не играем. Мы реальное бюро...

— Смени наживку — устарела, — грубо оборвала Лида и потащила Надю в толпу. Та едва успевала за ней.

— Следы вроде замели. Выбирай плащик, пока деньги целы.

Надя и забыла о цели приезда. Ей захотелось иметь кожаный плащ. На своем рынке ее то модель не устраивала, то размер не подходил. А заодно подарки мужу и детям сделать. Плащ они купили быстро. Надя не больно выбирала — пропала всякая охота.

— Садись на тачку и сторожи территорию и котомки.

— А игральная девица сюда не завалится?

— Боятся, как черт ладана, вон тех мальчиков, — кивнула Лида на противоположную сторону газона. Там стоял милицейский автобус. — Да и люди кругом.

Время тянулось медленно. Казалось, Лида ушла так давно. Надя вскакивала, наверное, через каждые пять минут. Смотрела: не появится ли знакомая фигурка.

— ... Граждане, при обнаружении оставленных пакетов и свертков не приступать к их осмотру до приезда милицейского наряда, — предостерегал бдительно диктор.

А вокруг пестрело и рябило, галдело и шумело, кричало и орало. Пахло жареным мясом и печеными пирогами. Бери и кушай на здоровье, прямо с пылу с жару. Упаковка шла полным ходом, коробки разных размеров летели на газон. Туда бросали и бумажные тарелки, пустые бутылки.

В милицейский автобус время от времени заводили группу по 3-4 человека. Одного, что вели под конвоем, Надя узнала. Он недавно предлагал массажные расчески. Задержанные вели себя по-разному. Большинство что-то объясняли парням в пятнистой форме. Очень эмоционально, с южным темпераментом.

«Как там Лида? Только бы с ней ничего не случилось», — нервничала Надя. Ей казалось, что если с подругой что-то случится, то причиной будет она. Напросилась со своими нарядами.

— Не было печали... — подошла с коляской женщина в рыжей куртке, — распазгали...

На боку вдоль кармана виднелся разрез, из него торчал синтепон.

— Да, сегодня режут, — согласилась другая и на миг разогнулась от ящиков, куда она упаковывала детские игрушки. — Не взяли?

— Не достали. Деньги-то у меня в безрукавке. Кто кого перехитрит. В тот раз джинсы распороли, сейчас куртку. Сплошной убыток.

Женщина застегнула дыру булавками, выкурила сигарету и как ни в чем не бывало отправилась в глубь рынка.

«Ей все до лампочки. Сильная женщина, а я сентиментальная рохля, в придачу, с душой зайца». Привесив себе нелестный ярлычок, заволновалась пуще прежнего: «Где она застряла?

Ну, что ты дергаешься! Она не первый раз, знает все ходы и выходы. Из любой ситуации выпутается». И чтобы отвлечься, стала смотреть по сторонам. Беспорядочная суета, которая ее поразила утром, исчезла. Все занимались своим делом. В перерывах пили, ели, курили (кстати, почти все) и вновь укладывали, обматывали туки скотчем, подходили и отходили груженые и порожние, считали на калькуляторах, считали деньги, записывали в блокноты. Парни из ОМОНа наполняли автобус, птицы мирно поклевывали остатки пищи на газоне. Все заняты работой, одной Наденьке делать нечего.

— Ну вот и я, — Лида вынырнула из людской гущи, — еще пару ходок — и порядок.

И она, не мешкая, принялась за укладку товара.

— Лидок, а как мы отсюда выберемся? А в метро замнут...

— Насчет выбраться — проще простого. В метро не ездим, возьмем такси.

Шофер помог погрузить вещи, и они покатили по широкому проспекту. Наденька давненько не была в столице. Москва готовилась к своему юбилею. Яркие рекламные щиты восхвалили именинницу, придавали праздничность будущему торжеству. Вырвавшись из суматохи на широкий уличный простор, Наденька почувствовала гордость и важность приближающегося события. Но чем дальше они катили по столичным улицам, чувство это у нее рассеивалось. И Москва не устояла — соблазнилась иностранщицой. Вывески магазинов и питейных заведений ночных и дневного действия не по-русски написаны. А если нарекли и на родном языке, то имя гибрида смысла не имеет. «Американская картошка», — прочитала Надя. — А наша-то чем хуже?» Даже обидно стало за униженное положение нашей кормилицы.

— Мо-о-сква, зла-тые купола, — пело в приемнике такси. Шофер выключил громкость. То ли ему надоело молчание, то ли решил показать осведомленность столичного знатока.

— В этом ресторанчике купоны стрижет (и назвал имя знаменитой певицы).

Наденька хоть и обиделась на Москву, но все равно радовалась ее красоте и величию. Столица ждала гостей. Но не ее, Наденьку, и не тех, кто ехал сейчас в такси, и не тех, с кем ей сегодня пришлось толкаться в метро и на рынке.

Как в далеком детстве, когда приглашали гостей, устраивая в доме праздник, а детишек отправляли к бабушке и дедушке. Мама, такая нарядная и взволнованная, была занята столом и ожиданием приглашенных. А на них с братом абсолютно никого внимания. Наденька от такого равнодушия ревела целый вечер.

— В чем дело, внученька? — тревожилась бабушка.

— Голова болит, — врала она. Но мамины нелюбовь и без-

различие были короткими, а вот столица-матушка разлюбила навсегда. Или все же вспомнит свое материнское предназначение? Не будь же мачехой, мы ведь твои дети кровные.

— Мне кажется, у всех женщин теперь одно лицо... Лет десять назад показали бы, как я по рынку шастаю, сказала бы, что крыша поехала. С мужем за границей столько лет. Военный он...

— Я тоже майор милиции. Сейчас на пенсии.

— Нам в Эстонии все пришлось оставить: и квартиру...

— Ярославский, красавицы, — шофер выскочил из салона и принялся выгружать вещи.

— Не красавицы, а грузчицы. Мы-то ладно, нарожали. А девчонки — не мышонка, не лягушку, а неведому зверюшку, — рассуждала бывшая прибалтийская дама.

— Мужики пусть рожают. И чтобы полноценных, — заявил шофер.

— Путные мужики вымерли, как мамонты, — внесла свое молодая брюнетка. — Ой, что-то в спине треснуло!

— Подъемный кран и то ломается, а наши спины — никогда, — эстонка с грустью окинула хрупкую фигурку черненькой.

— ... Граждане пассажиры, не забывайте взвешивать свои вещи. Провоз ручной клади разрешен в размере 36 килограммов. Сверх нормы провоз осуществляется за дополнительную плату...

— А если не взвесить? — предложила Наденька.

— На посадку могут не пропустить. На бедного коммерсанта везде заслоны и кордоны поставлены.

Зато с каким наслаждением они бухнулись в вокзальные кресла! Умытые, сытые и чрезмерно довольные. Дело, за которым приехали, выполнено, теперь надо скротать время, погрузить вещи в вагон и закинуть на полки, а утром и домой вернуться.

— И жизнь хороша, и жить хорошо, — улыбнулась Лиза.

— Не надоело так мотаться?

— А куда денешься? Сидеть и ждать блюдечка с голубой каемочкой? А тут я независима. Раньше я сама к этой категории людей относилась скептически. Но на Руси от сумы да от тюрьмы... А вот когда впряглась в эту лямку, поняла многое. Разные мы: и жить, и работать надо бы разрешать по многоукладной системе... Да я тебе сейчас лекцию преподнесу.

— Смотрю я: коммерсанты ребусы отгадывают, читают, — оглядела Наденька зал.

— Пед и мед, коллеги наши, в торговлю подались. Вон сидит учительница из Бuya. Мать шестерых детей. Старшей — 16, младшему — 7.

Садимся за стол, рассказывает, дети спрашивают, как хлеб — досыта или делить будем? Бросила школу — детки досыта едят. От работы без ума была. Скучет. День — торгует, ночь — ревет.

— Граждане пассажиры, на третьем этаже вокзала работает кинозал, в 17 часов показывается боевик...

— А мы в первую поездку в зоопарк пошли, — вспомнила Лиза. — Закупили быстренько товар и на встречу с прекрасным. Зверей я люблю и уважаю. За их человеческое отношение друг к другу. Что-то мороженого захотелось, не сходишь?

— И в универмаг заскочу, мне пуговицы к дубленке надо купить.

На площади, ближе к переходу, торговали всякой всячиной.

— Любовные романы, книги для детей, эротические анекдоты, — предлагала лоточница.

— Куль один, а жанры разные. На все вкусы и причуды, — усмехнулся мужчина и возвратил книгу продавцу.

В низком переходе с электрическим матовым освещением после яркого дневного света все выглядело неестественно блеклым. Только светлое становилось еще белей, а темное — черней. И вновь витрины и лотки со всевозможными товарами. Заглядевшись, Наденька чуть не натолкнулась на инвалидную каляску. Чуть подальше с небольшим интервалом стояло еще две. Первое, что бросилось в глаза, табличка на груди парня: «Подайте инвалиду Чечни». Наденьке хотелось побыстрей уйти, но и не подать милостыню она не могла. Рылась в сумке, но вытаскивала то документы, то носовой платок, а не деньги. Наконец, кое-как выгребла, так обронила на пол.

Долго бесцельно бродила по шикарному универмагу. Вспомнила про пуговицы.

— Интерьер не чета моей палатке, — разговаривали у приставки женщины, одетые по-спортивному.

— Цены-то посмотри, — шепнула другая. — В «Луже» это же можно раза в полтора дешевле отхватить, причем в розницу.

— Цивилизация тоже денег стоит. Через аппарат прощелкают. Купи себе вот эту штучку...

— На фига козе баян У меня у самой навалом.

Женщины рассмеялись и пошли к эскалатору.

Возвращаясь, Надя изменила маршрут. Ей не хотелось проходить мимо бывших солдат. По площади шла медленно. Слушала пение. Пел и сам себе аккомпанировал молоденький бард. Песен таких она раньше не слышала, да и вышла из того возраста, чтобы знать все современные ритмы. И вновь с Наденькой чуть не произошел казус. Нет у нее опыта и сноровки поведения в крупном городе.

Рядом с памятником стояла на коленях женщина. Перед ней лежала икона Иверской Богородицы. В том, что Богоматерь Иверская, Наденька не сомневалась — кровавый след на щеке был хорошо виден.

«Зачем мне все это? У меня своих проблем выше головы. Лучше бы я сидела в вокзале, а еще лучше — дома. На кой ляд сдалась мне эта мануфактура».

Нет, Надя видела нищих. Даже в ее маленьком городе их было предостаточно. Но домашние нищие резко отличались от московских. В их городке большинство нищих всех тягот-то не испытывали, да дай бы Бог их не испытать! Когда же случается беда с кем-то, то жители города стараются помочь, мир не без добрых людей.

Женщина и не походила на нищенку. Она была молода и очень красива. Но почему, что заставило ее опуститься на колени? Бедность не радость, но нужда еще не сломит человека, не вывернет его с корнем. Человек не пень трухлявый, пинай, выворачивай — не больно. Человек — как дерево, верхушку сломят — от корней поросль даст. Живуч он, род людской. А вот беда страшнее — ураганом, молнией бьет.

Взгляд женщины был устремлен ввысь, но не на небо. Наденька искала купола храма. Кому она молится? Если ей захотелось пооткровенничать с Богом, то почему здесь, а не в церкви или дома? Богохульство какое-то, а не молитва. А может, она мать одного из тех ребят в инвалидных колясках? Мол, смотрите, матери, бабы русские, терпеливицы всенародные, — деток вырастили, да и в расход пустить дозволили.

А может, Бог разрешил ей переступить за нейтральную полосу своего Царства? Милость ей оказал величую, а за что, нам, простым смертным, знать не полагается. И видит она то, что нам вовек не видывать. Наденька еще раз взглянула туда, куда смотрела странная женщина. Но ничего сверхъестественного не увидела. Только на глаза попалась бывшая символика трудовой славы — серп и молот. Но не им же она преклоняется, не у них же просит счастья и успокоения? Хотя кто знает! А может, эта труженица молится сразу двум богам — Небесному и Земному? Чтобы к людям-человекам вновь разум снизошел. Уж не такие они и твердолобые. Чтобы серп и молот вновь в руки попал. Ведь русский люд только долго запрягает да в сбrouе путается, а как разгонится — не догнать вовек...

Наденька вздрогнула. Чье это пророчество? Может, об этом поет бард с непонятным инструментом, так похожим на гусли из сказок детства? А может, что-то навеяло из далекой истории, ведь она в Москве, на святой земле? И коли женщина просит у Господа об этом, то пусть бы все свершилось. Ведь устали мы все так маяться!



Ольга Гуссаковская

## ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...

В детстве за меня боялись взрослые: я наяву, а не во сне, видела то, что другим было недоступно. Меня водили по врачам, поили бромом — все напрасно. По-прежнему я могла оказаться либо на берегу древнего силурийского моря, либо в параллельном мире с жизнью, николько не похожей на земную.

Только став взрослой и встретившись с писателем И.А.Ефремовым, я узнала, что ничего страшного в моем даре нет. Это эйдетическое зрение. Он сам обладал им.

А параллельные миры — тоже реальность, и связь между ними существует, но времененная. Изредка случается, что мы попадаем «к ним», а «они» — к нам. Но это лишь пограничные кратковременные встречи. Именно поэтому никогда не будет пойман снежный человек, найдена Несси или разгадана тайна жуткого электрического червя, Олгой-Хорхоя, погубившего в песках Гоби археологическую экспедицию, которую вел Ефремов.

Так или иначе, сегодня я хочу, насколько позволит слово, рассказать о некоторых последних своих видениях.

Недавно я посетила берег древнего земного моря. Он лежал передо мною безжизненный, жестоко палимый яростным фиолетовым солнцем. Планета еще не обзавелась спасительным слоем озона. Куда ни глянь — коричневые, черные либо багряные скалы и белый песок на морском берегу. Испепеленный жаром мир, где ничто живое не существует.

Но солнце отступало перед прозрачной зеленою глубиной моря.

Его дно кишило жизнью.

Вода стеклянной прозрачности не скрывала ничего на отмели, полого уходившей во тьму глубин.

Большие, округло-плоские раковины, раскрашенные в серо-зеленый и сине-зеленый цвета, перескакивали, пуская за собой тонкие песчаные струи, — совсем как сегодняшние японские гребешки. Другие, завитые спиралью, нежно-кремовые с алым накрапом, неторопливо путешествовали по дну среди податливых темных лопастей водорослей.

Там и тут на дне серебрились раковины, словно бы колчаны от неизвестного оружия, — то больше, то меньше. Из них тоже высовывались усики и щупальца.

Все это содружество сытно кормилось различной ракьей мелюзгой и всякой иной малой малостью. Непонятно было

одно: от кого они прячутся в разноцветных нарядных панцирях?

Я находилась как бы среди них и над ними: в воде и на берегу. Наверное, поэтому я первой почувствовала надвигающуюся опасность. Но уже знала по опыту: вмешиваться я ни во что не могу.

Из непросвечивающих солнцем глубин внезапно возникла стая длинных, с полметра и более, стремительных розовых червей.

Плоское тело их делилось на сегменты, по бокам мерцали красные реснички, а серповидные челюсти напоминали сегодняшних безжалостных хищниц — личинок стрекозы.

Донное содружество их, несомненно, знало и боялось, но реакция нападавших невероятно опережала сигнал опасности. Мало кто успел втянуться в спасительные раковины. Черви, как волки, больше убивали, чем съедали. Это был холокаст.

Темная волна ужаса погасила виденье.

...Далее я увидела это же море, но уже в более поздние времена. От прежних его обитателей на дне остались витые раковины и панцири, похожие на колчаны. Их мы, кстати, находим и сегодня.

По дну среди богатейшего сада разноцветных водорослей ползало, опираясь на четыре плавника, как на ноги, стадо морских поросят: розово-серебристых рыбин размером с большую треску.

А небо над морем кишило черной страшной силой: огромными крылатыми ящерами с раскрытыми зубастыми пастьями.

И опять я видела и то, что сверху, и то, что снизу, как бы одновременно.

Вот один ящер сложил крылья и вонзился в морскую гладь, как снаряд, — без всплеска. Пасть захлопнул при этом. На дне единственное движение — и уже одним беспечным поросенком меньше! Остальные никакого внимания на это не обратили: паслись, как прежде.

Ящер развернулся и пошел вверх. Я подумала: а как он сможет развернуть свои невероятные крылья?

Словно бы реактивная струя ударила у него вдруг из-под хвоста, тело выбросило на поверхность, и тут же, мигом, раскрылись, ахнули по воде крылья! Один удар — и летун в воздухе.

А там, глядишь, еще кто-то ныряет, опять и опять, а кистеперым пороснякам хоть бы что!

В этом мире полное равновесие: хватает и тех, и других, а что будет завтра — какое им дело?

...Следующая картина, несомненно, принадлежит какому-то из параллельных миров.

Я вновь оказалась на морском берегу. Куда только хватало глаз, передо мною простиравось полное жизни мелководье. Мощные буро-зеленые водоросли и самое море окрашивали в болотный цвет.

В чаще водорослей ревились мириады раков или им подобных существ, сияющих всеми цветами, как лампочки на рождественской елке. Кажется, специально для того, чтобы их легче было ловить странным тварям, заполонившим морскую поверхность.

Гладкокожие, зелено-бурые, как море, с более темным накрапом вдоль хребта, сложением они напоминали очень больших тюленей. Но ласты им заменяли огромные лягушачьи лапы с большими перепонками. Лапы врастопырку лежали на воде, поддерживающая жирное, неуклюжее тело.

Прямо вверх поднималась тонкая, даже на вид беззащитная шея, а на ней голова с плоским круглым «лицом» и гребнем на затылке.

Телескопические, как у хамелеона, глаза, клюв вместо носа и узкая щель рта. Выражение «лица» вполне осмысленное, доброжелательное и почему-то грустное.

Звуки они не издавали. «Разговаривали» с помощью невыразимо прекрасного переливчатого мерцания гребней.

Над ними сияло нежгучее солнце. Воздух полнился запахами цветущей жизни. Пусть незнакомой, непохожей на нашу, но влекущей, умиротворяющей.

Время от времени кто-то из властителей моря опускал одну из передних лап в воду, ленивым гребком захватывал горсть пищи и, поднеся затем ладошку к лицу, начинал разбирать добытое с помощью клюва.

Что-то летело обратно в воду, а оставшееся отправлялось в рот. Либо, померцав гребнем, ловец предлагал угощенье соседу. Тот, померцав в ответ, благосклонно принимал подарок.

Я поняла: их мир так переполнен легко добываемой пищей, что соперничество вообще исключено. Среди них должна царить вечная гармония. Скорее всего, они совершенно не знают вражды и страха.

Но почему же то и дело кто-то из этих милых увальней поворачивался и внимательно осматривал берег?

Там сплошной красно-коричневой, с синими прожилками, стеной поднимались скалы. Полоска галечникового берега выглядела совсем узкой, и все ее пространство заполонило простенькое цветущее растение.

В Англии издавна был известен бордюрный цветочек «Рыцарь одиннадцатого часа», а по-латыни — портулак. То, что цвело на берегу, представляло его вдвое увеличенную копию. Ползучие стебли, жирненькие иглообразные листья и гроздья белых и кремовых цветов на концах ветвей.

Ничего более на берегу не росло, а скалы вообще казались мертвыми. Что за их гребнем — я не видела.

Скоро я поняла: цветы на берегу неодолимо влекут симпатичных монстров. И чем-то опасны. Это я уже не понимала, а чувствовала.

В конце концов один мореплаватель неуклюже зашлепал лапами по воде, явно стремясь на сушу.

Движение его вызвало настоящий фейерверк гребневых мерцаний у его сородичей. Но он их не видел или видеть не хотел. Его влек берег.

Как только он оказался на суще, я поняла, что делать ему тут нечего: огромное рыхлое тело будто прилипло к песку. Лапы, легко державшие это существо на воде, беспомощно загребали песок. И все же он дополз до манящих цветов.

Цапнул лапой, сколько смог захватить... Я не успела подумать, куда он денет ветки, как с гребня скалы стремительно скатилась омерзительная помесь гиены с ящером. Тело кожистое, графитно-серого цвета, но при этом гиеня тупая клыкастая голова и хребет в черной шерсти. Лапы когтистые, цепкие.

В секунду тонкая шея искателя приключений оказалась перекусенной, а сверху сыпалась уже целая стая таких же осетрозубых убийц.

Они тоже не издавали ни звука. Лишь ходила волнами, слегка искрясь, черная шерсть на хребтах.

Море ответило алым всплеском горя на гребнях сородичей погибшего. И — ничем более. Тишина.

Видение исчезло.

...На сегодняшней Колыме цветущих лесов нет. Я прожила там многие годы и хорошо это знаю.

Известно мне и место, которое я увидела: долина Талая, где бьют теплые радоновые ключи и расположен санаторий.

В моем видении санатория не было и в помине. На его месте пенился весенним цветением роскошный, почти сплошь лиственний, лес. Белоствольные березы, черемуха, рябина, шиповник... И даже дикие яблони цвели с неслыханной щедростью.

Редкие лиственницы и ели выглядели среди них чужаками.

Широко и вольно растеклась по долине река. У берегов вода парила: ключи находились на дне.

По большому плесу бродило стадо мамонтов: семеро взрослых, один подросток и смешной, как игрушка, мамонтенок.

Первое, что меня поразило: мамонты вовсе не были бурыми.

Огромный самец выглядел аспидно-черным, а его мамонтиха — цвета красного дерева.

Еще один самец, помоложе, был пегим. Малыш напоминал сливочную шоколадку. И так каждый — на свой лад. Лишь подросток сразу показался знакомым: бурый, как всем известное чучело Березовского мамонта.

Мамонты гурманствовали: выбирали между береговых камней пучки дикого лука и плоские сизо-зеленые лепешки эшаверии — «молодила». Еще их привлекала глубокая узкая лужа, полная чьей-то икры. Они сладостно всасывали ее хоботами и отправляли в рот.

Гиганты не торопились. Сразу было видно, что живется им привольно, сытно и спокойно. Время от времени они похлопывали друг друга хоботами по бокам и спинам.

Кто еще населял этот весенний, легкий и радостный, мир?

Между ног у стада шныряли евражки вполне современного вида. Мамонты их не замечали: они жили на разных этажах. Птиц или еще кого-то я не увидела.

Однако на излучине реки внезапно возникли люди. Четверо мужчин с копьями, нисколько не похожие на эвенков или чукчей. Высокие, стройные, с арийски правильными и красивыми лицами.

Тайнственно исчезнувшие онкилоны? Не знаю... Они прямоматки излучали ум и гордую силу. А одеты были в подобие сегодняшних кухлянок... несомненно, из шкур мамонтов! Столило призадуматься: каким образом они их добыли?

Мамонты и на людей не обращали внимания — не больше, чем на евражек. Лениво паслись, хлопали ушами...

Люди посовещались и бесшумно сгинули в лесной чаще. Но вскоре появился еще один охотник с очень странной вещью в руках — длинным гибким ивовым хлыстом. На конце его покачивался на ремешке солнечно сияющий кристалл горного хрусталя.

Человек помахал хлыстом. Камешек вспыхнул ярче.

Пегий мамонт поднял голову: он увидел сверкающую приманку. Похоже, блеск ему нравился.

Он требовательно потянулся хоботом к приглянувшейся игрушке. Но человек отступил — ровно настолько, чтобы мамонт не смог дотянуться до конца удилища. Потом — еще на шаг, и еще...

Мамонт уходил все дальше от стада, капризно хрюкая, а никому и дела не было до того, куда и зачем он пошел.

Я очень скоро поняла, почему люди одеты в мамонтовые шкуры: ловчая яма на речной косе дождалась добычи...

Ловцы же и не думали (как на картинках в плохих учебниках истории) размахивать копьями и каменными топорами. Поглядели на жутко ревущего, гибнущего в яме зверя и расстаяли в лесу. Им спешить было некуда.

Стаду мамонтов — тоже. Их мозг явно не был рассчитан на людское коварство. Ведь это они чувствовали себя хозяевами планеты...

## ВЕТЛА НА НЕВОРОТИМОЙ

Редкий дождь неожиданно прекратился, повалил такой густой и плотный снег, что свет от фонаря сквозь него едва пробивался. Несмотря на мокреть, на улице посветлело и стало как-то чище. Старков понял, что выбрал для прогулки не самое удачное время: надписи на ветле разобрать в сумерках трудно, но идти к этому дереву днем он стеснялся.

Раскидистая ветла могла укрыть от снега и ветра нескольких человек, а потому Старков стоял в бесснежном пространстве на черном островке сырой земли, не боясь, что промокнет.

По белу свету довелось Старкову помотаться немало, но он еще нигде не встречал такого количества ветел, как в поселке, где прошло его детство. Старкову казалось, что он вообще не встречал нигде ветел, а может, просто не обращал на них внимания. Но и эта ветла — из множества растущих в поселке — особая.

Редкая гроза отгремыхивала без того, чтобы в это дерево не попадала молния. Прежде от одного корня поднималось в небо несколько стволов, теперь осталось только два. Из-под содранного слоя коры серело податливое, будто отполированное тело ветлы, на котором ребятишки и приспособились вырезать складниками всякую всячину. Для непосвященного надписи ничего не значили, Старкову говорили многое.

Он провел по щербинам рукой. Где-то в этом месте вырезано «Дозор». Первый его пес, может, оттого и самый незабвенный и любимый. Дозор незаметно вырос в большую собаку и вдруг... ощенился. Злозычный сосед с тех пор кликал его не иначе как Дозорихой. Лешка Старков не обижался: вместо одной у него стало три собаки, двух писклявых, дрожащих щенят он прятал от всех, хотя утопить их мог только отец. Лешка чуть не плакал, представив, что это пущистое и живое могут бросить в воду только потому, что так было заведено в их поселке.

В год, когда ощенился Дозор, в поселке начали ходить автобусы — невидаль не только для ребят, но и для взрослых. Жертвой своего любопытства и стал Дозор, не ожидавший, видимо, что цивилизация может обернуться для него бедой. Собаку закопали за огородами, а на стволе ветлы Лешка увековечил имя своего лохматого друга.

Сейчас Старков едва угадывал под пальцами почти стертую дождями и ветрами кличку собаки, а ладонь уже натолкнулась на непонятную надпись. Он попытался вспомнить, что вырезано в этом месте, и не мог. Да и непросто было разобраться в этой древесной газете: полтора десятка мальчишек с их ули-

цы спешили складниками запечатлеть не стволе ветлы свои радости и горести.

Старков не смог пересилить любопытства и чиркнул спичкой. Только на мгновение выхватил огонек из темноты участок ствола, но этого оказалось достаточно, чтобы Старков вспомнил и усмехнулся: как же он мог забыть? На стволе можно отыскать множество этих «Ай-яй-яй!». Только этим и могли ребята выразить свой протест учительнице. Учительнице строгой, а порой и непонятно злой.

Она входила в класс почти строевым шагом. В классе росла тишина. Тишина становилась в конце концов такой, что, казалось, не выдержат барабанные перепонки. «Садитесь!» — командовала учительница. Короткий вздох — и снова тишина.

— Ай-яй-яй, разгильдяи, — раздельно и четко произносила она, — кто плохо стер с доски?

Так начинался почти каждый урок.

Старков числился в «середняках», но уроки Августы Николаевны, по прозвищу Ай-яй-яй, старался прогулять под любым предлогом. Его охватывал непонятный ужас, когда Августа Николаевна наклонялась, вплотную приблизив к нему свое лицо.

— Ты, Старков, не учил, — утверждающе и, казалось, с удовлетворением произносила она и мерно покачивала кривым указательным пальцем перед его носом.

Кривым был не только указательный палец, более изогнутой и исковерканной руки Лешка ни у кого не видывал. Но на лицо Августы Николаевны была очень красивой. Обычно такими рисуют сказочных принцесс в детских книжках. Только и красота ее была такая же ледяная и неживая, как на картинках. Однако ужас внушала не изуродованная рука и не холодный взгляд Августы Николаевны, а увиденное однажды Лешкой после уроков.

Все шло обычным чередом: Ай-яй-яй заключила, что Старков не учил и ей знать о том лучше.

— Учил ведь я, — на всякий случай проканючили Старков. — Ну-у, — учительница широко разверла руками, приглашая весь класс в свидетели. — Посмотрите на него. Останешься после уроков.

Вынести это было совершенно невозможно. Наказание получалось тройным: двойка в дневнике, часовое сидение после уроков в школе и выволочка дома.

Бот после уроков-то он и увидел такое, о чем не стал рассказывать даже друзьям.

— Почему ты, Старков, так ведешь себя? — удивлялась учительница, выслушав его ответ после занятий. — Ведь знаешь же.

— Знаю.

— Что же ты мне голову морочишь?

Лешка молчал.

— А ну-ка реши это квадратное уравнение.

Лешка с трудом, сопя и потея, все-таки выполнил задание.

— Мы этого, Старков, не проходили! Откуда ты знаешь?

— В занимательной математике видел.

— Нет, Старков, ты все-таки невозможный человек.

Она откинула со лба густые волосы, спадающие до плеч, и Лешка с ужасом увидел, что у нее нет ушей, а едва заметный шрам, начинавшийся от уголка глаза, превратился в фиолетовый рубец.

Лешка побелел и настолько оторопел, что даже привстал. Августа Николаевна резко надвинула волосы вперед и, ни слова не сказав, строевым шагом вышла из класса.

Алексею Старкову, человеку, повидавшему на своем веку немало, стало неуютно. Может быть, другие (да и где они сейчас, другие?) давным-давно забыли своих послевоенных учителей, их гнев или милость, подумаешь, какая важность, чтоб какую-нибудь мелочь носить в голове всю жизнь. Но Старков помнил.

Прежде ему казалось, что в унижениях, какие претерпел он дома или на уроках, виновата Августа Николаевна. Наказания, получаемые за собственную лень, он считал несправедливыми и винил за них человека, который этого вовсе не заслуживал. Он даже великодушно собирался простить Августу Николаевну.

Но сейчас под этим деревом для него все связалось воедино, в узел, который разрубить невозможно.

Лешка помнил, как их учителя уходили на войну. Уходили почти все, даже старый учитель пения. Что будет делать на войне учитель пения, Лешка тогда представить не мог. Да и что можно сделать против танков и самолетов с баяном или трубой. Учитель пения стоял в стороне один, сгорбленный и седой, и во что-то вслушивался. Потом поманил к себе известного забулдыгу Пашу и тихо спросил:

— Слышишь?

— Чего это?

— На клубе радио.

— Да ты что? Изdevаисся, что ли?

— Это же Бетховен. Бет-хо-вен!

Паша непонимающе смотрел на учителя, потом покрутил пальцем возле виска и сердито отошел прочь.

Лешка услыхал тяжелый вздох учителя пения.

Паша неизвестно почему всю войну проотирался в поселке. Учителя пения убили на третий день боев.

Была тут и Августа Николаевна, она тоже уезжала на фронт.

Ополченцы уехали в полуторке по улице, которую народ окрестил Неворотимой. Это была центральная и единственная улица в поселке, которая вела в город мимо кладбища, а потому всех усопших проносили по ней. Потому и прозвали улицу

Неворотимой. Второй, еще более страшный смысл, приобрело название улицы во время войны. По ней уходили драться с немцами. Уходили группами, отрядами, возвращались редко, по-одинокочке. Стучали костылями о булыжную мостовую, несли заткнутые за пояс рукава, нащупывали дорогу впереди себя палочкой, пока не появлялся кто-нибудь и не подхватывал под руку. Но как же редки были эти возвращения...

Теперь, стоя под ветлой, Алексей Старков никак не мог понять, почему он не извинился за то, что они однажды устроили с Федькой, пусть и несознательно.

Выгонять их с урока, вообще-то, было не за что. Когда за дело, не так и обидно, но ведь не будешь выдавать Мухлю, подложившего под ножки стула капсюли от патронов. Ребята на перемene даже не поняли, зачем Мухля набивает капсюли хлебным мякишем и втыкает в него кнопки. Когда Августа Николаевна села, грохнуло здорово. Августа Николаевна обвела взглядом класс и удивительно спокойно предложила Лешке и Федьке убираться вон.

Ох и худо торчать в коридоре, когда идет урок. В любую минуту тебя может увидеть директор, и тогда будет...

Федька поскользнулся на лестнице, на которую ребята валенками натащили с улицы снега, но успел схватиться за перила и лихо проехал по ступеням вниз. Лешка уже сознательно повторил этот трюк. Они покатались вволю и решили попроситься в класс. Вдруг Ай-яй-яй поотошла и пустит на урок. Но Августа Николаевна повела себя неожиданно. Если она прежде захлопывала перед носом провинившегося дверь, то в этот раз ринулась за приятелями с такой быстротой, что они испуганно бросились вниз по лестнице. Их занятия не прошли даром — лестница блестела отполированным льдом. Но откуда было знать учительнице, что нужно держаться за перила? Нет, она не знала и съехала вниз ничуть не медленней ребят.

Лешка и Федька ушли домой без портфелей и пальто, боясь показаться в классе и рассчитывая на другой день на исключение из школы. Но ничего не произошло. Так же монотонно и неинтересно проходили уроки, а к директору их не вызывали.

Не мог Старков забыть того случая и не мог простить себя за него. Если бы они подошли потом и попросили прощения... Но не подошли, только приутихи в классе, и уроки от этого будто стали еще длиннее. Если бы вернуть то время...

Алексею Старкову раньше казалось, что этот поселок отдалился от него, остался там, в далеком теперь детстве. Он отвык от него и полюбил город, в котором живет сейчас, и между Крутовым и понятием родина в мыслях его не возникало никаких связей. Но сегодня, стоя под деревом детства, он понял, что это совсем не так, связь есть. Все, что было с ним вчера, неразрывно с Крутовым и людьми, живущими в его сознании.

Казниться было поздно. А отнеслись тогда к Августе Николаевне иначе не мог. Не смог даже тогда, когда за чаем на Лешкин вопрос: «Что это такое с Ай-яй-яй, болезнь у нее, что ли?» Отец ответил: «Война — вот и вся болезнь. Посмотрел бы ты на нее, когда мы Холмы у немцев отбили. Что они с ней сделали...»

«Будет тебе при детях-то», — оборвала мать. Отец уже не впервые рассказывал, как они всего на два часа оставили Холмы. Откалились, наверное, в десятый раз, и нужно было снова, в одиннадцатый, вставать во весь рост... Взбегать на перепаханный снарядами, неприметный, но, наверное, очень важный в прошедшей войне бугор.

«Пожалуется на вас еще раз — такую же болезнь и тебе со-творю», — добавил отец.

Макаренко отец не читал и попытки оставить Лешку без ушей предпринимал неоднократно.

Лешка не понимал тогда, что скрывается за недомолвками, и удивлялся, почему взрослые делают трагедию, а что-то подобное и происходило в их школе. Теперь, с колокольни сорокалетней жизни, Старков видел все намного четче, чем тогда, находясь и живя в нескольких шагах от Августы Николаевны и Поповича.

Где же эта надпись, «Попович»? Алексей без труда отыскал ее на дереве.

Был у них в школе такой учитель, Алексей Васильевич, вел он, помимо русского языка, военное дело. Прозвали его Алешей Поповичем потому, что очень уж Алексей Васильевич был похож на одного из богатырей на известной картине Васнецова. Настолько похож, что прозвать его иначе было просто невозможно. В школе его уважали, а может, боялись, кто знает. Пожалуй, скорей, боялись.

Попович уезжал на войну в кузове той же полутонки, что и Августа Николаевна. Был он душой ребят, по крайней мере, тех, кто любил гонять мяч. Он не стеснялся бегать по полю со школьниками наравне. И если раззадоренные игрой ребята угнали его в защиту из нападения, покорно убегал ближе к своим воротам. Лешка Старков не помнит случая, чтоб Попович пропустил хоть один футбол. Если не играл сам, то сидел среди публики и, азартно переживая, грыз ногти.

Но все послевоенные годы, что видел его Старков, Попович ни разу, ни при каких, даже самых смешных обстоятельствах не улыбнулся. Попович разучился на войне улыбаться и почти не говорил о том, что не относилось к уроку.

Удивляла несокрушимая размеренность, с какой жил Попович. После уроков, даже если Августа Николаевна оставалась с кем-то заниматься, он поджидал ее в сквере напротив школы и провожал до дома. Так получилось, что Лешке несколько раз пришлось идти за ними. За всю дорогу ни Попович, ни Августа

Николаевна не произнесли ни слова. Только дойдя до дома Августы Николаевны, Попович пожал ей руку и коротко бросил: «До завтра, Гутя». Потом шел к себе домой через весь поселок. По пути заходил в магазин, брал чекушку водки и весь вечер не выходил из дома, что бы на улице ни происходило.

Лешкин отец говорил об Алексее Васильевиче: «Настырный мужик, только не пойму я, кто из них кого морочит. Так, видно, бобылями оба и проживут». Но эти проблемы были тогда выше Лешкиного разумения, и он в них не вникал.

Перед Алексеем Васильевичем Лешка, как ни странно, не чувствовал себя виноватым, хотя было за что. Как-то Лешка попытался выкинуть с Поповичем шутку, но она чуть не обернулась против него же. И дело-то получилось совсем пустяковое. Подговорил ребят перед уроком военного дела крикнуть не: «Здравствуйте, товарищ военрук!» — как полагалось, а «Здравствуйте, товарищ генерал!» А что получилось? «Здравствуйте, товарищ...» — крикнули все ребята и замолчали: то ли испугались, то ли растерялись, а Лешка, зачинщик, единственный из всех рявкнул в наступившей тишине: «...генерал!» Попович молча показал рукой на дверь, и Лешка побрел в коридор.

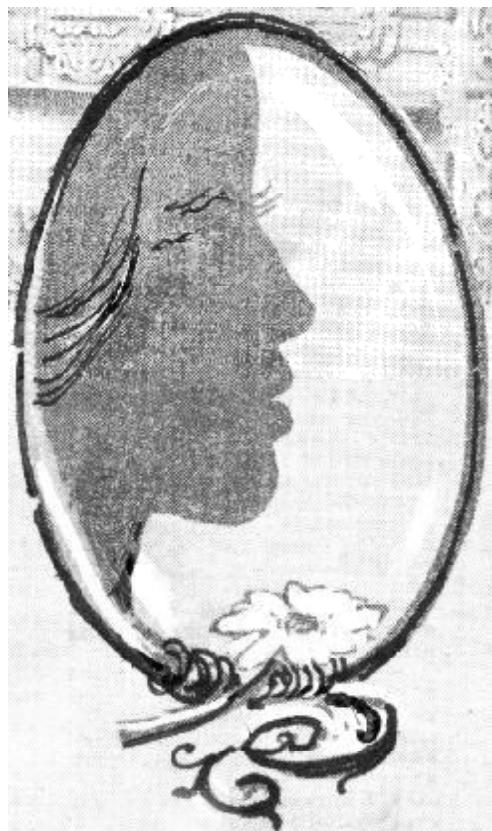
А ребята, взяв «мелкашки», пошли в карьер стрелять. До слез обидно стало, и, поборов гордыню, Лешка подошел к военруку: «Разрешите встать в строй?» — попросил он. «Зачем?» — «А вдруг опять немцы». Попович задумчиво посмотрел на Лешку и произнес: «Вставай». Вот и весь случай. Стыда и угрызений совести Старков за него не испытывал.

И еще Старкову врезалось в память, как несли Алексея Васильевича по Неворотимой в длинном-длинном гробу. Попович и при жизни был высок ростом, а сейчас, казалось, сделался еще больше. Умер он перед самыми выпускными из седьмого класса. Несколько дней не доучил ребят. Просто не пришел на урок, и все. Директор объявил, что ребята могут идти домой, что Алексея Васильевича больше нет, сдвинулся с места в груди какой-то осколок, и учителя не стало.

Лешка впервые увидел Августу Николаевну растерянной и молчаливой. На похоронах она подходила к ребятам и заглядывала каждому в глаза. Она доучила их до девятого класса и ушла по инвалидности на пенсию.

В школу приходили новые учителя. Обращались они к ребятам вежливо и на вы, но как-то быстро уходили, переводились в городскую школу из поселка, и Лешка почти никого из них не запомнил. Появлялось даже сожаление, что ребят не выгоняют за дверь, не оставляют после уроков...

Старков оторвал от дерева плечо и шагнул на дорогу. Придется ли ему еще раз побывать в Крутове? Если и придется когда, то дерева этого уже, видимо, не будет. Ветла стала совсем старой и начала сохнуть. Когда ветла упадет, то ее никто не возьмет даже на дрова. Древесина ее вязкая и горит плохо.



# Люзия



Виктор Лапшин

## ПИСЬМА

Т.Зайцевой

Есть такие у нас почтальоны,  
Что нельзя нам с ума не сойти,  
И один лишь министр обороны  
Нас от них был бы в силах спасти.

Взять меня: дом купил я, вселился;  
Только грузчики с песней ушли, —  
Трепыхнулся звонок и залился:  
Телеграмму мне приволокли.

Тыфу ты, мне — и не мне. Через силу  
Почтальону я не нахамил.  
«Мира 10 Шпаку Михаилу»?  
А какой из меня Михаил?

Что ни день, как по тайному знаку,  
Писем вихрь в захолустье лесном!  
И везло же Шпаку или Шпаку:  
Целый месяц — письмо за письмом.

Я твержу: «Нет былого владельца  
Или, если хотите, жильца:  
Помер он иль куда-либо дедся.  
Не ходите ко мне без конца».

Но на почте умеют кудесить —  
Словом давят, как будто свинцом:  
«Это улица Мира, дом десять?  
Получите — и дело с концом».

С колыбели о письмах мечтаю  
От каких-то Ковригиных Оль!..  
Получаю, со скуки читаю, —  
Если дело с концом, то изволь.

Пишет Оля: «Заехал куда ты!  
О свидании думать смешно:  
На дорогу не хватит зарплаты,  
Да и денег не платят давно.

## В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

Тяжко мне в этой одури пошлой,  
Нужно сердце иметь из кремня.  
Как ты там: не гуляешь, не пьешь ли,  
Вспоминаешь ли, милый, меня?»

Как же, вспомнит бродяга залетный!  
Отовсюду исчез невзначай  
Он со всею своей подноготной, —  
За него, дурака, отвечай.

И отвечу! Не стану я милым  
Для нее, так себе-то я мил!  
Не бывать мне вовек Михаилом,  
Но по отчеству я Михаил.

Отвечаю: «Строчишь ты впустую:  
За бугор усвистал твой прохвост.  
Не тревожь мою жизнь холостую,  
Ненавистен мне страсти хаос».

Мне она: «Я конверт целовала!  
Напугал меня розыгрыш твой.  
Не горюй: на билет я достала,  
Распрощаюсь навеки с Москвой».

Оля, Оля, что делать с тобою!  
Боже, что Ты со мной сотворил!  
Пол я красил и kleил обои,  
Пылесос за неделю спалил.

Изождался ее я до дрожи.  
Увидал — хоть за сердце держись.  
Что за диво — ни кожи ни рожи,  
Но дороже ее только жизнь...

Всей душою я к ней устремился.  
Мудрено ее лепет понять:  
«Как ты, миленький мой, изменился —  
Посерьезнел, совсем не узнать!»

Хорошо под одною нам крышей:  
Даже ссоримся мы по любви.  
Назвала она первенца Мишней, —  
Наплевать, хоть горшком назови.

Луны светился четвертак,  
А под луной сидел казак,  
Такое дело.  
Он мирно трубочкой пыхтел.  
И только в хату захотел —  
Зашелестело.

«Собака блудная, чи шо?  
А, гость незваный! Хорошо.  
Входи во двор-то:  
В кустах крапивно, гостенек».  
Хозяйка взмыла на порог:  
«Какого черта?

А ну-ка, с глаз моих долой!  
Развейся во поле золой,  
Проклятым прахом!»  
Казак жене: «Захлопни рот!  
Пускай незваный отдохнет...  
И выпиваю».

Хозяин гостя — пальцем в грудь:  
«Куда, дурашка, держишь путь?»  
«В Святую землю.  
Господень гроб узреть хочу».  
«Отведай прежде первачу,  
Дай волю зелью!

Не пьешь?.. Явился почему ж?»  
«Твоей жены я прежний муж,  
Зашел проститься».  
«Ах, вот что! Ладно, коли так.  
Не друг ты мне, но и не враг.  
Прошу садиться.

Точить я лясы не люблю,  
Пойду тебе я постелю.  
Все люди!»  
«Нет, не останусь и на час:  
Не дай Господь, поссорю вас —  
Да и навеки!»

«Прощай и зла не помни, брат!  
Вот каравай да сала шмат, —  
Поешь без соли.  
Тебе и так я насолил...  
За нас, прия в Ерусалим,  
Молись поболе».

\*

Побрел паломник. У окна  
Всплакнула прежняя жена:  
Бедняжка пальцы  
Сковородою обожгла.  
Казак вскричал: «Гори дотла!  
В окно не пьялься!»

\*

Плетется странник налегке  
К Пучай-реке, к Печаль-реке  
В сердечном стоне.  
Чу, близится стук-перестук...  
И окрик с посвистом... А вдруг  
За ним погоня?

В кусты бы — ни кусточка нет!  
Неужто из-за трех монет  
Сейчас прирежут?  
Паломник напрягает зрак...  
Да уж не женин ли казак  
В пылище брезжит?

Он самый! Скачет, словно бес.  
Ахти, ружье наперевес!..  
Скольз в Сивке бегу!  
Брос в землю с маху жеребец, —  
Вскричал казак: «Святой отец,  
Давай в телегу!

Котомочку на сено брось.  
Помчимся — задымится ось,  
Затлеет сбруя!  
Коль не с молитвой, так с мольбой  
В Святую землю, брат, с тобой  
Навек уйду я!»

«Помилуй Бог, а как жена?»  
«Тебя же предала она —  
И мне изменит.  
От злобы затряслась, змея:  
Зачем тебя приветил я, —  
Аж губы пенит!»

Тростник шуршит без ветерка.  
Маняще пламенна река.  
Мир миром полнит.  
И тут, свирепо-весела,  
Из плавней прянула стрела, —  
Пропал паломник!

Вздохнул — и закатил глаза.  
Заволокла его слеза  
И синь, и зелень.  
Пророкотал казачий бас:  
«Вот и пришел один из нас  
В Святую землю».

Копал казак до темноты,  
С молитвой поменял кресты,  
И над могилкой  
Он смертную свою тоску  
И злое колотье в боку  
Залил горилкой.

На холмик осталъ расплескал  
И жеребца запонукал, —  
Ядрен овес-то!  
Спешит казак в Ерусалим,  
И неизменно перед ним  
Голубка вьется.





\* \* \*

Удачи давние не в счет,  
Но муки памяти так ясны,  
И лица дальние — прекрасны  
И не придуманы ни в чем.  
Не в тягость — помнить о былом  
И просто верить, сладко верить,  
Что где-то есть на свете двери  
И ждут, как раньше, в доме том,  
Где ты в согласье жил с мечтой,  
Где молод был, и время ныне  
Благодарить — за все!.. За то,  
Чего и не было в помине.

\* \* \*

Клятвы и слезы — все позабыла...  
В городе людном, глаз не тая,  
Птицею пела — вот как любила! —  
Да улетела в чужие края...  
Ладно, построю дом над рекою,  
Из лесу птицы слетятся к жилью.  
Окна раскрою, душу открою  
Птице-синице, дрозду, соловью.  
Солнце на листья бросит монисто,  
Травы зернисто росы прольют,  
Ладным да чистым щебетом-свистом  
Вдруг да и вылечат душу мою.

\* \* \*

Пустое все... Сварю покрепче чай,  
Табак — сухой, а зимний вечер — долог.  
Поближе к печке уложу печаль —  
Озябла, чай! — и занавешу полог, —  
Спи, милая! Надежен старый кров.  
Заветный том, припрятанный до срока,  
Раскрою вдруг — и жарко прянет кровь!  
Веду себя на дивный праздник Блока.  
Вино свиданья пью. Глотаю вновь  
Знакомых слов внезапную отраву  
И целый мир наследую по праву...  
И смерть — на миг, и навсегда — любовь.

\* \* \*

Ни беднее я не стал, ни богаче.  
Много ль надо дураку-соловью?..  
Ты надеялась, что горько заплачу?  
Черта с два! Я только звонче пою!  
Я печаль-тоску развею по ветру,  
По веселой, разудалой волне.  
Ты скользила все по верху, по верху,  
А песчинки-золотинки — на дне!  
Наше — с нами. Быть не может иначе.  
Много ль надо дураку-соловью?..  
Без тебя я так поверил в удачу —  
Даже песни задушевней пою!

\* \* \*

Странных снов — обманных, зыбких —  
Вся-то ночь полна!..  
Что за звук из хлипкой скрипки  
Тянет сатана?  
Чьих желаний отраженье —  
Этот сон и бред,  
Где блаженство и мученье,  
А развязки нет?  
Околдован властью звука,  
Весь горю в огне...  
Может, будущая мука  
Нынче снится мне?..

\* \* \*

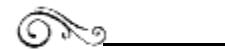
А припомнилось что? Подорожник  
В сероватой пыли да репей...  
Да еще — горлопан и безбожник! —  
Во всю лунную ночь — соловей...  
Да в блаженную пору рассвета —  
Горький запах примятой травы...  
Да еще, что в далекое лето  
Так любили беспамятно Вы...

\* \* \*

Поздно: учиться «петь-танцевать»,  
Шаркать подошвой по жаркому кругу.  
Стыдно: поклоны впрок раздавать,  
Пылко влюбляться в столичную выногу,  
Верить пожатью казенной руки,  
Честью платить за натужную милость.  
Время: свои подытожить долги,  
Благо достаточно их накопилось.  
Время: припомнить былые грехи,  
Чтоб понапрасну душа не гордилась.  
Время: вчитаться в чужие стихи,  
Чтоб от своих голова не кружилась.  
Время: последнюю выгрести медь,  
Но до копейки за все расплатиться,  
И до рассвета успеть умереть,  
Чтоб на рассвете свободным родиться.

\* \* \*

Запад зноящим сеет дождем.  
Верить устанем.  
Грусти старинные свечи зажжем,  
Лето помянем.  
В тонких незвонких стаканах вино  
Смешано с болью.  
Горькой любовью пахнет оно,  
Горькой любовью.  
Где ж ты была, дорогая моя,  
В годы другие?  
Кто их придумал — эти края,  
Злые, чужие?  
Эти дороги — на сто разлук  
Выпадет встреча...  
Что же ты рвешься птицей из рук,  
Крылья калеча?  
В омут горячий шагнем — пропадем,  
Ночью очнемся.  
В разные жизни уйдем под дождем,  
Не обернемся...



## АЛЕНУШКА

Земляника в лесу поспела.  
Колокольчики на лугу...  
Много песен ты мне пропела,  
А наслушаться не могу.

Все березки — твои подружки.  
Каждой пташке твой голос мил.  
Я разочек тебя послушал —  
И застенчиво полюбил.

В каждой песне твоя улыбка,  
От которой мне так светло!  
Каждой ветке березы гибкой  
Отдаешь ты свое тепло.

Пусть запрячется в тучи солнышко,  
Мы согреемся как-нибудь.  
Незабудка моя, Алленушка,  
Не забудь меня, не забудь.

\* \* \*

Сменилась декорация  
В моем окошке узеньком.  
К тебе не смог добраться,  
Сижу несчастным узником.

Не смог набраться храбрости,  
Пока была замазана  
Багряным цветом радости  
Тоска зеленоглазая.

Метель хвостами лисьими  
В стекло стучится черное.  
На календарном листике  
Число уже нечетное.

Гремят шаги по лестницам —  
Проделки ветра пьяного.  
Мне за окном мерещится  
Твое лицо румяное.

С соблазном трудно справиться,  
На волю выйти хочется.  
Кому еще понравится  
Такое одиночество?

\* \* \*

Полет шмеля тяжеловесней  
Твоих шагов из темноты.  
Приди ко мне, порадуй песней  
Необычайной красоты.

Из-под ресниц прохладой вея,  
Моргают бледные цветы.  
Мне снится сказочная фея.  
Как на нее похожа ты!

Мерцают звездочки тревожно,  
По небу черному скользя.  
В твою любовь поверить сложно,  
Но не желать ее нельзя.

Едва рассвет в окне забрезжит,  
Бесшумной тенью ты уйдешь.  
И от моей печали прежней  
Уже следочка не найдешь.

\* \* \*

Одарила своим появлением  
Темный скит без огня и души.  
Уходила с таким сожалением,  
Хоть садись и романы пиши.

Но роман ли? Что с нами случилось?  
Не туман ли меня закружил?  
В том тумане ты ясно лучилась.  
Я родился и заново жил.

Я родился красивым, крылатым,  
Две стези во единую свел.  
И под взглядом твоим виноватым,  
Словно папорот, в полночи цвел.

Ты ушла, ты сорвать не решилась,  
И померк обезличенный мир.  
Знать не надо, чего ты лишилась:  
Или свет этот станет не мил.

\* \* \*

Ногам не даю покоя.  
Хоромы мне стали тесными.  
Брожу над ночной рекою.  
Русалок прельщаю песнями.

У лешего храп могучий.  
Лохматому все до лампочки.  
Я елкам, сбежавшим с кручи,  
Приветливо гляжу лапочки.

Под вербой, у кромки берега,  
Где ветер жует сенинки,  
Мне встретился зайчик беленький  
С письмом от самой Синильги.

Пойду поскорей, порадую  
Красотку зеленоглазую.  
Похвастаюсь ей нарядами,  
По сосенкам с ней полазаю.

Сокровищам знаю цену я.  
Недешево стану спрашивать,  
Бруслики лукошко целое  
Нарву ради счастья нашего.

\* \* \*

Под окошком у Ирины георгины,  
Да такие, что пером не описать.  
Пригласит она меня на именины —  
Буду мекать, кукарекать и плясать.

Не провалятся полы под каблуками.  
И без ладу до упаду доплящусь.  
Улыбнется — окажусь под облаками  
И на облаке кровями распишусь.

Знаю, кровушка у Иры голубая.  
Не слепая — видит всю мою беду.  
Разрыдалась бы, расплакалась любая —  
От Ирины я сочувствия не жду.

Несгибаемый характер у богини.  
Но заплачут-зарыдаут под окном  
Георгины, голубые георгины,  
Из окна того облитые вином.

\* \* \*

Межу нами не пропасть, не горы —  
Небольшой разговор по душам.  
Может, я нехороший, но гордый.  
Ты не гордая, но хороша.

Словно лопнули струны гитары,  
Рухнул мост меж крутых берегов.  
Только кажется мне, что недаром  
Заменял я собой бурлаков.

Огибая коварные мели  
И садясь отдыхать на пеньки,  
Мы немало с тобой одолели  
Километров опасной реки.

Неужели у самого устья,  
Сердцем чувствуя пенный прибой,  
Без улыбки, без слова, без грусти  
Мы навек разойдемся с тобой?



Татьяна Иноземцева



\* \* \*

Под шершавой у речки вербою  
Не грусти весь день, не грусти.  
Это просто такое дерево,  
Что нельзя ему расцвести.

Не ласкают кору корявую  
Ни ветра, ни горячий взгляд.  
Всем черемухам не по нраву  
Этот скучный ее наряд.

Зря и ты, проходя по берегу,  
Греешь листва ее в горсти.  
Это просто такое дерево.  
Ты прости...

\* \* \*

Ничем судьба не обошла,  
Всего довольно было.  
Великой страстью обожгла,  
На две не поделила.

Пустыней белою — постель,  
Душа в ночи бедует.  
Неисправимая метель —  
Над памятью колдует.

\* \* \*

Сгинула бы я в грехов болоте,  
Страстью захлебнулась, только вот  
Править бал неукрощенной плоти  
Укрощенный разум не дает.

Свыше всяких сил единоборство!  
И в себе по десять раз на дню,  
Грешному началу не потворствуя,  
Я жестоко женщину казню.

Ворожу, сама себе пророчица,  
И, ночами мучаясь без сна,  
Вру, что на Голгофу одиночества  
Не тобой была возведена.

Не тобою предана, крещеная,  
Роковой мой, страшный человек,  
Вечная обида непрощенная,  
Кара безысходная навек.

Бесконечной пыткой обессилена,  
Мукой изошла живая плоть.  
Но вдвоем еще невыносимее.  
Пощади, Господь!

\* \* \*

Плынут туманы над рекой,  
Исходят ивы в воду плачом...  
Не посягай на мой покой,  
Он дорогой ценой оплачен.

Стараюсь улыбаться весело,  
Душевной болью не давлюсь  
И призрачное равновесие,  
Как счастье, потерять боюсь.

Живу неправильно, наверное,  
У одиночества в раю,  
С улыбкой хрупкою и нервною  
Пугливо на заре встаю.

Мне предсказали — перемелется,  
Все станет доброю мукой.  
Вчера остановилась мельница,  
Но ива плачет над рекой.

Земля — как странно! — все же вертится  
В молчанье лопнувшей струны.  
А мне еще так трудно верится  
В необратимость тишины.

\* \* \*

Ты будешь одинок, пока меня не встретишь,  
Покуда не прозреешь, не поймешь:  
Других похожих нет. И что на этом свете  
Есть я одна. Все остальное — ложь.

Пока душа не стала пепелищем,  
Измученного придержи коня.  
Ты будешь одинок, пока напрасно ищешь  
В других — меня.



Елена Балашова

## ОТТЕПЕЛЬ

В день сумрачный сырого февраля  
Вдруг затоскуешь черною тоскою  
О том, что утром звонкая заря  
Не вспыхнула над спящую рекою.  
О том, что с крыши — не вовремя! — капель,  
Что хочется февральской дикой вынги,  
Чтоб снег, как вор, вползал в любую щель  
И предлагал бы зимние услуги,  
Чтоб кошка размурлыкалась — к теплу —  
На жаркой печке вечером домашним  
И чтобы пах оттаявший тулуп  
Полузабытым, сладостным, вчерашним...  
Но день сырой ползет едва-едва,  
И лень пошевелить рукою даже,  
Чтоб записать ненужные слова,  
Которые сырой февраль подскажет.

## В САДУ

Давай с тобою выйдем в сад,  
Давай-ка выйдем в сад...  
Какие белые весной  
Деревья там стоят!

Как нежен, невозможна чист  
Там каждый лепесток!  
Там ты скворца услышишь свист —  
Поэзии исток.

Давай-ка просто помолчим,  
Давай-ка помолчим...  
Ведь к болтовне там нет причин,  
Там нет совсем причин.

Замри — и слушай, и смотри,  
И слушай, и смотри...  
А понял что — не говори,  
Смотри, не говори!

## ИЗ ДЕТСТВА

Мгновенья счастливые перебирая,  
Помню, все помню, забыть не могу,  
Как по тропинке бегу я — босая,  
Босая, маленькая, — бегу.

Мама мне сшила новое платье,  
Новые ленты в косы вплела.  
Счастье еще так по-детски приятно...  
Еще и черемуха не цвела...

Шлепают, шлепают звонко пятки.  
По тропинке, босая, бегу.  
Детское счастье, как же ты кратко!..  
До сих пор забыть не могу.

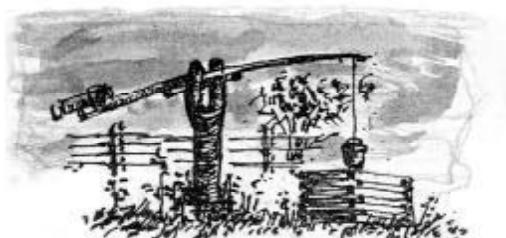
\* \* \*

Качает ветер провода,  
Раскачивает ели...  
Ах, не мои ли то года,  
Курлыча, пролетели?

Проходит день, уходит год...  
Я ни о чем не плачу.  
Ах, не меня, я знаю, ждет  
Там, под окошком, мальчик!..

Сейчас окно приотворю —  
Совсем чуть-чуть, немножко...  
Ах, я, готовясь к январю,  
Заклеила окошко!..

Гудят от ветра провода.  
Шумят печально ели.  
Мои года, твои годы,  
Курлыча, пролетели...



Станислав Михайлов

## РАЖАЛОВАННЫЙ ГОРОД

Царицей разжалован город,  
И стал называться посад.  
Он портил, наверно, в ту пору  
Российский парадный фасад.

Ему не хватало достатка —  
Чуть-чуть подкачали купцы,  
Иль, может, не сунули взятку,  
Надеясь на Бога, скупцы.

В России такое возможно:  
Здесь взятка всему голова.  
Подмажешь — все будет надежно.  
А нет — не помогут слова.

Лишаешься всех привилегий,  
Как город лишился тогда.  
По ступицу вязнут телеги...  
Не город... сойдет... ерунда.

Давно отгремела «Гренада».  
Романтиков время прошло.  
Нет больше на карте посада,  
Зато появилось село.

Затихли победные марши,  
И снова крутой перелом...  
Разжаловать некуда дальше —  
Село остается селом.

Негромко живет, как умеет,  
Не лезет опять в города.  
Решило, что будет честнее  
Остаться селом навсегда.

### КОЛОГРИВСКИЙ ТРАКТ

Что за кони! Чудо-гривы!  
Рвутся кони в небеса.  
Седока до Кологрива  
Донесут за три часа.

По дороге, как по ленте,  
Отбивают ноги такт.  
Позади посад Парфентьев,  
Впереди широкий тракт.

Мчатся кони... Лес да поле...  
Снова поле, снова лес...  
Все знакомое до боли.  
Это мне приснилось, что ли?  
Только сон — увы! — исчез.

Обезлюдев тракт разбитый,  
Лесом поле поросло.  
Неужели позабыто,  
Что давным-давно прошло?

Эх вы, кони! Кони-птицы!  
Вьется пыль из-под колес.  
Или, может, мне родиться  
Слишком поздно довелось?...

### МОЛИТВА

Я плакать не хочу,  
Смеяться — тоже.  
Поставлю к образу свечу —  
Прими, о Боже!

Наедине с Тобой скорблю  
О суете и шуме.  
Не осуди — Тебя молю —  
Моих раздумий.

И я был там, средь суеты.  
Грешил — довольно.  
Не замечал я темноты...  
Вдруг стало больно.

Вдруг кто-то чиркнул по груди,  
Как будто бритвой.  
Молю Тебя — не осуди.  
Прими молитву.

Прости: по-своему молюсь —  
Не по канону.  
В уста мои вложила Русь  
Мольбы и стоны.



Татьяна Дмитриева

### ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Луч солнца тучи низкие прорезал  
И лег пятном горячим на песке.  
И капал дождь все реже, реже, реже,  
Чуть всхлипнув на протянутой руке.  
А в лужах дети пятками босыми,  
Задрав штаны, разбрзгивая смех,  
Свой светлый мир старательно месили,  
Один, как слово Родина, — на всех!  
И пахло свежевыкошенным сеном  
И чем-то очень близким, дорогим...  
И бесконечно длинной, откровенной  
Казалась жизнь, как на воде круги.

\* \* \*

На обед — картошка с солью,  
А на ужин — с хлебом чай...  
Эх ты, доля моя, доля —  
Обгоревшая свеча.

Вот уж раз, наверно, пятый  
Простыню себе чиню.  
От зарплаты до зарплаты  
День мой тянется по дню.

А с зарплаты на сапожки  
Надо дочке отложить.  
Заржавеют скоро ложки,  
Если дальше так же жить.

Воровать — не научилась,  
На панель — уже стара,  
А стихи, что настрочила,  
Не возьмут редактора.

Я бы спела о сирени,  
О весне и о любви,  
Только нету вдохновенья  
Для таких стихотворений —  
Вот такая «се ля ви»...

\* \* \*

Мне везет на хороших людей!  
Я, признаюсь, сама неплохая:  
И друзей не бросаю в беде,  
И врагов из беды выручаю.  
Я по свету немало прошла,  
Где — проездом, а где — с остановкой,  
Был братишкин армейский бушлат  
И подушкой моей, и обновкой.  
Брюки, куртка, штормовки брезент,  
В худшем случае — туфли с дырою,  
Кроме шуток, для верных друзей  
Не играют существенной роли.  
А на шутку обидеться — грех:  
Жизнь без шутки грустна и печальна.  
Без обиды разделим на всех  
Смех, когда «по одежке встречают».  
На работе, в вагоне — везде  
С каждым часом и днем убеждаюсь:  
В мире все же добро побеждает,  
Мне везет на хороших людей.

\* \* \*

Выйду я на утренней заре  
В серебро заснеженных акаций.  
Звякнет цепь колодца, и в ведре  
Месяц будет ковшиком плескаться.

Спит еще мой тихий городок,  
Редкий свет в окне и дым над крышей.  
Многоточье из моих следов  
Робко на снегу строку напишет.

О бессонной ночи и о том,  
Как звезда в окно ко мне светила,  
И взыхал уставший за день дом  
О своем о чем-то, и грустил он.

Как, перелистнув еще одну  
Разноцветных дней моих страницу,  
Изредка, пугая тишину,  
Ночь скрипела старой половицей.

С каждым годом стали все длинней,  
Словно волчий вой зимою, — ночи,  
Но так не хватает часто дней,  
Чтобы стала цепь забот короче.

Выйду я на утренней заре,  
Легкими мороз вобрав до боли,  
И при виде стайки снегирей  
Улыбнусь с надеждой и любовью.

\* \* \*

Слышно, как в печи огонь  
Беззаботно пляшет.  
Обведу твою ладонь  
На листе бумажном.  
Обведу, потом свяжу  
К Рождеству перчатки,  
Но — ни слова не скажу,  
Чтоб не осерчал ты.  
Ты безропотно смолчишь,  
Улыбнувшись кротко,  
Лишь огонь вздохнет в печи,  
Усмехнется: «Вот как?!..»

Вот как! Сердце на ветру,  
Ошалев от ласки,  
Вдруг доверится перу  
В выдуманной сказке...  
Обведу твою ладонь  
Рядом со своею,  
Мне не стать твоей бедой,  
А тебе — мою.  
Мне не стать твоей весной,  
Я тебе — вполроста!  
Мне любить тебя — грешно,  
Не любить — непросто...  
Только к солнцу все равно  
Тянется былинка!  
Вот такое вот кино —  
Явочка с повинной...

\* \* \*

Опять весна зовет меня дорогами,  
За марево туманов уходящими  
Туда, где все мы были босоногими,  
Туда, где все мы были настоящими.  
Там травы пахнут радугой и грозами,  
Там омыты — теплом сердец согретые.  
С повисшими на лучиках стрекозами  
Там лягушки желтеют неприметные.  
Там — девочка с соломенными прядками,  
Упругий стебелек, под солнцем выросший,  
Мечтавшая одним глазком, украдкою,  
Взглянуть на день свой завтрашний —  
мой нынешний.  
Там день — такой большой,  
такой безоблачный,  
А мир — так прост,  
и так смешны в нем взрослые!  
А мы в руках у бабушки, как в обруче, —  
Все вместе и по свету не разбросаны...



Ольга Колова

### ЗА ЧАЕМ

«Пей, ду-у-ра... — приговаривала бабка. —  
Пей, дуронька... Еще добавлю, чай.  
Подложь-ка сахарку, коли несладко.  
Я даве мяты насыпала в чай.  
Да не стесняйся, андел, не стесняйся!  
Автобус-от не скоро, чай, подет...  
Поди взопрела, да как разболокайся.  
Вон, погляди-ка, ноне огород  
Не посадила. Нету боле силы.  
А пензии-то много ли дают...  
Все — на лекарства (чтоб им пусто было).  
А без бутылки рази ведь подут  
Работать-то?.. Еще заране спросят.  
Коль нет — «копай-ка, старая, сама!»  
Землицу жаль. Траву-то Танька скосит  
Козе. Пырей да сныть подут в корма...  
Да рази можно так-то?!. Ведь землица  
Ухоженная сэстоль-то годо-о-ов!  
Да матка деток вряд ли докричится,  
Доколь нужда сама из городов  
Не выгонит...

Пей, ду-у-ронька... Я стала  
Совсем стара — не вижу ничево.  
Намеднись Галька в Питер написала  
Сынку мому подробное письмо.  
Да што-о-о!.. Там у ево жена да детки.  
Куды ему, сердешному, со мной...  
Помру уж здесь, понастарят соседки.  
Приедет помянуть да дом-от мой  
Продать. Ведь туточки лежать охота.  
Родное все!.. Нали душа болит.  
Пей, ду-у-ронь-ка...»

\* \* \*

А.А.Мухиной

А у нее глаза синее неба,  
У бабки той, что Анною зовут.  
Накупит в магазине гору хлеба —  
На всю родню, что проживает тут.  
Девятый уж десяток разменяла,



А все — добра, улыбчива, бодра.  
Всё — для других, а для себя — нимало.  
Лишь зачерпнет водицы из ведра  
Да самовар поставит под иконы,  
Молитовкою день благословив...  
Как яблоня в саду, с земным поклоном  
Несет души свой золотой налив.

\* \* \*

Осень вспугнет птички стаи пожаром рябин.  
Нехотя клин журавлинный потяняется к югу.  
Как не грустить, оставаясь один на один  
С нудным дождем, протянув одиночеству руку?  
Как не проститься навеки с заветной мечтой,  
Сердце вручив безысходности плачущей дали?  
Только спасенье — надежду пустить на постой,  
Благо непомнит она, как ее предавали,  
Жгли на кострах... Но потом у Святого Креста  
Бога просили послать нам ее во спасенье.  
И возвращалась она, как сама простота,  
С первой доверчивой ласточкой в небе весеннем.  
Снова сентябрь разжигает шальные костры.  
Да не смутият мою душу туманы седые.  
Бабьего лета пора. О, как чувства остры!  
Словно над бездной душа. А на срыве? На взмыве?..

\* \* \*

Хватаясь за соломинки лучей,  
Вдруг оживиши забытые виденья  
Из детства, милые... И растворятся тени —  
Неясные подобия людей.

Останется лишь световая суть —  
Та, высшая и внятная лишь детям,  
Которой мы, взрослея, только бредим,  
Когда случится высоты глотнуть.

И в этом озарении любви  
Зло обнаружит все свое бессилье.  
Ведь за спиной у встречных видишь крылья!  
Такие же большие, как твои.

И даже после, в суете земной,  
Когда и крылья некогда расправить,  
Не покидает солнечная память.  
И тень все реже, реже за спиной.



Евгений Разумов

\* \* \*

Доберешься на попутке  
до родимого села,  
где завяли незабудки,  
а крапива — расцвела.

Ни крылечка, ни березы —  
только уголья в траве.  
Вот и вышел из колхоза  
дом, доставшийся вдове.

Церковь, окнами зияя,  
кто крещен, кто не крещен,  
не расскажет, двери рая  
подперев щепой икон.

В остальном — и сено косят,  
и коров пасут, и рожь  
к элеватору подвозят...  
Жизнь идет... И ты идешь.

Поздороваешься. Вроде  
и не дачник, и не гость...  
И при всем честном народе  
зачерпнешь суглинка горсть,

где и праотцева доля,  
и праматери юдоль...  
А ведь с виду — просто поле,  
поперек земля и вдоль.

## «ПЕРЕПИСЬ В ВИФЛЕЕМЕ»

Из цикла «Питер Брейгель»

Цедят вино из бочки. Режут свинью на ужин.  
«Да Вифлеем ли это?» — спросит усталый путник.  
Хмуро кивнет прохожий. Голос его простужен.  
Мальчик на льду играет, в прорубь макая прутик.

Возле гостиниц тесно. Перепись потому что.  
Даже хибара ведьмы, что не сожгли когда-то,  
служит сегодня кровом. Чаем поит старушка  
тех, что бросали камни. Пьют, ничего, ребята.

В общем, денек обычен, кабы звезда не висла  
вон, где из меди флюгер, кабы не эти двое:  
женщина и мужчина (что им земные числа  
переписи какой-то, если в душе — такое!..).

Ставни скрипят и двери. Нет под луной места,  
видимо, для младенца. Только в пещере разве.  
Где-то гудит волынка. Где-то звучит челеста.  
Ослик жует солому. Бычья грустны подглазья.

В общем, и ночь обычна, кабы не свет небесный,  
кабы не стук младенца ножкой внутри Марии...  
Что остается миру — свет Рождества исчезни?..  
Каменный шар, откуда в небо глядят слепые.

\* \* \*

Дубовой аллеей брести бы  
все дальше и дальше — туда,  
где спят кистеперые рыбы  
под вечною ряской пруда.

Но взгляд упирается в стену  
усадьбы (больницы уже),  
где я распащенку надену,  
примеривши тело к душе.

Под мамой скрипит половица.  
Отец — вдвое младше меня.  
Казенная лампа на лица  
роняет полоски огня.

Дубов паникарповских короны  
сплетутся над нашей судьбой.  
... А цвет усадьбы — зеленый.  
А свет у небес — голубой.

Застыну среди иван-чая —  
по сути, стариk стариком.  
И что я для них означаю —  
небес этих с тем мотыльком?..

\* \* \*

Зеваet ангел на комоде,  
и муза крутит бигуди.  
Обычный день, каких в природе  
хоть Тихий океан пруди.

Ни чертежа тебе Вселенной,  
ни фотографии Творца...  
Обычный день, где час настенный  
по-над морщинами лица.

Ясней не стало ни на йоту  
твое присутствие среди  
землян, припавших к кислороду  
у этой земляной груди.

\* \* \*

Скачет кузнецик по синей тетради  
мимо чернильных словес.  
Не шелохнусь, на кузнецика глядя.  
Миг — и кузнецик исчез.

Что же осталось?.. В тесовом заборе  
щели... да памяти клок,  
вырванный ими... Мементо, мол, мори...  
Помни, кузнецик, урок!..

А на кузнецике — новая кепка.  
Сабелька в детской руке.  
Крепко запомним друг друга мы, крепко...  
Он у меня — в кулаке!..

Глядь, на морщинистой коже — прожилки.  
Пригоршня — странно — пуста.  
Смотрит кузнецик без всякой ухмылки,  
смотрит вслед мне с куста.



## НЕИЗВЕСТНАЯ

На автобусной задней площадке  
Нравы до неприличья жестоки.  
И, напротив, изящны повадки  
Обитателей джипа «Чероки».

Там, в лиловом велюровом лоне,  
Эту женщину вижу опять я —  
С черной бровью в пикантном изломе,  
С будоражающим вырезом платья.

Не боясь пролетарских ухмылок,  
Тянет пиво, ладошку шлифуя  
О квадратный напильник-затылок  
Златозубого обалдуя.

Но меня ее шарм не обманет.  
Тянет пиво венерина жрица,  
А ее, истомленную, тянет  
С этим раем постылым проститься.

А ее манит запах ольховый,  
А ей руки шершавые сладки.  
Я машу ей кепчонкой рублевой,  
И кричу, и смеюсь, как в припадке.

Но ответом на жест мой широкий  
Блеет козликом Саша Айвазов.  
Обитатели джипов «Чероки»  
Холодны к пассажирам «лиазов».

Эх, сейчас бы да врезаться в поезд!  
Резь в мозгах, прополосканных крепко.  
Там — велюр и ресницы по пояс.  
Здесь — по-ленински сжатая кепка.

## МАГАЗИН «ОСИРИС»

В магазине «Осирис» ничто не напомнит  
Об угрюмом владыке загробного мира.  
На прилавке — пресервы, эстампы, тампоны,  
Разноцветные кегли эдамского сыра.

За стеклом — целлулоидные георгины,  
Но не в честь изумрудноликого бога,  
Лишь в сверкающих банках тугие маслины  
На жуков-скарабеев похожи немного.

Здесь не держат достойный ответ наготове  
Повергающей в ужас космической хляби,  
Лишь пластмассовый пупс в бумазейном алькове,  
Словно статуя Ка Сенусерта в сердабе.

Здесь едва ли отыщется что-то такое,  
Чем питается мысль о грядущем кошмаре,  
Лишь конъячные звезды — как в скорбном покое  
Богоравной великой жены Нефертари.

Не напомнит ничто в этом сонном сусеке  
Об угрюмом владыке загробного мира,  
Только взгляд продавца сквозь защитные веши  
Излучают, похоже, кусочки сапфира.

По-земному шуршат пелерины и юбки.  
Где-то лампа жужжит беззастенчиво-нудно.  
Только чек, что весомо приложен к покупке, —  
Как последний билет на последнее судно.

## КОМЕТА ГАЛЛЕЯ

Городские шумы все вальяжней итише.  
Подостлав обрывок газеты,  
Я сижу с театральным биноклем на крыше,  
Ожидаю подлета кометы.

«То-то в школе прочувствуют, — думаю втуне, —  
Что урок учу не но книгам».  
Вот дождусь галактической этой шатуны  
И в альбом зарисую мигом.

А пока наблюдаю огарки заката,  
Двух мостов прогоны стальные.  
Вот автобус ползет, обессилев, куда-то.  
«Жигули» бегут озорные.

Хорошо как!  
Напротив огни зажигает  
Общежитие «Сельхозстроя».  
Там в окне — вижу — девушка платье снимает,  
А за ним — и все остальное.

Перед зеркалом крутится в образе Евы,  
Элегантно меняет позы.  
Одноклассники, неучи хреновы, где вы?  
В астрономии столько пользы!

Окуляры и мысли кручу ошалело.  
Где ты там, комета Галлея!  
Вместо тела небесного женское тело  
Зарисую в альбом себе я.

И так зябко, так радостно мне временами, —  
Словно колокол звездный слышу.  
Это машут призывно кометы хвостами.  
Вечереет.  
Пора на крышу.

## ВЕСЕЛКИ

«За хлеб, за соль спасибо. Может быть,  
Вы тоже соберетесь к нам в поселок.  
Рыбешку на озерах поудить,  
Попробовать черники и веселок».

Попробовать веселок! Это что ж,  
Языческого буйства отголоски?  
За прялкою сидящая Мокошь  
И черепа барсучьи на березке?

Знать, есть еще глухие уголки,  
Где Тура и Ярилу славить рады,  
Где раздувают страсти угольки  
Бесстыдные славянские менады.

Где мы на утлом капище могли б  
Отдать Велесу в жертву свою робость...  
«Да будет вам! Веселка — это гриб.  
Их в нашей стороне бывает — пропасть!»

Расстаться с милой выдумкой спешу,  
Глушу в себе страдальческие стоны.  
Опять жую вьетнамскую лапшу,  
Ловлю в консервной банке шампиньоны.

И все ж, когда забудусь в сладком сне, —  
Румяны на лицо, на слово колки,  
Нарядно ватагою ко мне  
Являются охальницы-веселки.

Подолы задирают и зовут —  
В глазицах синих взять и утонуть бы! —  
Туда, где бог веселый Переплют  
Бросает в воду камешки и судьбы.

## ЭПОХА «ЗАПОРОЖЦЕВ»

Кончается эпоха грампластинок.  
Дожевывает времени пожар  
Портреты разухабистых блондинок  
На бедрах у музтрестовых гитар.

Кончается эпоха «Запорожцев»,  
Сифонов, портсигаров, крем-брюле.  
Уходит время чертиков и рожиц  
На голубом автобусном стекле.

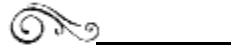
Закрыв глаза, у края бездны замер  
Счастливый век резиновых сапог.  
Кончается эпоха кинокамер  
И лодочных моторов «Ветерок».

Барахтается в черных водах Леты  
Дворовая хоккейная братва.  
Уходят инфантильные буфеты  
И бритвенные лезвия «Нева».

Как пеплом занесенная Помпея,  
Где навсегда стихия погребла  
Бумажного растрепанного змея  
И кости доминошного козла, —

Бежит эпоха в сточные канавы,  
Другая жарко дышит нам в висок  
Нездешним ароматом гуайавы  
И здешним — свежеструганных досок.





Борис Дроздов

\* \* \*

Экспресс судьбы не повернуть,  
И мне с тобой не объясниться.  
Стучат колеса: «Добрый путь...»  
Кому-то добрый.  
Мне — не спится.

В купе нет ни одной души,  
Но кто-то поучать берется:  
«Кто понял жизнь — тот не спешит.  
Кто не спешит — не ошибется».

Но поезд набирает ход!  
Звенит стакан, мелькают даты...  
И все летит наоборот,  
И все торопятся куда-то...

\* \* \*

Никуда не денешься,  
Будешь жить — как жил.  
Ну, поерепенишься,  
Да опять в гужи.

И судьба понятная —  
Скоры да запой.  
Люди ль виноватые,  
Что ты стал такой?

Распрямись, Иванушка.  
Гордость покажи!  
Ты швыряешь камушки  
В... миражи.

\* \* \*

Нетрудно оторваться от земли.  
Достойнее и радостней — бороться!  
Живи!  
Не так, как хочется, живи,  
А как придется.

Влюблен,  
Но унижаться не хочу  
За лишний день, отобранный у смерти!  
Есть высшее в переплетенье чувств,  
Их круговорти.

Когда ж меня заставят уходить  
Болезни, обстоятельства иль старость, —  
Я повторюсь:  
Какое счастье быть!  
Какая малость...

\* \* \*

Не надоест вагон.  
Когда заняться нечем,  
Я дорожу теплом  
Любой случайной встречи.

Пусть мысли далеки, —  
В невольный час досуга,  
Не зная никого,  
Легко понять друга друга!

Но... время. Скрип колес.  
Недолгое прощанье  
Разводит нас без слез,  
Без пошлых обещаний.

И если жаль — слегка, —  
Что все невозвратимо.  
Жизнь больно коротка,  
Как... вскрик локомотива!

\* \* \*

Я слишком правильно живу, —  
Порой становится противно...  
По залу модному хожу —  
Какие странные картины.  
В неверном свете витражей  
Меня встречает у полотен  
Эпоха двойственных людей,  
Период Чайза с... Паваротти!  
Как сочно торжествует плоть —  
Чума двадцатого столетья!  
(Своей души не побороть —

Она заложница бессмертья.)  
Но в эротической пыли  
Вдруг паразит, едва заметный,  
Пейзаж отравленной земли,  
Свет вымирающей планеты.  
Но все спокойны, все жуют  
И освежаются прекрасным...  
Все тоже правильно живут...  
Ужасно!

\* \* \*

Мне давно за тридцать.  
Странная пора —  
Боли в пояснице,  
То не спится,  
То хандра...

Втянешься в работу,  
Но угрюм, как смерть.  
Давит опыт,  
Душит опыт —  
Не дает взлететь.

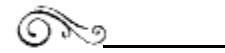
Мне бы ошибиться,  
Наобум пойти...  
За полночь. Не спится.  
Что еще случится  
Впереди?

\* \* \*

Легко ли жить без потрясений?  
Нас лихорадит день за днем...  
Все чаще, с жалким удивлением,  
Мы песни старые поем!

Свернув нехоженой дорогой,  
Не ты один невольно бит.  
Убогий быт мечтой убогой  
Нас всех безжалостно клеймит!

Эпохой, в бездну уходящей,  
Парализованы сердца.  
...И только ящик говорящий  
Надеждой ранит без конца.



Светлана Виноградова

\* \* \*

Снова кран на кухне подтекает  
И никак не греется утюг.  
Знаешь, им, наверно, не хватает  
Здесь твоих, таких умелых, рук.

В уголочке скрипка отдыхает,  
Не творит смычок высокий звук.  
Знаешь, им, наверно, не хватает  
Здесь твоих, таких прекрасных, рук.

Вновь тоска до боли подступает,  
И замкнулся огорченый круг.  
Если б знал ты, как мне не хватает  
Здесь твоих, таких надежных, рук!..

\* \* \*

Отобрали у меня надежду —  
Словно луч в потемках погасили.  
Все осталось так, как было прежде.  
Только как тоску теперь осилить?

Как понять, что больше не любима,  
Одолеть безжалостные мысли  
И отдать огню, развеять дымом  
В сотый раз прочитанные письма,

Улыбаться вежливо знакомым,  
Слушать их нехитрые советы  
И в печали запираться дома  
Тет-а-тет с погасшей сигаретой?..

Как себя заставить стать сильнее,  
Не искать людского соучастья,  
Осознать, что права не имею  
На тебя, как на чужое счастье?..

\* \* \*

О, дай мне сил, чтоб разлюбить тебя!  
О, дай мне сил себя преодолеть!..  
Жить, как жила: не помня, не любя.  
Не знать тебя, не ждать, не сожалеть...

О, дай мне сил не стать твоей рабой,  
Не быть с тобою рядом с этих пор!  
И если ты дарован мне судьбой,  
Дай поступить судьбе наперекор.

О, дай мне сил, чтоб руки разомкнуть!  
О, дай мне сил, чтоб выдержать твой взгляд!  
О, дай мне сил назад не повернуть!..  
Не дай мне сил не повернуть назад!

\* \* \*

С Вами рядом в мыслях я по-прежнему,  
Но устало сердце от разлуки.  
О, какими быть умели нежными  
Сильные, доверчивые руки!

Дни проходят, как один, бесцветные.  
Непреодолимы стали ночи.  
О, какими быть умели светлыми  
Темные пленительные очи!

Средь заботы, суеты, усталости  
Мне сегодня негде отогреться.  
О, каким умеет быть безжалостным  
Ваше снисходительное сердце!

\* \* \*

Склоню к тебе неслышно голову,  
Щекою прикоснусь к щеке.  
Но будет непривычно холодно  
Моей руке в твоей руке.

И вечер будет — тихий, сумрачный.  
Подступит боль прощальных слов.  
Возьмешь и выбросишь на улицу  
Мной сохраненную любовь.

И в грязь ногами будет втоптана.  
И подобрать ее нельзя.  
Дождинки падают за окнами,  
По стеклам медленно скользя.



Алексей Малахов

## ДЕД

Нет фотографий — затеряны где-то.  
Словно предчувствуя тяжесть войны,  
он за последнее мирное лето  
дров заготовил на две зимы.

И укатил эшелон его в вечность,  
и проводили отца сыновья  
с белым холщовым мешком заплечным:  
кружка, да ложка, да пара белья.

В стылом окопе или землянке,  
снегом которую вновь занесло,  
помнил — немою осталась «тальянка»,  
песня осталась и дома тепло.

Песня осталась... Да сын дождался.  
Много я, дед, о тебе не узнал.  
Тот хуторок, где ты в землю вжимался,  
может, давно уже городом стал.

## СВИДАНИЕ

«Я вернулся в мой город, знакомый до слез...»  
Стихла песня усталых вагонных колес.  
От вокзала на Невский — людская река.  
Стала явью мечта — Мандельштама строка.  
Воздух пробую грудью — забытый, сырой,  
наслаждаюсь холодной туманной порой.  
Жгут друзья до полуночи взбалмошный свет.  
... Как безжалостен мятый обратный билет!

\* \* \*

Мы смотрели с тобой на одни купола,  
по одной, по родной проходя Костроме.  
Где ты раньше была? Где ты раньше была?  
Почему же ты раньше не встретилась мне?  
По-над Нижнею Дебрей звенит тишина,  
нашей Волги волна бьется в камень-гранит.  
Раз свела нас с ума, развела нас сама,  
пусть теперь Кострома эту тайну хранит.

В ореоле дождя вновь Заволжья огни.  
Рядом наши дома. Ну и что из того?  
Не уходит мечта, как ее ни гони.  
Никогда не приду. Не скажу ничего.

\* \* \*

Встрепенулись галки черной стаю.  
Под крылом остались купола.  
В тишине зловещей звуки стаяли,  
перестали бить колокола.  
Захлебнулся перезвон малиновый  
чистой каплей, пролитой в мороз.  
Все село со сгорблеными спинами  
собралось на старенький погост.  
«Ой вы, люди, что же это деется?»  
«Что на нас отныне за вина?»  
Здесь венчались в жены красны девицы  
и давали детям имена.  
Простояла церковь под шеломами  
в дни лихие, темные от бед,  
а теперь кресты ее обломаны,  
колокольня есть — набата нет.

Закружились галки, словно головни.  
Некуда садиться им, как встарь.  
Укоряя, смотрят стены голые,  
пустотой зияет вход в алтарь.

\* \* \*

Разбитой дорогой, урча и гремя,  
сжимая пружину похода,  
вез старенький «газик» с друзьями меня  
на воду, в леса, в непогоду.  
На чистую речку с названьем Межа.  
Туда, где ручьи и покосы,  
туда, где туманы восходят, дрожа,  
песчаные светятся косы.  
Там жарко горят вечерами костры,  
там пижмо пахнет и мяты.  
Вдохну ароматы сосновой коры,  
увижу малину закатов.  
Негаданно ухнет ночная сова,  
раскатистым голосом древним.  
Осокой сухой зашумят острова.

Заброшенные деревни  
одна за другую на берег придут.  
грустя по своим, что далече  
Оставили люди их тихий уют —  
не сеют и сено не мечут.  
Стоят сиротливо шесты-стожары,  
вросли возле берега лодки.  
Поют над домами одни комары:  
мол, век оказался коротким.  
Струится, и вьется, и плещет Межа,  
в лугах и болотах петляя,  
волною своей старину вороша,  
от нас на века отдаляя.

\* \* \*

Состраданье человечье  
не бывает через край.  
Ты, как маленькая свечка,  
освети, но не сгорай.

Освяти. Умело трогай  
струны тонкие души.  
Проводи меня в дорогу —  
попрощаться не спеши.

Пусть еще коснутся руки  
рук. И — вновь извлечены —  
янтарем зажгутся звуки  
в вечном море тишины.

Теплый камень, светлый пламень,  
чудо чистого листа...  
Мы куда? Не знаем сами.  
Обменяемся словами.  
Речь звучащая — не та.

\* \* \*

Волга льдинками шепчет, поудобней устроясь,  
между рощ облетевших в древних двух берегах.  
Уцелевшая церковь, как последняя совесть.  
В полуутьме мостовой измеряем в шагах.

Изменяется осень, докатившись до края.  
Мудрость старой беседки вечна, как тишина.  
Торопиться не надо: переулок, гора и...  
суета «сковородки» неизменно вольна.  
Попрощавшись обычно, разбредаемся в вечер.  
Остановка, автобус, мост и церковь внизу.  
Души или душа? Загорелась свеча или свечи?  
Пусть одна ожила, да куда я ее понесу?

\* \* \*

Милые веснушки,  
    темные ресницы,  
теплые ладони,  
    пальцы, как лоза.  
Мне который месяц  
    ничего не снится,  
лишь твои большие  
    карие глаза.  
Я который месяц  
    в них гляжу, как в омут.  
Браз зачаровала  
    эта глубина.  
Лишних слов не надо.  
    Знаешь: аксиома —  
то, что ты на свете  
    у меня одна.  
Ты такая, право —  
    задохнусь на вздохе, —  
как нежнейший ландыш  
    в капельках росы!  
Не приемлешь ярость.  
    Две сережки-крохи  
вывели из строя  
    мне судьбы весы.  
Мне с тобой спокойно  
    разом и тревожно.  
Всплеск любви ненужной  
    унимать нет сил.  
Господи, родная,  
    дальше — невозможн!  
Только будь счастливой!  
    Мне бы Бог простил.



Владимир Максимов

## ТАНЦЫ

А это странно все же, странно,  
Мудрено, что ни говори,  
Когда, как будто в трансе, страны  
Танцуют, словно дикии.

Вот па направо, па налево  
И каблучками вдруг пристук...  
Как танцевала королева!  
Как выходил король на круг!

А там, в избушке деревянной,  
Под звуки скрипки и рожка,  
Простые смерды полуписько  
Выделявали гопака.

Друг друга обжигая взглядом,  
Забыв про все свои дела,  
Они плясали,  
А наградой  
Улыбка женщины была.

Она и он — лицом друг к другу.  
Притопнул он —  
И дрогнул зал...

Чтоб кто-то шел вот так по кругу  
И юбочку в два пальца брал —  
Наверно, нужно так...

Недаром  
Приходит музыка, светла,  
Чтобы кружились в вальсе пары  
И вся Вселенная плыла.

\* \* \*

Мы в городе не для беды  
Творим из камня и бетона:  
На малой площади балкона  
У нас висячие сады.

Но вспомню дом, что врос в траву,  
Клочок земли за домом —  
И хлеб застрынет в горле комом:  
Не слишком высоко живу?..

\* \* \*

Та девочка не стала поэтессой:  
Стихи нередко —  
младости грехи,  
Но я кружил с той девочкой по лесу —  
И так мне нравились ее стихи!  
Она о них забыла через лето,  
А я вот не забыл и все грущу,  
И все ищу,  
ищу ее портреты,  
И книжки с ее именем ищу...

\* \* \*

Музыки тихой полный,  
Теплоход приближался к нам...  
И вот уже звездные волны  
Удалили по ногам.  
А он —  
Моей сказки город —  
Растаял, как в сладком сне,  
И был этот миг,  
Который  
Всей жизни равен вполне.  
Исчез теплоход,  
И снова  
Всемирный кругом покой,  
И только месяц медовый  
Над нами и над рекой.



Алексей Скуляков

## ТЕПЛОХОДИК

Ярко в памяти, как на экране,  
Вспыхнет прошлое тысячью ватт:  
Теплоход волны Волги таранит,  
Доставляя меня в интернат.

Не спеши, не спеши, теплоходик,  
Успокой быстрый винт за кормой!  
Мне двенадцатый от роду годик,  
И так хочется — помню — домой...

Спал бы я на дощатой кровати,  
Сиротою бы жил как-нибудь...  
Среди волн исчезает кильватер —  
След в заветный обратный мой путь.

Вот крутой Чернопения берег.  
Здесь мой новый приют, новый кров.  
Я на берег схожу без истериk  
И в душе ко всему уж готов.

Я готов с кологривской, шарьинской,  
Костромской, межевской детворой  
Вместо нежной любви материнской  
Видеть только лишь жалость порой.

И, считая за счастье людское  
То, что буду, наверное, сыт,  
Я готов сам себя успокоить  
Среди частых и горьких обид.

Я готов быть послушным, прилежным...  
Я готов, как отчаянный «зек»,  
Одержаный отвагой мятеjной,  
Совершить тайно дерзкий побег.

Чтоб прибрежным глухим бездорожьем,  
Всем преградам не зная конца,  
С чувством смутной тревоги и дрожью  
До родного добраться крыльца.

Чтобы снова и снова в тумане,  
Ускоряя ход в несколько крат,  
Теплоход волны Волги таранил,  
Доставляя меня в интернат...

\* \* \*

Упала! Замертво упала!  
Качнулся луг и сосен ряд...  
А небо грозно грохотало  
И низвергало дождь и град.  
И плакал я, ей шею гладя,  
И целовал ее в глаза.  
«Ах, Надя! Миленькая Надя!»  
Убила Наденьку гроза.  
Упала... Не подняться снова.  
И на губах — цветов пыльца.  
Моя любимая корова!..  
Я был подпаском у отца.



Анатолий Беляев

## МУЗЫКА ДЛЯ УСТАВШИХ

В шуме деревьев, в плеске воды  
Слышиу тревогу, близость беды.

Пил перезвон, перестук топоров,  
Гул подступающих автодорог,

Химкомбинатов, взлетных полей.  
Ах, это осень, крик журавлей!

Много задумано, мало сбылось,  
Но не обида в сердце, не злость.

Как оно сжалось, будто в тисках —  
Боль и усталость, страх и тоска.

Что там, в лесу? А за лесом? Погост?  
Ах, это роща скорбных берез!

И для уставших музыка есть —  
Листьев опавших желтая жесть.

\* \* \*

Опять я у детства в плену,  
В гостях у берез и черемух,  
Бегу по цветущему льну  
Купаться на мельничный омут.

Слежу за рассветным лучом,  
Блаженствуя на сеновале,  
И долго сижу за столом  
Под музыку самовара.

Весь вечер, всю ночь до утра  
Беседую с мамой мою.  
О как моя мама мудра  
И как она слушать умеет!

Как маленький, к маме прильну  
В ее небогатых хоромах...  
Опять я у детства в плену,  
В гостях у берез и черемух.

\* \* \*

Еще горят осенних рощ костры,  
И солнышко нежаркими лучами  
Еще ласкает землю. И остры  
Шипы тревог бессонными ночами.

Но все слышней дыхание зимы,  
Спешащей к нам с ветрами, с холодами,  
С метелями. И зябко ходим мы  
В пустом саду с последними цветами.

\* \* \*

В лесу листочек с дерева упал.

Вот он летит еще, скользя, качаясь,  
Как бы прощаясь,  
Навсегда кончаясь,  
А я стою, к стволу щекой припал,  
И думаю, за листьями следя,  
О мудром соответствии природном,  
И сравниваю лес — со всем народом,  
С листочком золотеющим — себя.

О, как прекрасна жизнь!  
Как век наш мал!  
Как больно знать, что этот миг настанет,  
Когда меня  
— меня! —  
и вдруг не станет!

В лесу листочек с дерева упал.

\* \* \*

Ранняя осень. Светлая грусть.  
Листья берез позолотой расцвечены.  
В отпуск!  
В деревню!  
Сегодня же вечером!  
Завтра же — в лес по грибы соберусь!

И ошелев: тишина-то — немыслимо! —  
И от забот, от тревог отрещась,  
Буду шуршать облетевшими листьями,  
Белым летящим туманом дышать.

А запою, засмеюсь иль заплачу я —  
Это, товарищи, дело мое,  
Мне уже поздно переиначивать  
Чувства свои и свое бытие.

Осень... Пока еще только касание,  
Легкий, едва уловимый намек.  
Светлая-светлая,  
Ранняя-ранняя,  
Не заболел, а слегка занемог.

Все еще будет, во все еще верится,  
И ни к чему не пропал интерес...  
Ветер качнул одинокое деревце,  
Так помоги ему выстоять, лес.



Виктор Смирнов

### ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Давным-давно утихла эта боль,  
Но след на сердце все-таки остался.  
Ты не забыта, первая любовь,  
Твой голос где-то в песнях затерялся.

Быть может, через дальние года  
Я голос твой услышу не однажды,  
Услышу и взгрустну. Ведь никогда  
Ты человеку не являлась дважды.

Пусть и не стала ты в моей судьбе  
Тем, чем мечталось в годы молодые,  
И все ж спасибо, милая, тебе  
За все, за все, что испытал впервые!..

\* \* \*

Настоящее с прошлым сверяя,  
Я душою давно сознаю,  
Что тебя безвозвратно теряю,  
А с тобой — и надежду свою.

Ну так что ж! Мне терять не впервые,  
Уж такой моей жизни удел.  
Ты уйдешь, как уходят другие,  
Болью временной сердце задев.

Все проходит. Испечет и это.  
Лишь когда-нибудь, словно во сне,  
Вспомню, как догорающим летом  
Ты негаданно встретилась мне.

Ты сама в нашей жизни не вечной,  
О былом свято память храня,  
С лугом скошенным, с маленькой речкой,  
Может быть, тоже вспомнишь меня.

\* \* \*

Мы с тобою теряем друг друга,  
Не познавши взаимной любви,  
И весной над вечерней Ветлугой  
Не для нас будут бить соловьи.

И сугробы заречных черемух  
Не для нас будут в дымке белеть,  
И не мне, а кому-то другому  
Ты в глаза будешь жадно смотреть.

Это больно, но так, видно, надо.  
Нелюбимым я быть не хочу.  
Наших встреч мимолетную радость  
Горьким комом в душе проглочу.

Ты была мне последней надеждой,  
Как цветок на осеннем лугу.  
Полюбить так безумно и нежно  
Я другую едва ли смогу.

Мне все кажется, поздно иль рано  
На меня б ты махнула рукой.  
Есть на свете немало мужланов.  
Я, как видишь, совсем не такой.

\* \* \*

Ноябрь. Предзимье. Осенью усталой  
Сквозят в тиши холодной берега.  
Вода в реке на грани ледостава, —  
Плынет, качаясь, звонкая шуга.

Вот легкий снег окладисто и густо  
Ложится с потемневшей высоты.  
Смотрю на все с каким-то горьким чувством  
Не потому ль, что вспомнилась мне ты?

Мне вспомнилась весна и этот берег  
В веселом буйстве света и тепла.  
В ту пору берег был таким же белым —  
Кругом вовсю черемуха цвела.

Была любовь и был разлад житейский.  
Промчались годы. У тебя семья.  
А я хожу по свету одинокий,  
Ушла с тобою молодость моя.

Еще не раз душистым цветопадом  
Кусты черемух убелят траву.  
Взамен тебя мне никого не надо,  
Я и один спокойно проживу.



Юрий Семенов

#### ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА РАХМАТОВА

Весенний день обычен с виду вроде:  
Осевший снег и тот же старый дом...  
Но с нами нет Рахматова Володи,  
И в это, право, верится с трудом.

Капелью бьет по сердцу эта горечь,  
И застят небо стаи воронья.  
Еще звучит в ушах Володин голос,  
И головы склоняют сыновья.

Он шел по жизни твердо, но непросто.  
Под тяжестью сомнений и обид.  
И тишина печального погоста  
Пронзительно и трепетно звенит.

Не докурил, не дожил, не доехал  
И не сменил измученных коней.  
На унцию тепла, на пинту смеха  
Прохладней стало в мире и мрачней.

Вяч. Смирнов

### СТАНЦИЯ МГА

Лавиною танков, прорвавшихся с боем,  
Враги Ленинград отрезали у нас.  
И «юнкеры» выли над станцией Мгою,  
Кидая с бортов смертоносный фугас.  
Дорожные рельсы кой-где разметало.  
И старенький сторож у сорванных шпал,  
Уткнувшись седой головою,  
Устало  
Сном вечным на стрелке израненной спал...  
Трещали в дыму деревянные стенки,  
Под взрывами крыши ползли набекрень.  
И жители Мги и друзья-ополченцы  
Нелегкую участь познали в тот день.  
Дождливые, хмуро нависшие тучи  
Косматый огонь языками лизал.  
Бесформенной, тихо искрящейся кучей  
В предсмертных мученьях кончался вокзал.  
Он пал, обожженный, обугленный, черный,  
Но в рабство не отдал себя.  
Потому  
Мы новое тело душе непокорной —  
То время настанет! — построим ему.  
И мы победили. Прорвали блокаду.  
Разбили проклятые орды врага.  
И поезд на этом пути к Ленинграду  
Встречает свободная станция Мга.

Станция Владимира Рыжакова  
музыка Л. Завицкой  
слова Ю. Селинова

Со счастьем певчими.

ф-ко

1. Во сен-ный донъ с- бы- чен с ви- ду ру- ки - ае:

оса ший сноу тут же ста- рин донъ на

сна - пи нвт та- ми - то - ви до по дни.

2. Для повторения

в э - то, пра- но, ве- рит- ся с три дни,

3. Ка-

для окончания

и - ны



## СТАТЬИ, ОБЗОРЫ, РЕЦЕНЗИИ

Юрий Лебедев

### «КОГДА ГРОЗА ВЗОЙДЕТ...»

(К 175-летию со дня рождения А.Н.Островского)

«Мы стоим на крутеейшей горе, под ногами у нас Волга, и по ней взад и вперед идут суда то на парусах, то бурлаками, и одна очаровательная песня преследует нас неотразимо. Вот подходит расшива, и издали чуть слышны ее звуки; все ближе и ближе, песнь растет и поплыла, наконец, во весь голос, потом мало-малу начала стихать, а между тем уж подходит другая расшива и разрастается та же песня. И так нет конца этой песне. С правой стороны у нас собор и главный город, все это вместе с устьем Костромы облито таким светом, что нельзя смотреть. Зато с левой стороны, почти у наших глаз, такой вид, что кажется не делом природы, а произведением художника. По берегу, который гора обогнула полукружием, расположен квартал, называемый Дебря, застроенный разнообразными деревянными строениями с великолепной церковью посередине в старом стиле... А на той стороне Волги, прямо против города, два села; и особенно живописно одно, от которого вплоть до Волги тянется самая кудрявая рощица; солнце при закате забралось в нее как-то чудно, с корня, и наделало много чудес. Я измучился, глядя на это».

Блуждая по улицам Костромы в течение трех дней, юный Островский как завороженный постоянно возвращается на кругой волжский берег. Колдовская сила природы пленит его. Как Снегурочка под палиющими лучами Солнца, он боится сгореть от такой красоты: такая красота — «казнь и мука для человека». Измученный, возвращается он домой, в дом дядюшки Павла Федоровича, и долго, долго не может уснуть. Какое-то отчаяние овладевает им: «Неужели мучительные впечатления этих дней будут бесплодны для меня?» А впереди — Щелыково! Впереди те обетованные места, где «каждый пригород, каждая сосна, каждый изгиб речки очаровательны, каждая мужицкая

физиономия значительна». И здесь мир открывается ему в крупных эпических образах — реки, горы, овраги, леса... «У нас все реки текут в оврагах — так высоко это место. Наш дом стоит на высокой горе, побольше Воробыинской, а есть места, например, деревня Сергеево, откуда наш дом кажется в яме... На юг от нас есть, верстах в пяти, деревня Высоково, из той виден почти весь Кинешемский уезд...»

Так еще в юности Островский почувствовал, что Москва не ограничивается Камер-Коллежским валом, что «за ним идут непрерывной цепью, от Московских застав вплоть до Волги, промышленные фабричные села, посады, города и составляют продолжение Москвы. Две железные дороги, одна на Нижний Новгород, другая на Ярославль, охватывают самую бойкую, самую промышленную местность Великороссии... Там на наших глазах из сел образуются города, а из крестьян богатые фабриканты; там бывшие крепостные графа Шереметева и других помещиков превратились и превращаются в миллионщиков; там простые ткачи в 15-20 лет успевают сделаться фабрикантами-хозяевами и начинают ездить в каретах... Все это пространство в 60 тысяч с лишком квадратных verst и составляет как бы предместье Москвы и тяготеет к ней всеми своими торговыми и житейскими интересами... Москва — город вечно обновляющийся, вечно юный; через Москву волнами влиивается в Россию великорусская народная сила... которая через Москву создала Государство Российской». Вот такая она, «замоскворецкая» страна Островского, вот такой у нее всероссийский простор и размах! От московских застав вплоть до Волги раскидываются могучие крылья, дающие вольный полет поэтическому воображению национального драматурга, которого эстетически глуховатая к России и русским критикам ухитрилась зачислить в разряд реалиста-бытовика: «Он дал некоторое отражение известной среды, определенных кварталов русского города; но он не поднялся над уровнем специфического быта, и человека заслонил для него купец», — чеканил от лица такой критики свой приговор Островскому «утонченный Юлий Айхенвальд. Он не чувствовал, что купец интересовал Островского не как представитель торгового сословия, а как центральная русская натура, средоточие народной жизни в ее росте, становлении, в ее движущемся драматическом существе.

### 1

«Общественный сад на высоком берегу Волги; за Волгой сельский вид». Такой ремаркой Островский открывает «Грозу». Как Москва в его представлении не ограничивается Камер-Коллежским валом, так и Калинов. Внутреннее пространство сцены обставлено скромно: «две скамейки и несколько кустов» «на гладкой высоте». Действие русской трагедии возносится над ширью Волги, распахивается на всероссийский сельский простор. Ему сразу же придается общенациональный масштаб и песенная, поэтическая окрыленность, ибо «не может укрыться град, в верху горы стоя».

В устах Кулигина звучит песня «Среди долины ровныя» — эпиграф, поэтическое «зерно» «Грозы». В песне, которая у зрителя буквально на слуху, уже предвосхищается судьба героини с ее человеческой неприкаянностью («Где ж сердцем отдохнуть могу. Когда гроза взойдет?»), с ее тщетным стремлением найти поддержку и опору в окружающем мире («Ударит ли погодушка. Кто будет защищать?» — «Куда мне, бедной, деться? За кого мне ухватиться?»).

Песня с первых страниц входит в «Грозу» и сразу же выносит конфликты и характеры трагедии на общенародный песенный простор. За судьбою Катерины — судьба геройни народной песни, непокорной молодой снохи, отданной за немилого в «чужедальную сторонушку», что «не сахаром посыпана, не медом полита». Сгущая общенациональное содержание, Островский прибегает к поэтической условности, убирает излишние социально-бытовые мотивировки. Отсутствие их в «Грозе» нередко ставили в упрек драматургу. «Почему родные, так, по-видимому, любившие Катерину, выдали ее в семью Кабановых? Потому, к сожалению, оставил это в драме неясным». Сожаление напрасное: перед нами поэтический ход, типичный для народной песни. Характеры «Грозы», не теряя своей социальной окрашенности, поднимаются на необходимую в трагическом конфликте общенародную поэтическую волну.

Песенная основа ощутима не только в характеристиках Катерины, Кудряша и Варвары. Речь всех персонажей «Грозы» эстетически приподнята, очищена от бытового купеческого жаргона, от бытовой экзотики языка «Своих людей» или трилогии о Бальзаминове. Даже в брани Дикого: «Провались ты! Я с тобой и говорить-то не хочу, с езуитом... Что ты, татарин, что ли?» — слышится комическая сниженная тема русского богатырства, вековой борьбы с «неверными» — «латинцами» или татарами. В бытовой тип самодура-купца вплетается иронически обыгранный Островским общенациональный мотив. То же и с Кабанихой: сквозь облик суровой и деспотичной купчихи проглядывает еще и национальный тип злой, сварливой свекрови. Поэтична и фигура механика-самоучки Кулигина, органически усвоившего просветительскую культуру XVIII века от Ломоносова до Державина.

В «Грозе» жизнь схвачена на высоком взлете и в острой конфликтной ситуации, герои ее находятся под высоким поэтическим напряжением, чувства и страсти достигают максимального накала, читатель и зритель проникаются ощущением чрезмерной полноты жизни. «Чудеса, истинно надоменно сказать, что чудеса! Кудряш! Вот, братец ты мой, пятьдесят лет я каждый день гляжу за Волгу и все наглядеться не могу». В захлебывающихся от восторга словах Кулигина настораживает туго натянутая поэтическая струна. Еще мгновение — и, кажется, не выдержит его душа опьяняющей красоты мира Божия, лопнет и разорвется.

Люди «Грозы» живут в особом состоянии мира — кризисном, катастрофическом, когда все чувства предельно напряжены, а все конфликты предельно обострены. Первое действие вводит нас в предгрозовую атмосферу жизни. Внешне пока все обстоит благополучно, все еще на своих местах, но сдерживающие силы слишком непрочны: их временное торжество лишь усиливает напряженность. Она сгущается к концу первого действия: даже природа, как в народной песне, откликается на это надвигающейся на Калинов грозой.

В тревоге и страхе за будущее пребывают отцы города Калинова. Кабаниха — человек кризисной эпохи, односторонний ревнитель далеко не лучших сторон домостроевского нравственного кодекса. Полагая, что везде и во всем она блюдет правила «Домостроя», что она рыцарски верна его формальным регламентациям, мы поддаемся обману, внушаемому силой ее характера. На деле она легко отступает не только от духа, но и от буквы домостроевских предписаний. «Ежели обидят — не мсти, если хулят — молись, не воздавай злом за зло, согрешающих не осуждай, вспомни о своих грехах, позабочься

прежде всего о них, отвергни советы злых людей, равняйся на живущих по правде, их деяния запиши в сердце свое и сам поступай так же», — гласит старый нравственный закон. «Врагам-то прощать надо, сударь!» — уверяет Тихона Кулигин. А что он слышит в ответ? «Поди-ка поговори с маменькой, что она тебе на это скажет». Деталь многозначительная! Кабаниха страшна не верностью старине, а самодурством «под видом благочестия». Христианская нравственность здесь во многом отрицается или бездушно формализуется. Из «Домостроя» извлекаются формулы наиболее жесткие, оправдывающие мерзавший живую жизнь деспотизм.

Своеволие Дикого еще откровеннее. В отличие от самодурства Кабанихи оно уже ни на чем не укреплено, никакими правилами не оправдано, нравственные устои в его душе основательно расшатаны. Этот воин сам себе не рад, жертва собственного своеуолия. Он самый богатый и знатный человек в городе, капитал развязывает ему руки, дает возможность беспрепятственно куражиться над бедными и материально зависимыми от него людьми. Чем более Дикой богатеет, тем бесцеремоннее становится. «Что ж ты, судиться, что ли, со мной будешь? — заявляет он Кулигину. — Так знай, что ты червяк. Захочу — помилую, захочу — раздавлю». Бабушка его племянника, Бориса, оставляя завещание, в согласии с обычаем, поставила главным условием получения наследства почтительность племянника к дядюшке. Пока нравственные законы обычного права стояли незыблемо, все было в пользу Бориса. Но вот устои пошатнулись, появилась возможность вертеть законом так и сяк, по известной пословице: «Закон, что дышло: куда повернул, туда и вышло». «Что ж делать-то, судары! — говорит Борис Кулигин. — Надо стараться угождать как-нибудь». «Кто ж ему угодит, — резонно возражает знающий душу Дикого Кудряш, — коли у него вся жизнь основана на ругательстве? Опять же, хоть бы вы и были к нему почтительны, нешто кто ему запретит сказать, что вы непочтительны?»

Но даже и у Дикого тусклый свет нравственной истины нет-нет да и промелькнет в помраченной душе. «О посту как-то, о великом, я говел, а тут нелегкая и подсунь мужичонка; за деньгами пришел, дрова возил. И принесло же его на грех-то в такое время! Согрелиши-таки: изругал, так изругал, что лучше и требовать нельзя, чуть не прибил. Вот оно какое сердце-то у меня! После прощенья просил, в ноги ему кланялся, право так. Истинно тебе говорю, мужику в ноги кланялся... при всех ему кланялся».

Конечно, это «прозрение» Дикого — всего лишь каприз, сродни его самодурским причудам. Это не покаяние Катерины, рожденное чувством вины и мучительными нравственными терзаниями. И все же в поведении Дикого этот поступок кое-что проясняет. «Наш народ хотя и объект разврата, а теперь даже больше, чем когда-либо, — писал Достоевский, — но никогда еще даже самый подлец в народе не говорил: «Так и надо делать, как я делаю», а, напротив, всегда верил и вздохнул, что делает он скверно, а что есть нечто гораздо лучшее, чем он и дела его». Дикой своеуолничает с тайным сознанием беззаконности своих действий. И потому он пасует перед человеком, опирающимся на нравственный закон, или перед сильной личностью, дерзко сокрушающей его авторитет. Его трудно «просветить», но легко «укоротить». Марфе Игнатьевне Кабановой, например, это удается: она, равно как и Кудряш, прекрасно чувствует внутреннюю слабость са-

модурства Дикого: «А и честь-то не велика, потому что воюешь-то ты всю жизнь с бабами, вот что».

Против отцов города восстают молодые силы жизни — это «дети» Тихон и Варвара, Кудряш и Катерина. Бедою Тихона является безвлие и страх перед маменькой. По существу он не разделяет ее деспотических притязаний и уже ни в чем ей не верит. В глубине души Тихона свернулся комочком добрый и великодушный человечек, любящий Катерину, способный простить ей любую обиду и даже стерпеть ее неверность. Он старается поддержать ее в момент покаяния и хочет ее обнять, пожалеть. Тихон гораздо тоньше и нравственно проницательнее Бориса, который в этот момент, руководствуясь слабодушным «шило-крыто», «выходит из толпы и раскланивается с Кабановым», обостряя тем самым страдания Катерины и провоцируя катастрофу. Но человечность Тихона слишком робка и бездейственна. Только в финале трагедии просыпается в нем что-то похожее на протест: «Маменька, вы ее погубили! вы, вы, вы...» От гнетущего самодурства Тихон увертывается временами, но в этих «кувертках» нет свободы: его разгул да пьянство сродни самозабвению. Как верно замечает Катерина, «и на воле-то он словно связанный».

Варвара — прямая противоположность Тихону: в ней есть и воля и смелость. Но и она все-таки — дитя Диких и Кабаних, не свободное от бездуховности «отцов». Варвара почти лишена чувства нравственной ответственности за свои поступки перед миром и Богом, ей попросту непонятны нравственные терзания Катерины: «А по-моему: делай, что хочешь, только бы шило да крыто было», — вот нехитрый жизненный кодекс Варвары, оправдывающий любой обман.

Гораздо выше и нравственно проницательнее Варвары Ваня Кудряш. В нем сильнее, чем в ком-либо из героев «Грозы», исключая, разумеется, Катерину, торжествует народное начало. Это песенная натура, одаренная и талантливая, разудалая и бесшабашная внешне, добрая и чуткая в глубине. Но и Кудряш сживается с калиновскими нравами, его натура вольна, да своевольна. Миру отцов Кудряш противостоит своей удастью, озорством, но не нравственной силой. Если для Кулигина самодур Дикой страшен, то для калиновского «лихача-кудрявича» он всего лишь «озорник». «Это он вам страшен-то, а я с ним разговаривать умею». Кудряш слов рассказать не любит, он готов при случае «выучить» Дикого «делом»: «Вчетвером этак, впятером в переулке где-нибудь поговорили бы с ним с глазу на глаз, так он бы у нас шелковый сделался... Жаль, что дочери-то у него подростки, больших-то ни одной нет... Я б его уважил. Больно лих я на дебок-то!»

Мир темного царства гораздо более сложен и многоцветен, чем это кажется Добролюбову, да и одетому не по-русски, «культурному» Борису или просвещенному механику-самоучке Кулигину. Он еще не растратил полностью душевную открытость и простодушие. Вопреки знаменитому монологу Кулигина о «жестоких нравах», здесь никто не склонен к тайным интригам, добро и зло не прячется, не маскируется, все центральные события трагедии совершаются «на миру». Всеноародно валяется в грязи кающийся в грехе Дикой, всеноародно принимает он посмение от проезжего гусара («Смеху-то было», — вспоминает об этом Кудряш). Несмотря на высокие заборы и крепкие засовы, все, что творится в семейном мирке калиновцев, немедленно становится всеобщим достоянием. Не только покаяние Катерины это подтверждает: оно лишь наиболее последовательно реализует те ду-

шевые порывы, которые нет-нет да и пробиваются в поведении других действующих лиц. Тихон, например, так и говорит о себе Кулигину: «Нет, говорят, своего-то ума. И, значит, живи век чужим. Я вот возьму да последний-то, какой есть, пропью; пусть маменька тогда со мной, как с дураком, и нянчится».

Есть в этой бесхитростности и простодушии «освежающий» и «ободряющий» мотив. Что и говорить, жестоки нравы в городе Калинове. Но Кулигин все-таки сгущает краски, когда говорит о невидимых и неслышимых слезах за калиновскими домашними затворами. Купеческие семейства, вопреки лукавому желанию устроить свою жизнь шито да крыто, волей-неволей тащат на всенародный позор свои семейные неурядицы и конфликты. Вопреки буржуазным стремлениям к обособлению и двоедушию, не утратил Калинов свою связь с народной культурой. Эта связь подвергается в «Грозе» трагическим испытаниям, но полностью она не порвалась. В среде купечества еще возможно появление открытого и совестливого характера Катерины с ее удивительным на фоне принятого и узаконенного лицемерия признанием: «Обманывать-то я не умею, скрыть-то ничего не могу». Именно эта христианская совестливость отличает Катерину от Тихона, Бориса и Варвары. Дух мира ещеносится над темнеющими водами калиновского царства, выходя из недр его и собираясь отлететь. Высшей носительницей этой отлетающей народной культуры является в «Грозе» Катерина, на глазах теряющая в этом мире опоры, тщетно ждущая от него сначала достойного признания, а потом достойного наказания. Ее смерть — осуждение мира, загубивший свой цвет, свою красоту, свою мудрость, общинный склад и лад народной души. Но калиновский мирок еще не замкнут наглухо от широких народных сил и стихий жизни. Живое дыхание ее еще приносит в Калинов с заволжских лугов запахи цветов, напоминает о сельским приволье. К этой встречной волне освежающего простора тянется Катерина, пытаясь раскинуть руки, разбежаться и — полететь. Лишь Катерине дано в «Грозе» удержать всю полноту жизнеспособных начал в культуре народной и сохранить высокое чувство ответственности перед лицом тех испытаний, каким эта культура подвергается в Калинове.

## 2

В русской трагедии Островского сталкиваются, порождая мощный грозовой разряд две религиозные культуры — сельская и городская, а противостояние между ними уходит в многовековую почву российской истории. «Гроза» в такой же мере устремлена в будущее, в какой обращена и в глубь веков. Для ее понимания нужно освободиться от существующей путаницы, берущей свое начало с доброволовских времен. Обычно «Домострой» с его жесткими религиозно-нравственными установками и регламентациями смешивают с нравами народной, крестьянской Руси. Домостроевые устои приписывают крестьянской семье, сельской общине. Это глубочайшее заблуждение. «Домострой» и народно-крестьянская нравственная культура — начала во многом противоположные. За их противостоянием скрывается глубокий исторический конфликт земского (народного) и государственного (городского) начал, конфликт сельской общины с централизующей, формальной силой государства с великокняжеским двором и городом.

Обращаясь к русской истории, А.С.Хомяков писал, что «областная земская жизнь, покоясь на старине и преданиях, двигаясь в кругу

сочувствий простых, живых и, так сказать, осозаемых, состоя из стихии цельной и однородной, отличалась особенной теплотою чувства, богатством слова и фантазии поэтической, верностью тому бытовому источнику, от которого брала свое начало». И наоборот: «дружина и стихии, стремящиеся к единению государственному, двигаясь в кругу понятий отвлеченных или выгод личных и принимая в себя беспрестанный прилив иноземный, были более склонны к развитию сухому и рассудочному, к мертвой формальности, к принятию римского Византийства в праве и всего чужестранного в обычаях». «Домострой», частью отредактированный, а в значительной части написанный духовником Ивана Грозного Сильвестром, был плодом не крестьянской, а боярской культуры и близких к ней высших кругов духовенства. В XIX веке он «спустился» отсюда в богатые слои городского купечества. И вот в «Грозе» совершается трагическое столкновение двух доведенных до логического самоотрицания тенденций в бытовом православии — «законнической», мироотречной, домостроевской и «благодатной», мироприемляющей, народной.

Заметим, что слово «мир» в православном вероучении используется в двух диаметрально противоположных смыслах — космологическом и аскетическом. Космологическое понятие «мира» как Божьего творения проявляется в полнокровном и радостном космизме Православия. Аскетическое же подразумевает совокупность всего порочного и падшего, ненавистного подвижнику христианского благочестия. «Мир» в таком понимании — средоточие страстей, область порока, греха, отклонения в неестественность. Природа прекрасна, все добродетельное естественно, а все неестественное порочно, страшно и достойно осуждения. Аскетическая борьба ведется не против естества «мира», а против неестественного, противоестественного в нем. Убиваются не телесные потребности, а неправильное пользование ими. Запрещается не употребление тварного, а злоупотребление им. Известный богослов архимандрит Киприан (Керн) замечает в этой связи, что в практике Восточной церкви нередко происходило смешение двух этих понятий: «мирское» и греховное как бы распространялось на весь «мир». И тогда возникала опасность малокровного, худосочного аскетизма. «На религиозное сознаниеложилось некоторое боязливое отношение к человеку и плоти». «Создалось впечатление, глубоко укоренившееся, что истинно аскетическое отношение к жизни и твари должно быть именно таким недоверчивым к плоти и человеку. Человек, и даже не грешный человек, а просто человек, как таковой, в силу одной своей человечности был взят под подозрение. Представляли себе, и совсем неверно, Православие как более ангельское, чем человеческое. Аскетику хотели понять как нечто мрачное (Розанов, Тареев, Бердяев). И свойственного именно Православию подлинного, радостного космизма не хотели признавать достоянием православной психологии. Православный идеал спасения иногда и очень часто хотели представить чем-то худосочным. С особым недоумением и как бы с разочарованием встречали те светлые и любовные нотки в принятии земли и плоти там, где они проскальзывали и выявлялись. Указанное неправильное, предвзятое восприятие восточного быта и духа с удивлением и неожиданностью встречает подлинный лик православной светлой аскетики и радостной мистики. Настоящим откровением потому является наличие у строжайших пустынников и аскетов любовного настроения к твари и к человеку».

В мироощущении Катерины славянская языческая древность, уходящая своими корнями в доисторические времена, одухотворяется, и нравственно преображается живыми токами православной веры, христианской религиозной культуры. Религиозность Катерины вбирает в себя всю красоту мира Божия: солнечные восходы и закаты, росистые травы на цветущих лугах, полеты птиц и бабочек. С нею заодно и красота сельского храма, и ширь Волги, и заволжский луговой простор. А как молится героиня, «какая у неё на лице улыбки ангельская, а от лица-то как будто светится». И во время молитвы в храме она видит ангельские хоры в столпе солнечного света, льющегося из купола. «Точно, бывало, я в рай войду, и не вижу никого, и не слышу, когда служба кончится». В Катерине торжествует жизнелюбивое начало православной религиозности.

Как отмечал о.Сергий Булгаков, православное богослужение «представляет собою нечто единственное во всем христианском мире по своей красоте и многообразию. В нем соединяется с высшим христианским вдохновением драгоценнейшее наследие античности, воспринятое через Византию, видение красоты духовной сплетается с видением красоты этого мира». К тому же в священное наследие Византии «влилась еще и свежая волна от русской одаренности в искусстве». Наша литургия есть «небо на земле», явленная красота духовного мира. Заслуживает внимания и космизм православного богослужения. «Оно обращено не только к человеческой душе, но ко всему творению, и оно освящает и это последнее. Это освящение стихий природы и разных ее предметов выражает собою ту общую мысль, что освящающее действие Святого Духа через Церковь распространяется и на всю природу».

Радость переживает Катерина в храме. Восходящему солнцу кладет она земные поклоны в своем саду, среди деревьев, трав, цветов, птиц, утренней свежести просыпающейся природы. «Или рано утром в сад уйду, еще только солнышко восходит, упаду на колена, молюсь и плачу, и сама не знаю, о чём молюсь и о чём плачу; так меня и найдут». Сад в ее воспоминаниях несет в себе все признаки «райских селений», какими они открывались святым подвижникам Православия.

Излучающая духовный свет Катерина Островского далека от сурового аскетизма домостроевских правил, согласно которым на молитве церковной надлежало «телесний очи долу имети». Именно богатые слои купечества, с недоверием относившиеся к любым переменам, усугубили, довели до крайности ту мироотречную традицию, которая находилась под влиянием формального, внешнего законничества. «Согласно этому воззрению, — писал религиозный мыслитель Иван Ильин, — Царство Божие не только не от мира сего, но и не для мира сего. Мир внешний и вещественный есть лишь временный и томительный плен для христианской души; ей нечего делать с этим миром, в котором она не имеет ни призвания, ни творческих задач. Мир и Бог противоположны. Законы мира и законы Духа непримиримы. Двум господам служить нельзя, а господин мира есть диавол. «Этот» век и «грядущий» век — два врага. И смысл христианства состоит в бегстве от мира и из мира, то есть в неуклонном угашении своего земного человеческого естества. И когда окидываешь взором историю культурного человечества за последние века и видишь этот процесс отхода масс от церкви и христианства, то иногда невольно спрашиваешь себя, не объясняется ли этот процесс, помимо массового духовного кризиса, еще и тем, что христианство доселе не побороло в себе этого мироот-

речного уклона, который учит покаянно уходить от мира и из мира и не учит ответственно входить в мир и радостно творить в нем во славу Божию».

Говоря о том, как «понят и выражен сильный русский характер» в «Грозе», Добролюбов в статье «Луч света в темном царстве» справедливо подметил «сосредоточенную решительность» Катерины. Однако в определении ее истоков он полностью ушел от духа и буквы трагедии Островского. Разве можно согласиться, что «воспитание и молодая жизнь ничего не дали ей?» Без монологов-воспоминаний Катерины о юности в доме матушки разве можно понять основу ее «вольнолюбивого» характера, тот дух, который этот характер питает? Не почувствовав ничего светлого и жизнеутверждающего в религиозных воспоминаниях Катерины, не удостоив ее верующую душу своего просвещенного внимания, Добролюбов рассуждал: «Натура заменяет здесь и соображения рассудка, и требования чувства и воображения». Там, где у Островского торжествует верующая душа, у Добролюбова торчит абстрактно понятая натура. Юность Катерины по Островскому — утро природы, торжественная красота солнечного восхода, светлые надежды и радостные молитвы. Юность Катерины по Добролюбову — «бессмысленные бредни странниц», «сухая и однообразная жизнь».

Подменив культуру натурай, Добролюбов не почувствовал в трагедии Островского главного — принципиального различия между религиозностью Катерины и религиозностью Кабановых. Критик, конечно, не обошел вниманием, что у Кабановых «все веет холodom и какой-то неотразимой угрозой: и лики святых так строги, и церковные пения так грозны, и рассказы странниц так чудовищны». Но с чем он связал эту перемену? С умонастроением Катерины. «Они все те же», то есть и в юности героини тот же холодный религиозный формализм, «они нимало не изменились, но изменилась она сама: в ней нет уже охоты строить воздушные видения».

Но ведь в «Грозе» все наоборот! «Воздушные видения» как раз и вспыхнули у Катерины под гнетом Кабановых: «Отчего люди не лепят!» И, конечно, в доме Кабановых Катерина встречает решительно иное: «Да здесь все как будто из-под неволи», здесь выветрилась, здесь умерла жизнелюбивая щедрость христианского мироощущения. Даже странницы в доме Кабановой другие, из числа тех ханжей, что «по немощи своей далеко не ходили, а слыхать много слыхали». И рассуждают они самоуверенно и самоупоено о «последних временах», о близкой кончине мира. Здесь царит недоверчивая к жизни религиозность, которая на руку столпам общества, злым ворчанием встречающим прорвавшую мироотречную плотину и угрожающую их всевластию живую жизнь.

Именно потому, что симпатии Островского склоняются к мироприемлющему Православию, отцы города предстают у него в освещении, лишенном какого бы то ни было авторского сочувствия. Ведь мироотречные крайности ограничены для столпов города Калинова именно в той мере, в какой они, сидя на миллионах и беззастенчиво обирая малого и слабого, пытаются остановить ропот и возмущение, затормозить и даже «прекратить» живую жизнь. Цепляясь за букву, за обряд, они предают сам дух Православия, столь ярко выраженный, например, в «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона. Они-то в первую очередь и несут ответственность за грозу, за трагическое возмущение молодых жизненных сил. Это они провоцируют тра-

гедию Катерины, ибо, отталкиваясь от бездуховного обрядоверия всей силой своей поэтически одаренной души, она впадает в противоположную крайность, именуемую на церковном языке «прелестью».

### 3

Определяя сущность трагического характера, Белинский сказал: «Что такое коллизия? — безусловное требование судьбою жертвы себе. Победи герой трагедии естественное влечение сердца, — прости счастье, простите радости и обаяния жизни! Последуй герой трагедии естественному влечению своего сердца — он преступник в собственных глазах, он жертва собственной совести».

В душе Катерины сталкиваются друг с другом два этих равновеликих побуждения. В кабановском мире, где вянет и иссыхает все живое, Катерину одолевает тоска по утраченной гармонии. Ее любовь к Борису сродни желанию поднять руки и полететь. От нее героине нужно слишком много. Любовь к Борису, конечно, ее тоску не утолит. Ведь Катерина любит не реального Бориса, а скорее прельщается своею мечтой о некоем избавителе. Борис же, и тут Добролюбов во многом прав, весьма далек не только от православной святости, но и от нравственных идеалов Катерины. В разговоре с Кудряшом он признается: «Я здесь ничего не знаю, ни порядков ваших, ни обычаев». Судьба сводит друг с другом людей, несознанных по душевной глубине и нравственной чуткости. Борис мелковат, он живет настоящим днем и едва ли задумывается о катастрофических последствиях своего любовного романа для правдивой и совестливой Катерины. Борису сейчас хорошо, весело — этого ему и достаточно: «Надолго ль муж-то уехал?.. О, так мы погуляем! Время-то довольно... Никто и не узнает про нашу любовь!» Зараженный нравственной глуховатостью, типичной для молодого поколения «мыслящих реалистов» 60-х годов, Борис, «прибегая к маленьkim хитростям», в самом кульминационном моменте «выходит из толпы и раскланивается с Кабановым», доводя до предела нравственные терзания Катерины, открыто ему заявившей: «Пусть все знают, пусть все видят, что я делаю!» И потом, в сцене последнего свидания, что тревожит Бориса в первую очередь? «Не застали б нас здесь!.. Время мне, Катя!» Тут не христианская кротость и смирение, а душевная слабость и бескрылость, обнажающая всю глубину обольстительного заблуждения Катерины.

Тщетность своих обольщений она начинает сознавать после этого: «Еще кабы с ним жить, может быть, радость бы какую-нибудь я и видела». «Кабы», «может быть», «какую-нибудь»... Слабое утешение! Но и тут Катерина находит силы думать не о себе. Это она просит у Бориса прощения за причиненные ему тревоги. Борису же и в голову такое прийти не может. Где уж там спасти, даже пожалеть Катерину он толком так и не сумеет. «Кто ж знал, что нам за нашу любовь так мучиться с тобой! Лучше б бежать мне тогда!» Но разве не напоминала Борису о расплате за любовь к замужней женщине народная песня, исполняемая не без умысла Кудряшом, разве не предупреждал об этом же открытым текстом Кудряш: «Эх, Борис Григорьевич, бросить на доты!.. Ведь это, значит, вы ее совсем загубить хотите?» А сама Катерина разве не об этом Борису говорила? Увы, герой ничего не заметил, и глухота его весьма примечательна. Дело в том, что душевная культура Бориса, «просвещенного» человека своего времени, совершенно лишена национального нравственного «приданого». Калинов для

него — трущоба, здесь он чужой человек. У него не хватает смелости и терпения даже выслушать последнее признание Катерины.

Добролюбов справедливо увидел в конфликте «Грозы» эпохальный смысл, а в характере Катерины — «новую fazу нашей народной жизни». Но, идеализируя в духе модных тогда идей женской эмансипации свободную любовь, он обеднил нравственную глубину характера Катерины. Терзания героини, полюбившей Бориса, огненное горение ее совести Добролюбов посчитал «невежеством бедной женщины, не получившей теоретического образования». Долг, верность, совестливость со свойственным революционной демократии максимализмом были объявлены «предрассудками», «искусственными комбинациями», «условными наставлениями старой морали». Получалось, что на любовь Катерины Добролюбов посмотрел так же не по-русски легковесно, как и Борис.

Объясняя причины всенародного покаяния Катерины, не будем повторять вслед за Добролюбовым слова о «суеверии», «невежестве», «религиозных предрассудках». Не увидим в «страхе» Катерины трусость и боязнь внешнего наказания. Ведь такой взгляд превращает героиню в жертву и вступает в противоречие с утверждением Добролюбова о мощи характера Катерины, о ее вызове «самодурной силе». Подлинный источник этой мощи ее чуткой совестливости: «Не то страшно, что убьет тебя, а то, что смерть тебя вдруг застанет, как ты есть, со всеми твоими грехами, со всеми помыслами лукавыми». «В ком есть страх, в том есть и Бог», — вторит ей народная пословица. «Страх» искони понимался русским народом как обостренное нравственное самосознание, как «Царство Божие внутри нас». В отличие от Кабанихи, Феклушки и других героев «Грозы» «страх» Катерины — внутренний голос ее совести. Грозу она воспринимает как избранницу: совершающееся в ее душе сродни тому, что творится в грозовых небесах. «Какая совесть! Какая могучая славянская совесть! Какая нравственная сила! Какие огромные, возвышенные стремления, полные могущества и красоты», — писал о Катерине-Стрепетовой в сцене покаяния В.М.Дорошевич. А С.В.Максимов рассказывал, как ему довелось сидеть рядом с Островским во время первого представления «Грозы» с Никулиной-Косицкой в роли Катерины. Островский смотрел драму молча, углубленный в себя. Но в той сцене, когда Катерина, терзаемая угрозами совести, бросается в ноги мужу и свекрови, каясь в своем грехе, Островский весь бледный шептал: «Это не я, не я: это Бог!» Пора и нам по достоинству оценить не столько любовный, сколько покаянный порыв Катерины.

Пройдя через грозовые испытания, героиня нравственно очищается и покидает этот мир с надеждой: «Кто любит, тот будет молиться». «Смерть по грехам страшна», — говорят в народе. И если Катерина здесь смерти не боится, значит грехи ее искуплены. Что же касается самоубийства, которое по христианским понятиям — страшный грех, то Островский ведь показывает не самоубийство, а как бы добровольное слияние геройни с миром Божиим, который она так любила.

#### 4

В трудную минуту жизни Катерина сетует: «Кабы я маленькая умерла, лучше бы было. Глядела бы я с неба на землю да радовалась всему. А то полетела бы невидимо, куда захотела. Вылетела бы в поле и летала бы с василька на василек по ветру, как бабочка». «Отчего люди не летают! Я говорю: отчего люди не летают так, как птицы?

Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела».

Как понять эти фантазии Катерины? Что это? Плод болезненного воображения? Каприз утонченной натуры? Нет! В сознании Катерины оживают древние мифы, шевелятся глубинные пласти славянской культуры. В народных песнях тоскующая на чужой стороне в нелюбимой семье женщина часто оборачивается в мечтах кукушкой, прилетает к матушке в зеленый сад, жалобится ей на лихую долю. Вспомним плач Ярославны в «Слове о полку Игореве»: «Полечу я кукушкой по Дунаю...» Катерина молится утреннему солнцу, так как славяне считали Восток страною всемогущих плодоносных сил. Задолго до прихода на Русь христианства они представляли рай неувядаемым садом во владениях бога света. Туда, на Восток, улетали все праведные души, обращаясь после смерти в легокрылых птиц. В одухотворенном и преображенном виде эти верования перешли в христианские представления. В жизнеописании св. Марфы, например, христианской праведнице снится сон, как она, окрыленная, улетает в синеву поднебесную.

Вольнолюбивые порывы Катерины даже в детских ее воспоминаниях не стихийны: «Такая уж я зародилась горячая! Я еще лет шести была, не больше, так что сделала! Обидели меня чем-то дома, а дело было к вечеру, уж темно, я выбежала на Волгу, села в лодку да и отпихнула ее от берега». Этот поступок маленькой Катерины вполне согласуется с народной ее душой. В русских сказках девочка обращается к речке с просьбой спасти ее от злых преследователей, и речка укрывает ее в своих берегах. Когда-то славяне поклонялись рекам, верили, что все они текут в конец света белого, где солнце из моря поднимается, — в страну правды и добра. Издревле бросали они стружки от гроба в проточную воду, пускали по реке вышедшие из употребления иконы. Так что порыв Катерины искать защиты у Волги — это уход от неправды и зла в страну света и добра, это неприятие напраслины с самого детства, это готовность оставить мир, если в нем все ей «опостынет».

Реки, леса, травы, цветы, птицы, животные, деревья, люди в народном сознании Катерины — органы живого одухотворенного существа, Господа Вселенной, созидающего о грехах людских. Ощущение божественных сил неотделимо у Катерины от сил природы. В народной «Голубиной книге»

Солнце красное — от лица Божьего,  
Звезды частые — от риз Божиих,  
Ночи темные — от дум Господних,  
Зори утренни — от очей Господних,  
Ветры буйные — от Святого Духа.

Вот и молится Катерина заре утренней, солнцу красному, видя в них и очи Божии. А в минуту отчаяния обращается к «ветрам буйным», чтобы донесли они до любимого ее «грусть тоску-печаль».

В народном миросозерцании вся природа принимала эстетически высокий и этически активный смысл. Человек ощущал себя ее сыном. Народ верил, что добрый человек может укрощать ее силы, а злой, напротив, навлекать на себя ее немилость и гнев. Почитаемые народом праведники возвращали в свои берега разбушевавшиеся при наводнении реки, укрощали диких зверей, повелевали громами. Не почувствовав первозданной свежести внутреннего мира Катерины,

не поймешь жизненной силы и мощи ее характера, образной тайны ее народного языка: «Какая я была резвая! — обращается героиня к Варваре, но тут же, сникая, добавляет: — Я у вас завяла совсем». Цветущая заодно с природой душа Катерины действительно увядает во враждебном ей мире Диких и Кабановых. Смерть же ее напоминает молитву юной героини в храме природы и возвращает нас к началу трагедии. Смерть освящается той же полнокровной и жизнелюбивой религиозностью, которая с детских лет вошла в сознание героини, религиозность типично народной, которая в стихотворении Некрасова «Похоронь», например, тоже оправдывает и прощает заезженого интеллигента-самоубийцу, заступника народного:

И пришлось нам нежданно-негаданно  
Хоронить молодого стрелка,  
Без церковного пенья, без ладана,  
Без всего, чем могила крепка...

«Отпевание» совершается не в храме, а в поле, под солнцем вместо свечей, под птичий гомон, заменяющий церковное пение, среди колыхающейся ржи и пестреющих цветов. И «купокоился бедный стрелок» «под густыми плакучими ивами» со всеми признаками народной веры в его бессмертие:

Будут песни к нему хороводные  
Из села по заре долетать,  
Будут нивы ему хлебородные  
Безгреховные сны навевать...

Не то же ли самое проносится в сознании расставшейся с калиновским миром Катерины? Умирает она удивительно. Ее смерть — это последняя вспышка радостной, беззаветной любви к божественной основе мира, к деревьям, птицам, цветам и травам, к красоте и гармонии. Смерть преодолевается верой в неиссякаемую силу божественной благодати, природным миром излучаемой. Не геенну огненную, а лучистый солнечный свет, весеннее обновление ждет Катерина за гробом. Монолог ее о могилушке — пробуждающиеся к жизни, застывшие фольклорные метафоры, хранящие энергию древних ветрований. Народные песни о смерти девушки или женщины, пострадавшей от злого ненавистника или от лютой свекрови, овеяны надеждой на вечную жизнь и бессмертие. Человек после смерти превращается в дерево, растищее на могиле, или в птицу, вьющую гнездо в его ветвях, или в цветок, дарящий улыбку прохожим.

Вот почему после смерти своей, напоминающей скорее не самоубийство, а добровольный уход в мир природы, Катерина сохраняет все признаки, которые, согласно народному поверию, отличали святого человека от простого смертного: она и мертвя — как живая. «А точно, ребята, как живая! Только на виске маленькая ранка, и одна только, как есть одна капелька крови». Гибель Катерины в народном восприятии — это смерть праведницы. «Вот вам ваша Катерина. Делайте с ней, что хотите! Тело ее здесь, возьмите его; а душа теперь не ваша: она теперь перед тем Судией, Который милосерднее вас».

## 5

Порывая с миром Кабановых, Катерина находит спасение в духовно-нравственной атмосфере, которая возникла на Руси еще до принятия христианства и закрепилась навек в фольклорном

мироощущении. Известно, что язычество древних славян, мощные пласти которых сохранило устное народное творчество и живой, образный великорусский язык, являло собою довольно развитую систему духовно-нравственных представлений, связанных с культом воссоздающих, созидающих сил природы. Нравственное ядро этих древних верований было органически усвоено христианством. Народное миросозерцание оказалось во многом созвучно ему и даже способствовало развитию нравственных начал Православия. И.А.Ильин замечал, что «греческое вероисповедание мы, не исказя, восприняли настолько своеобразно, что о его «греческости» можно говорить лишь в условном, историческом смысле». «Главное состояло в том, — поясняет его мысль О.А.Платонов, — что новоиспеченные русские христиане внесли в новую веру глубокие нравственные начала, рожденные еще в дохристианский период, и прежде всего мысль о приоритете добра в жизни, о неизбежности победы добра в борьбе со злом. На Руси православное христианство стало добротолюбием, вобрав в себя все прежние народные взгляды на добро и зло и оптимистическую веру в добро.

Крещение Руси соединило два родственных мироощущения. Так, русские внесли в Православие жизнеутверждающий оптимизм победы добра и усилили его нравственные начала, придая им более конкретный характер практического добротолюбия. Этим русское Православие отличалось от византийского, которое абсолютизировало идею зла, его неотвратимости, преодолеть которое можно только через аскетизм и мистические искания.

Вместе с тем живущая в русском фольклорном сознании система духовных ценностей, связанная с язычеством и уходившая в доисторические времена, была постоянным источником соблазна и «прельщения». Этот соблазн возникал тогда, когда историческое Православие слишком уклонялось к формальному законничеству, глубоко враждебному русскому народному сознанию. Отталкиваясь от него, оно соскальзывало в этом случае к глубинным и как бы «запасным» мифологическим первоосновам. По замечанию русского историка Н.И.Костомарова, «христианские пастыри, распространяя веру кротко, обращали в христианские те из языческих обрядов, которые не заключали ничего противного идеи христианства». Но полного тождества между древним язычеством и христианством быть не могло, а потому отталкивание от несовершенных проявлений христианства исторического порождало всегда опасность выхода народного сознания из круга догматических православно-христианских представлений и уклона в поэтизацию древних фольклорных формул, в обольщение поэтической стороной славянской мифологии. Художественно одаренная натура Катерины как раз и впадает в финале «Грозы» Островского в этот русский соблазн. В то же время Островский не мыслит национального характера без этой мощной и плодотворной поэтической первоосновы, являющейся источником художественной фантазии и хранящей в первозданной чистоте инстинкт русского добротолюбия.

К сожалению, в течение многих и многих десятилетий смысл трагической коллизии в «Грозе» Островского сводился к обыкновенному социальному конфликту. Однако в действительности национальный драматург уловил в «Грозе» тревожные симптомы глубочайшего мировоззренческого сдвига, эпохальный смысл которого мы только еще начинаем постигать, пройдя через сложные исторические

изломы, потрясавшие национальный организм России в XX столетии. Конфликт «Грозы» вбирает в себя противоречия, исподволь назревавшие в процессе тысячелетнего исторического развития. Мудрый Островский раскрывает в «Грозе» глубинные истоки великой религиозной трагедии русского народа, разыгравшейся в начале XX века, когда он, отталкиваясь от мироотречного уклона и фарисейского «обрядоверия», в прельщении своем впал в христианское отреченье. В этом качестве «Гроза» Островского имеет пророческий смысл, который не был понят ни современниками, ни потомками национального драматурга. Катастрофические последствия этого непонимания, этой духовной слепоты мы пожинаем сейчас в безобразиях и бесстыдствах смутного времени.

Алексей Базанков

## ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

Художественная интеллигенция провинции 20-х годов.

Революция, по словам Александра Блока (об этом он писал 9 января 1918 года), жестоко обманывает многих; она легко калечит в своем водовороте достойного; она часто, как грозовой вихрь, выносит на сушу невредимыми недостойных; но — это ее частности, это не меняет ни общего направления потока, ни того грозного, оглушительного гула, который издает поток...

В этом потоке событий провинции не удалось сохранить свой стиль жизни, она не всегда лучшим способом копировала элементы «заглавных тенденций», а провинциальная интеллигенция не сразу обрела свое место, обозначила свое назначение.

Не потому ли ни в одном статистическом справочнике невозможно найти данных о количестве художественной интеллигенции? Наиболее достоверные сведения имеются лишь в статистических отчетах профессионального союза работников искусств (РАБИС), а так же в докладных записках творческих организаций. Принимая во внимание то, что не все художники, писатели и прочие творческие деятели входили в союзы, мы можем получить некоторые обобщающие цифры по исследуемому региону.

В 1921 году в Иваново-Вознесенской губернии было 24 литератора. Ярославская ассоциация пролетарских писателей, по сведениям правления, в марте-декабре 1926 года объединяет 130-150 человек писателей. В 1926 году в Костромском ГубРАБИСе состояло 225 человек.

Наиболее полные сведения имеются по 1928 году. Ивановское губернское отделение РАБИС в 1928 году состояло из 459 членов, работающих в области искусств, еще 11, по имеющимся данным, входили в другие союзы (итого 470 чел.).

Количественный рост художественной интеллигенции более быстро происходил в 1921-26 гг., (примерно в два раза). Связано это с некоторой либерализацией в отношении художественной интеллигенции и творческих союзов в условиях НЭПа. Позднее рост замедляется

ся, и в период с 1926 по 1932 гг. количество представителей художественной интеллигенции в регионе увеличилось в 1,2 раза. Причины замедления роста численности: повышение профессиональных требований к творцам (время «синеблузников» прошло — А.Б.), идеологизацию искусства, кризис творческих организаций, начавшуюся травлю представителей творческой интеллигенции, повышение престижа технических профессий, связанное с периодом первой пятилетки. Внутрирегиональная специфика заключалась в уменьшении количества художественной интеллигенции в Костроме (влияние нового административно-территориального деления, когда Кострома потеряла статус губернского города) с одновременным увеличением в Иваново-Вознесенске. Ярославль и Владимир, более крупные города, даже потеряв свой губернский статус, предоставляли больше возможностей для творческого роста.

Многие писатели и художники работали на производстве или индивидуально, входили в другие союзы. Или же, не считая себя профессиональными художниками, старались не называться таковыми. К концу 1920-х годов общая численность художественной интеллигенции в исследуемом регионе вряд ли превышала 1000 человек, но эта относительная малочисленность отнюдь не свидетельствует о том, что незначительно было ее влияние в обществе.

При оценке художественной интеллигенции немаловажную роль играет вопрос о классификации и социальной дифференциации.

По профессиональному признаку, а именно по характеру творчества, можно выделить художников слова (писателей, поэтов, драматургов, начинающих литераторов), художников, музыкальных работников (композиторов, музыкантов), театральных работников (актеров, режиссеров, хореографов). Основным критерием при профессиональном отборе является художественно-образное творчество. Однако и такую классификацию можно считать условной, потому что талантливая личность может проявить себя в нескольких художественных сферах. (Н. Е. Вирта, В. П. Вопилов, В. А. Никифоровский, А. Д. Попов, Н. П. Алешин и др.)

Социальное происхождение или принадлежность к какому-либо классу, страту, слою не могут быть поставлены в качестве критерия для классификации художественной интеллигенции. Люди, создающие искусство, встречались во все времена и во всех социальных группах. Были художники из крестьян и дворян, рабочих и буржуазии и т.д. Часто можно услышать высказывания о том, что основная профессия человека определяется по количеству материальных средств, получаемых от той или иной деятельности. Например, если кто-то пишет книги и не имеет от них ни рубля, но одновременно регулярно получает зарплату на фабрике, то он рабочий и т.д.

Здесь необходимо отметить общее тяжелое финансовое и материальное положение художественной интеллигенции в условиях НЭПа. Практически отсутствовала возможность заработать художественным творчеством. В результате общей разрухи, роста цен, дефицита многих товаров, экономических кризисов (даже НЭП и некоторая коммерциализация в искусстве не давали ощутимых результатов), улучшения материального положения художественной интеллигенции в первой половине 1920-х годов фактически не произошло. Государственная помощь тогда заключалась в распределении пайков, продуктов питания и потребления, в бесплатном обеспечении необходимыми товарами и средствами, в бесплатной подготовке специалистов, в предоставле-

ния разовых работ безработным, в расширении масштабов культурной деятельности.

Сложно и противоречиво протекал процесс коммерциализации в театре, связанный с новой экономической политикой советского государства. В условиях хозяйствования на основе хозрасчета, рентабельности и т.д. бедственное положение театров и театральной общественности продолжало усиливаться, здания и помещения постепенно приходили в негодность, реквизит не обновлялся, заработка плата деятелей театра не увеличивалась. Даже в столице ситуация была ужасающая. По мнению историка Е.А.Токаревой, условия, в которых приходится работать... таковы, что если они не будут изменены срочно и твердо, лучше театр просто закрыть... Если любой член данного театра от первого его артиста до последнего сторожа не имеет дополнительного приработка, если кто-нибудь из них прервет на одну-две недели свой труд.., он со всей семьей обречен на тяжкую нужду во всех ее видах, вплоть до голодной смерти.

О тяжелом материальном положении творческих работников свидетельствует и письмо руководителя литературного подотдела Иваново-Вознесенского Губполитпросвета Жижкина, который обратился с ходатайством к Народному Комиссару по Просвещению А.В.Луначарскому.

Конечно, для русской художественной интеллигенции материальные интересы никогда не были первостепенными. Деньги, гонорары рассматривались лишь как средство к существованию. В первую очередь ценилась работа для души, а не для кошелька.

Более разумно классифицировать художественную интеллигенцию не по социальным признакам, а по принадлежности к различным художественным течениям, по стилю. Это сделать чрезвычайно трудно, потому что пристрастия художника могут меняться, да и принадлежность к различным художественным течениям весьма условна. Тем не менее попытаемся дать свою классификацию.

Художники, склоняющиеся к пролетарскому взгляду на искусство: пролетарские писатели и поэты, «синеблузники», пролеткультовцы и др. Это была самая большая группа, основу которой в начале 20-х годов составляла молодая художественная интеллигенция, но к середине 20-х, в силу житейских и политических обстоятельств, начали к ней примыкать и старые творческие кадры. Именно в этой группе разрабатывался и оттачивался принцип «социалистического реализма».

Приобщение к футуризму в исследуемом регионе в основном было связано с популярностью В.В.Маяковского, В.В.Хлебникова, И.В.Северянина (эгофутуризм), деятельностью Лефа. Наибольший расцвет этого направления в искусстве приходится на первую половину 20-х годов. Позднее под влиянием метода «социалистического реализма» футуризм прекратил свое существование. Упоминания о принадлежности к этому направлению искусства исчезают в регионе еще раньше, в 1925-1926 гг., в результате деятельности РАППа и АХРРа.

А символизм в провинции был представлен в основном «имажинизмом». Тут сказалась любовь к поэзии Есенина. Среди поэтов это направление было очень популярно в начале 1920-х годов. В конце 20-х в Верхнем Поволжье начинается борьба с «тейковщиной», во время которой были «выкорчеваны» последние ростки символизма.

Активно развивалось крестьянское направление в поэзии и прозе. Особой популярностью пользовались журналы «Красная нива»,

«Перевал»; заметное влияние имела деятельность редактора этих журналов А.К.Воронского. Среди художников этого направления были представители новой и старой художественной интеллигенции. Творчество И.М.Касаткина, А.К.Воронского, братьев Алешиных и др.— яркий пример высокой нравственной и жизненной позиции, глубокого знания народной жизни. Связь с «почвой» позволяла воспринимать, передавать и воспитывать традиционные русские ценности.

Крестьянское и реалистическое направление в искусстве было представлено равномерно по всему пространству Верхнего Поволжья; пролетарское искусство — больше в Иваново-Вознесенской и Ярославской губерниях; имажинизм, символизм и футуризм — в Костромской и Иваново-Вознесенской губерниях.

Труд художника оригинален, своеобразен, неповторим и не поддается статистическому учету. Художественная интеллигенция чутко реагирует на социально-политическое, духовное и культурное состояние в обществе, через свое творчество дает оценку происходящему, предлагает пути преодоления обстоятельств, прогнозирует будущее. Поэтому наиболее важно выяснить с исторических позиций отношение художественной интеллигенции к действительности. Именно исходя из этого критерия, многие современные и зарубежные историки выделяют различные группы в художественной интеллигенции в 1920-х начале 30-х годов.

Революция овладевала сознанием и самых «изнеженных» представителей художественной интеллигенции, поначалу замкнувшейся в собственном трагическом смятении, непонимании реальности, они пытались строить свои справедливые миры (Ефим Честняков). Многие поэты, художники стали ориентироваться только на личный жизненный круг, как высшую творческую общность, на свои, особые, ценности. Абстрактно-гуманистические иллюзии, политическая близорукость рождали смутные образы, тосклившую интонацию. Но даже такие ранимые поэты, как Марина Цветаева или Маяковский, а из местных — Анна Баркова или Д.Н.Семеновский, обретали концентрацию интеллекта, страсти и воли. Происходила все-таки трансформация сознания. Провинциальные художники, писатели относились с презрением к суете, хватательным инстинктам и не могли отказаться от своей практической философии вездесущей защиты обиженных. «Прав, раз обижен». Но революция «обижала» не всегда по заслугам — это еще добавляло психологических трудностей тем, кто имел опыт, и тем, кто только начинал творческую работу.

Из нашего времени, на расстоянии, следует иначе относиться к так называемой контрреволюционности многих представителей художественной интеллигенции, потому с определенной условностью надо принимать статистическую учетность и классификацию по группам.

Анализ взаимоотношений художника и власти невозможен без учета положения различных социальных групп художественной интеллигенции в провинции. При этом заметим, что основное внимание большевиков было направлено на писателей и литераторов. Если столичная интеллигенция стояла перед выбором — либо сотрудничество с Советской властью, либо выезд за границу с надеждой на скорое возвращение, либо открытое сопротивление и саботаж решений Советской власти, то провинциальная, не имея возможности выезда за границу, и не желала этого. Она скорее шла на сотрудничество с новой властью, чем на открытое противостояние ей.

В условиях новой экономической политики исследуемый регион имел специфические особенности общественной и культурной жизни, а положение и роль творческих работников значительно отличались от столичных. Основываясь на классово-идеологическом принципе, можно выделить несколько групп художественной интеллигенции Верхнего Поволжья.

1. Откровенно и всецело работающие на идеологические установки, находящиеся в моральной и материальной зависимости, обусловленной пайками, должностями, партийной и комсомольской принадлежностью. Кроме того, партию и интеллигенцию объединяла в первые послереволюционные годы потребность в творчестве, желание обновления жизни.

В союз с новым революционным классом вступали, главным образом, левые и крайне левые художники. Правда, левизна их лишь редко и более или менее случайно совпадала с левизной политической. Подобные исключения были и среди правых, т.е. реалистов, импрессионистов и т.д. Но вся формация левых, которые в то время суммарно назывались футуристами, состояла из людей более или менее молодых и поэтому легче перешла на новый берег. Однако действительность показала, что у представителей этой группы деформации изображаемых элементов природы, тенденция к полной беспредметности, весьма неприязненно воспринимались пролетариатом. И лишь в самое последнее время осознано, что «искания всякого рода кубистов, супрематистов, конструктивистов, в сущности ничего не дали», — отмечал 1 июля 1930 г. А.В.Луначарский в отзыве на проект декларации Федерации художников изобразительных искусств.

2. Сомневающиеся, занятые серьезным и трудным поиском своего места в условиях новой экономической политики, способов художественного отражения действительности, своих взаимосвязей с известными представителями старой интеллигенции. «Революция уничтожила тот класс буржуазных любителей искусства, которые оказывались покупателями или заказчиками. Первоначально почти все правоидеалистическое, реалистическое крыло совсем растерялось». Так писалось в официальных документах.

3. Независимые — представители художественной интеллигенции, имеющие народное признание и уважение в творческой среде, материальную обеспеченность, общероссийскую известность, связи со столичными журналами и издательствами, обществами, творческими группировками. Чаще всего они предпочитали работать «в стол», чем менять свою жизненную и творческую позицию, художественный стиль. Видели своей основной целью не служение конкретному моменту, а создание, сохранение и приумножение духовных ценностей русской культуры. Ставили проблемы нравственного самосовершенствования человека, любви к Родине и природе.

4. Критически настроенные «приспособленцы». Эта часть провинциальной художественной интеллигенции, не принимая некоторых направлений развития культуры и творчества, в силу особенностей провинциальной культурной жизни и своей малочисленности в открытую борьбу против партийных и идеологических установок не вступала, в митингах и протестах не участвовала, но через свои произведения выражала критическое отношение к происходящему в обществе.

На литературных вечерах, художественных выставках, где аудитория слушателей была сплошь интеллигентская, прорывалась кри-

тика революционной действительности: «Революция пришла, но не желанной, грубой, пьяной, пришла не с светом, а впопыхах... и уткнула в бок железной вилой и разломила таз...»(Громов). А дальше «пьяный кошмар», «взрывы храмов и костелов» и т.д. «Деревянный непокрашенный крест, на котором ее здесь распяли» (Курицын). Вот почему такими яркими мазками автор Соколов заставляет солдат-революционеров насиловать женщину и неистово вопить: «Мы красное солнце потушим!». Ему же принадлежат строки: «Земля Петроградско-Московская уливается русской кровью».

Художественная интеллигенция видела в новой экономической политике не только экономические преимущества, но и негативное воздействие на моральный и нравственный облик русского человека. Справедливо критиковался разгул ханжества, торгащества, алчности. Даже в литературе подобного жанра новоявленные бюрократы находили опасность для себя и своих позиций. Творческая интеллигенция при любом общественном строе обращает внимание в первую очередь на духовный мир человека, через него и формируется отношение к действительности.

Для руководящих структур в определенный период представители всех этих четырех групп могли оказаться неугодными и подвергались репрессиям. Эпоха сталинизма стала черными днями, жертвой репрессий оказалась оппозиционная и признавшая Советскую власть старая интеллигенция. В условиях террора, деформации принципов социализма, культа личности интеллигенция вновь оказалась в оппозиции. Именно этого не могла ей простить партийная элита.

В практике повседневного руководства интеллигенцией на местах никто не оставался вне поля зрения власти, при этом существенное значение имел классовый, сословный подход, учет происхождения.

Исторические и общественные условия двадцатых годов, особенности провинциальной жизни, иной интеллектуальный уровень требований определяли специфику формирования новой художественной интеллигенции, которая должна была пережить полосу сложных духовных исканий, преодолеть многие заблуждения. Надо учитывать главную примету провинциальной интеллигенции, процветающую «издалека», из отечественной истории. Художники, писатели, артисты пришли от корней, истоков, глубин старой патриархальной России с тяжелым грузом быльих идеалов, иллюзий, с явным притяжением земли, народного быта, фольклора. Россия — земледельческая, крестьянская страна. В провинции естественно преобладание почвеннических настроений. Живописно пропступала «краса» недавнего купеческого быта (Кустодиев — в живописи, Островский — в драматургии, Касаткин — в литературе), озорная пышность соседствовала с нищетой деревни, гнетом податей, пьянством. Отсюда, из этой противоречивой атмосферы, начинали свой творческий путь застенчивые выходцы из «малокультурной» среды, обладающие поэтическим чувством и фантазией писатели: И.Д.Вавилов, Н.Е.Вирта, А.П. и Н.П.Алешини, А.К.Воронский, С.Д.Дунаев, И.П.Жижин, И.М.Касаткин, Н.И.Колоколов, В.А.Никиторовский и др.; драматург Д.Н.Семеновский и др.; художники: В.И.Беляев, М.Е.Бритов, В.П.Вопилов, И.И.Дубов, Н.М.Зиновьев, А.М.Корин, А.И.Яблоков и др.

Революцию они, как и Сергей Есенин, принимали «с крестьянским уклоном». Поэты приняли ее как осуществление народной мечты о мировой справедливости, совпадающей для них со справедливостью социальной. Они, повторив путь Горького, про-

шли школу сkitаний по лавкам купцов и базарной толчеи на волжских берегах, стихийно, мужицким сознанием отыскивали свой путь, но становились отнюдь не какими-то попутчиками, а радетелями социального переустройства. Слабо разбираясь в программах и декларациях партий, литературных школ и творческих направлений, они искренне искали достоверный, зримый идеал будущего, чуждый теоретической абстрактности. Это и отразилось в художественном творчестве.

Революция в стране с многоукладной пестротой классов, сословий, областей и традиций — явление чрезвычайно сложное. В водовороте событий непросто было разобраться, и потому не могут быть справедливыми теоретические претензии к художественной интеллигенции Верхневолжья. Нам следует учитывать особую трудность пути художественной интеллигенции к глубокому осознанию пролетарской идеологии, эту трудность с примерным терпением в 20-х годах должны были принимать во внимание и властные структуры.

Едва пережив страшный голод в Поволжье, многие художники должны были уловить в народе «чудесную праздничную энергию революции». Жажда солнца, мечта и надежда в народе не убывала, и потому творцы оказались «революцией мобилизованными и призванными». Чтобы раскрыть, утвердить свои лучшие надежды, ожидания, они искали гиперболы, красочные образы, пламенные метафоры. В двадцатые годы такой путь нередко казался единственным правильным, подлинным реализмом.

Чувства, непосредственные ощущения сердечной реакции на обновление, мечты и вера — всего этого, конечно, было мало для познания исторических закономерностей способом бытописания, оно не давало возможности увидеть крестьянскую Россию, самого крестьянина в перспективе истории, в разноречивой классовой борьбе. Развороченный бурей был сказывался в настроениях художественной интеллигенции.

Особенность русской культуры, конечно же, порождена выходцами из деревни, сельской местности, воспитанных народным бытом и фольклором.

За мной незримым роем  
Идет кольцо других,  
И далеко по селам  
Звенил их бойкий стих.

Это Есенин сказал о крестьянских сыновьях, интеллигентах в первом поколении, они были рождены революционной эпохой.

Действительно, происхождение — питательная почва на весь творческий путь любого художника. По словам Федора Абрамова в речи на шестом съезде писателей России, все мы должны с благодарной памятью помнить о тысячелетней истории «старой деревни», о той многовековой почве, на которой всколосилась вся наша национальная культура: ее этика и эстетика, ее фольклор и литература, ее чудо-язык. В деревне все наши истоки, наши корни, там, в каждодневных трудах на земле зарождается и складывается наш национальный характер.

Единое интеллектуальное, духовное и культурное пространство выстраивается трудами многих, а не только представителями, по условию отличительным правилам сформированным в столичной элите. Живущие в провинции творческие люди создавали нечто важное, незаменимое, исходящее из «почвы» в виде родников, истоков.

Представители художественной интеллигенции были самыми образованными и грамотными в провинции. Поэтому тех, кто считался лояльным, имел рабочее или крестьянское происхождение, привлекали к сотрудничеству с советскими и партийными учреждениями. Там, где им удавалось занять высокие посты, было более благоприятное отношение к культуре и искусству, например, в Костромской губернии, где руководителями партийных и советских органов были люди творчески одаренные: Бляхин (занимал руководящие посты в Губкоме и Горкоме РКП(б), Новлянский (Губисполком), Высоцкий (Губполлитпросвет) и др.

Не только архивные документы и разного рода статистика, но и недавно ставшие доступными издания из фондов спецхрана дают нам основания для относительно объективного взгляда на художественную интеллигенцию. В последнее время опубликовано большое количество статей, дневников, мемуаров, писем, ранее запретных произведений, содержащих очень важные «личностные» свидетельства, рассказов о судьбах интеллигентской эмиграции.

Большинство представителей художественной интеллигенции Верхнего Поволжья верили, что лишь в революционных преобразованиях заключено живое будущее столь близкой их сердцам провинциальной жизни. Творческие порывы определялись принятием революции, любовью к родине, всечеловеческим интернациональным пафосом, культом трудовой нравственности, кровной связью с природой, желанием родному миру красоты и гармонии, сознанием личной причастности к преобразованиям — вот такие главные устои морально-психологического и социального свойства объединяли этих творцов.

Для провинциальной интеллигенции были характерны: крах сложившихся представлений и ориентаций, с одной стороны, а с другой — вера в радостное, яркое, жизнеутверждающее и романтическое будущее. Все это отражалось в создаваемых (литературой, театром, живописью, другими видами искусства) социально-психологических типах и художественных образах.

Провинциальная интеллигенция (за исключением разве театральной) оценивала происходящее в обществе с «крестьянским уклоном», воспринимая революцию и НЭП как осуществление народной мечты о мировой справедливости, совпадающей для них со справедливостью социальной. (В скобках обратим внимание на особые трудности творческого существования новокрестьянских поэтов, потому что нападками групповой критики они надолго были вытеснены из литературной жизни. Пренебрежительное отношение элиты — гонителей троцкистско-раппоповского толка — к тем, кто «не знал великой культуры», сказывалось на самочувствии не только поэтов, но и художников, музыкантов. Но наиболее уверенно чувствовали себя творческие работники, занимающие руководящие должности или привлеченные к партийной и советской работе.)

Происходило огосударствление профессиональных творческих союзов, влиявших на социально-психологический портрет и творческие судьбы. Появляются явные признаки профессиональной принадлежности, корпоративного коллективизма, несущего дополнительные штрихи к «портрету» (театральная интеллигенция, объединения писателей, живописцев определенных школ и направлений). Происходит, пусть и менее заметная в провинции, идейно-политическая поляризация. По-разному складываются на этой основе (а не только на усложнении

виях происхождения) творческие биографии и судьбы в первые десять лет Советской власти. Одним доставались трудные дороги, скитания, трагические обстоятельства, другие получали скорое признание, обласканное положение и славу. Но в разнообразии условий жизни и творчества почти все представители интеллигенции обладали высоким трудолюбием, даже при критическом настроении проявляли исповедальную искренность, любовь к окружающему миру, сочувствие униженным и оскорблённым.

Аналитический взгляд на художественную культуру провинции 20-х годов после окончания гражданской войны (когда подавлялось любое открытое неповиновение) невозможен без учета тотальной одержимости народного темперамента, испытанной способности к долготерпению, русской добродетели сердца и совести. Если речь идет о культуре — нравственности, искусстве, правосудии, то и здесь русский, по утверждениям философа Ильина, начинает с чувства и сердца.

В 1920 году известный палеограф Василий Николаевич Щепкин в статье «Душа русского народа в его искусстве» отмечал: «Мы спрашиваем себя (...), что делает в мире русская душа? Мы обращаемся к ее созданием и открываем, что это одна из самых ШИРОКИХ и ПРОСТЫХ душ мира, что она чает без корысти, созерцает сочтенно: людей — скорбно, природу — ясно, небо — радостно... Мы чувствуем при этом, что эта душа прекрасна не тогда, когда горит и трепещет, а тогда, когда созерцает и теплится...»

Ни революция, ни война, ни другие потрясения душу перестроить не смогли. Художественная интеллигенция провинции это повседневно чувствовала, сознавала и учтивала. Не утратив связи с народной жизнью, она наиболее правдиво отражала настроения близких ей слоев общества, находящихся под влиянием новой экономической политики.

Выходцы из провинции тоже несли в себе печать ужаса, гнева и ненависти тех лет — это существенно отразилось на художественном творчестве. Художники слова в первую очередь, широкой волной пришедшие на создание новой культуры, скоро замеченные и призванные в столицу, несли с собой недавнее прошлое и потому, даже поддаваясь литературным веяниям эпохи, все-таки оставались верны потоку народной жизни. Так было не только с Л. Сейфуллиной, А. Неверовым, Д. Фурмановым, И. Касаткиным, С. Марковым.

В двадцатые годы наблюдается отток литературных сил в столицу. Только в 1922 году из Иваново-Вознесенска вслед за А. Воронским уезжают М. Артамонов, Н. Смирнов, И. Жижин, А. Баркова, несколько позже — Е. Вихров, М. Сокольников, Н. Колоколов. А литературная жизнь не замирает: уехавшие поддерживают связь с родным городом, в литературу и журналистику приходят новые местные силы.

В основном-то получалось движение только в сторону столицы. Но и там выходцы из провинции попадали в противоречивые обстоятельства нэповского времени. В эссе «Обретаемое время» (1954) Анна Баркова так вспоминает свое первое московское чувство 1921 года: «Вот я иду от Ярославского вокзала до Мясницкой. Грохот трамвая, сиротливость. Одиночество и страх. Мясницкую я вспоминаю почему-то темной, необычайно глубокой и холодной, словно заброшенный колодец. Дом с вывеской МПК — старый, кажется, ампирный — порождает особую тоску и ощущение безвыходности, бюрократической силы и равнодушия нового государства».

Отношение к НЭПу прослеживается по различным свидетельствам, прорывалось оно и на страницах газет. Об этом можно судить даже по заголовкам публикаций: «Кое-что о бережливости», «Молодежь в очаге разврата», «Спекулянтам почет, рабочий подождет». В костромской губернской газете существовала рубрика «На перо рабкора», в ней публиковали свои заметки и представители художественной интеллигенции. Они обличали пороки НЭПа, здесь же художники представляли разнообразные карикатуры чиновников и коммерсантов.

Однако встречались и положительные оценки. «По мере того, как в этом кооперативном обороте все более и более действительным становится участие масс — НЭП прямым путем приведет нас к социализму, он и сейчас является, по определению тов. Сталина, «боеспособной системой крупного государственного социалистического производства...».

Во второй половине 20-х годов, в период нарастания кризиса новой экономической политики, появились категорично-разочарованные суждения. «В годы НЭПа в глухой провинции труд художника оплачивался плохо, даже там, где он был очень нужен, — докладывал профуполномоченный при Мстерском техникуме С. Светлов, — а тут еще третий и четвертый тарифные пояса и скучный местный бюджет... Зачастую вся его (художника) энергия уходила на чуждую его морали коммерческую работу».

Но и пришедшая вслед за НЭПом коллективизация была воспринята неоднозначно. У некоторых творцов наступило запоздалое прозрение. В протоколах допросов Анны Барковой зафиксировано: «В 1927-1928 годах сочувствовала идеям троцкизма, считала, что руководители большевистской партии поступили неправильно, не дав оппозиции высказаться в широком масштабе. В 1931 году считала, что партия преждевременно проводит коллективизацию усиленными темпами, зажимает свободу личности и в извращенной форме осуществляет строительство социализма. Эти свои мысли и настроения я выразила в стихах». Таково свидетельство не разовой эмоциональной вспышки, не грубой фальсификации. Твердое и последовательное убеждение талантливого человека нашло отражение в художественных произведениях.

Таких прямолинейных суждений мало было зафиксировано в публикациях и архивных документах. Мы вынуждены пользоваться опосредованным анализом отношения художественной интеллигенции Верхнего Поволжья к послереволюционной действительности и НЭПу, опираться на различные данные о творческой активности, материальном положении и социальной дифференциации, на биографические факты. Негативное отношение к политике государства в годы НЭПа объяснялось в основном идеологическими и экономическими факторами, а положительное — определенной свободой творчества и возможностью существования разнообразных художественных группировок и литературных изданий. Взаимодействие факторов и условий зависело от конкретной экономической и политической ситуации в регионе. Так, суждения, вызванные экономикой, преобладали в начале 20-х гг., а идеологией, политической борьбой — в конце 20-х — начале 30-х годов. Труднее для интеллигенции было преодоление «идеологического» несогласия с государственной, партийной и культурной политикой, так как это было связано с переориентацией сознания.

## ТАЙНОПИСЬ СЛАВЯНСКОЙ АЗБУКИ

В «начале времен» избранные сыновья человечества, Великие Посвященные, получили в дар свыше возможность проникновения в величайшую тайну мироздания, чтобы донести ее до всего человечества. Тайна эта — звук, воплощенный в букву, цифру и ноту. Без этой триады немыслимо существование ни самого мироздания, ни его главной составляющей — разумной жизни: от самого дикого и отсталого племени до самой высокоразвитой цивилизации в любом конце Вселенной. В древнейшей «Книге Творения» говорится: «Господь Ангелов и Сил Небесных, Царь Вселенной создал и сформировал Вселенную в 32 непостижимых этапа мудрости с помощью трех элементов, или сфер, а именно: Число-Буква-Звук. Десять чисел, или сфер, и 22 буквы составляют Основы всех вещей».

Подобие такого эзотерического (тайного, сокровенного) плана воспроизводят все древние буквенные системы мира: особые священные азбуки имелись у многих древних народов. В дошедшей до нас литературе далеких времен есть много указаний на неведомые шифры, с помощью которых составлялись алфавиты: синайского письма (сер.2-го тыс. до н.э.), финикийского (сер.2-го тыс. до н.э.), арамейского, еврейского, 22 буквы которого имеют тайный, священный смысл. Такой же сокровенный, известный только избранным, смысл имеют египетская иероглифическая азбука и санскрит — язык жрецов арийских племен, один из древнейших на земле. Ответвлением санскрита является древнерусский, что находит подтверждение в трудах индийских ученых, например, Д.П.Шастри, который прямо заявляет, что «русский язык — это испорченный санскрит». Именно язык, то есть определенное сочетание звуков, а не азбука-алфавит.

Устроители славянской азбуки хорошо знали, что право на существование имеет только алфавит, заключающий в себя символическую тайнопись, ибо любой алфавит, не имевший сокровенного смысла, считался в те далеки времена варварским, оскверняющим вероучение. Кирилл (Константин) явно предвидел, что наибольшее противодействие славянская азбука встретит со стороны Римско-Католической Церкви, которая стремилась включить в орбиту своего влияния все славянские территории, в том числе Киевскую, Новгородскую, а может быть, и Ростовскую Русь. А потому азбука, которую он стремился создать для славян, должна была соответствовать священным канонам. Он хотел доказать иерархам церкви святость славянских букв и чисел, ибо только тогда можно было рассчитывать на признание славянского перевода книг Священного Писания: с VII в. начался активный процесс христианизации Центральной и Восточной Европы, и борьба между Римом и Константинополем за сферы влияния приобретала все более ожесточенный характер. А от того, кто одержит верх в этой борьбе, зависела судьба стран и народов, их населяющих.

История славянской азбуки, ее создания, вообще-то, почти известна, хотя есть еще и нераскрытые страницы. Кирилл (Константин) Философ отправился в 860 г. с посольской миссией из Константино-поля в Хазарский каганат. По пути он остановился в Корсуне (совр. Севастополь на Крымском п-ве), где прожил несколько месяцев. Здесь он всецело занялся изучением новых для себя языков — еврейского и русского. Причем если об изучении первого в «Житии Святого Кирил-

ла» сказано скороговоркой, мол, «он быстро научился еврейской речи и письму», то изучению русского языка посвящен довольно большой отрывок. Авторы «Жития» выражают восхищение и удивление той быстроте, с которой ученый муж выучил русский язык: «Нашел же здесь Евангелие и Псалтирь, написанные русскими письменами, и человека нашел, говорящего на том языке, и беседовал с ним, и понял смысл этой речи, и, сравнив ее со своим языком, различил буквы гласные и согласные, и вскоре начал читать и излагать их, и многие удивлялись ему, хвали Бога». Так как Кирилл хорошо знал и греческий, и славянский языки, вообще европейские, то это мог быть неизвестный в Европе язык, с которым он и столкнулся в Корсуне. Уж не был ли это санскрит, тем более, что имеются глухие сведения об использовании в далекой древности именно санскрита славянами и русами, лишь впоследствии перешедшими на более простую азбуку, ведущую свое начало от пелагийского письма, которым пользовались предки греков и часть предков славян?

После возвращения из Хазарии Кирилл перебирается в небольшой монастырь близ горы Олимп в Греции, где настоятелем был его брат Мефодий. Однако посвятить себя служению Богу так и не удалось: к византийскому императору Михаилу пришли в 862 г. (странные совпадение — в том же году варяг-рус Рюрик пришел на Русь!) послы моравского князя Ростислава просить прислать «учителя, чтобы нам на языке нашем изложить правую веру христианскую». На вопрос Философа: «Имеют ли моравы азбуку своего языка, ибо просвещение народа без письмен его языка подобно попыткам писать на воде?», посланцы моравского князя ответили отрицательно. Это и дало толчок братьям приступить к созданию собственно славянской азбуки. В основу ее были положены греческое уставное письмо, «русские письмена», обнаруженные Кириллом в Корсуне, и несколько букв из еврейского алфавита. Чуть позже Мефодий добавил к ним еще несколько букв из коптского письма. Получилось в итоге 43 буквы, которые братья «устроили» в соответствии со славянской речью.

Создатели славянской азбуки не просто приспособливали греческие, русские и коптские буквы под славянскую речь: они заложили в ней глубокий символический смысл, что достигалось особым логическим «устройением» буквенно-числового звукоряда. По сути, кириллица — это глубокая криптограмма, где Буквы-Числа отражают представления древних о Мироздании, о божественном устройстве всего сущего. Одновременно кириллица — теософический миф, в котором отразилась непреходящая духовная ценность: жить и творить в духе мудрого Слова-Числа согласно божественного предназначения.

Как и другие древние азбуки, кириллица имеет три смысла: обычный (буквенный), символический (образный) и священный (тайный). Только приобретая сакральный смысл, кириллица могла обрести жизненную силу и стать бровень с азбуками «гряззычия», наделенными потаенным символическим смыслом и считавшимися поэтому священными, — древнееврейской, греческой и латинской.

Ученые давно уже обратили внимание на резкое отличие левой и правой половин славянской азбуки, что не случайно: она создана по принципу полярности. За основу была взята универсальная двойичная система (Аз-1, — Буки-0), в которой отразился весь смысл «азбучного мироустройства»: 43 буквы ее отражают две стороны мироздания, две противоположности: правый(1) — левый(0), высший(1) — низший(0), священный(1) — мертвенный, кощный(0) и т.д. В

то же время буквам придано числовое значение в десятеричной системе. Так как Буква-Число в любой священной азбуке Едино, буквы и числа неотделимы друг от друга, иначе теряется весь сокровенный смысл азбуки.

Солунские братья не просто составляли азбуку, они ее устраивали так, чтобы она имела определенный сакральный смысл, поэтому каждой букве должно было соответствовать слово, при этом несущее особый возвышенный смысл, а при прочтении в целом азбука должна была стать заповедью-наставлением современникам и потомкам. Причем правая, божественная часть ее несет в себе светлое, доброе начало, положительное. Левая же, мертвенная, кощная, являет собой темное, неизреченное содержание — проклятие в адрес грешников, еретиков и вероотступников. О чем свидетельствует и наименование букв правой и левой частей.

Правую часть можно перевести так: «Изначальную мудрость (веды, знания) дает глагол (Божественный), которым добро творится («В начале было слово...»): он есть жизненная сила земли и людской мысли. Наш Он (т.е. Глагол Божественный), покой людям несущий словом твердым, укрепивший Закон (Завет) Божий. Слава Ему вечная».

Вторую, кощную, часть кириллицы придется опустить, прежде всего, по этическим соображениям — она звучит грубо и некрасиво...

Кирилл и Мефодий создавали славянскую азбуку не на пустом месте. Из средневековых хроник известно: славяне и русы имели какие-то свои письмена уже в начале нашей эры, что отмечал еще более полувека назад академик С.П.Обнорский. Впрочем, еще черноризец Храбр писал об этом в IX в.: «Многие славянские книжники считают, что письмена им создал Святой Константин Философ, но есть же и другие ответы, о чем скажем в ином месте». «Иное место» до нас не дошло (уничтожили?), но свидетельства имеются. Например, архиепископ г. Майнца Грабан Мавр (776-856) пишет в своем труде «О письменах», что нашел буквы философа Этика, скифа-славянина по происхождению, который в первой половине IV в. изобрел буквы для славянского письма. Об Этике известно, что он родился в Истрии, был видным ученым — блаженный Иероним переводил на латынь его труд по космографии.

В «Житии святого Иоанна Златоуста» отмечено: «В своей речи в 398 г. Святой Иоанн Златоуст сказал, что славяне, фракийцы, сарматы, мавры, индийцы и те, что живут на конце света, философствуют, каждый переводя Слово Божие на свой язык». А переводить богослужебные книги могли лишь народы, стоящие на весьма высокой ступени развития и имеющие достаточно «устроенную» азбуку, — используя примитивный алфавит, Священное Писание не напишешь и не поймешь.

Есть еще ряд свидетельств, согласно которым у славян уже в IV в. был свой алфавит (глаголица), изобретенный гетом (фракийцем) Ульфией, епископом г. Томи (Добруджа). Имеются смутные сведения, что настоящим изобретателем глаголицы был фригиец Фенизий, использовавший для своего алфавита готские руны (геты, фракийцы, фригийцы являются дальними родственниками славян, имеют с ними одни исторические и этнические корни).

Косвенным доказательством существования у славян письменности служит утверждение известного энциклопедиста VI в. Стефания Византийского о том, что «этруски есть безусловно словенское племя». А об этруской письменности известно всему миру. Однако расшиф-

ровать ее не могут — именно потому, что игнорируют свидетельство Стефания, в том числе и потому, что не могут иноземные и российские академики смириться о тем, что славяне до принятия ими христианства были не варварами, а высокоразвитым племенем.

Заслуга Кирилла и Мефодия, безусловно, имеет выдающееся значение: они создали азбуку, воссоединившую разрозненный славянский мир общей письменностью, своим «азбучным устроением» восстановили прерванную цепь времен и поколений славян, вернули им утраченное за тысячелетия. Солунские братья, придав своей азбуке статус священности, поставили ее в ряд с другими священными алфавитами, таким образом поставив и самих славян в ряд с другими богоносными народами — евреями, греками и римлянами. Священная азбука, созданная Кириллом и Мефодием, призвана вечно животворить тысячетеленные славянские корни, одухотворять Разум Человека в вечном и безмерном Мироздании.

За более чем тысячелетнюю историю свою славянская азбука претерпела множество реформ. Две последние провели в России — в 1917-18 гг. и в 1928-31 гг. Сначала о последней, которая, к счастью, провалилась: в 1928 г. нарком просвещения А.В.Луначарский предложил перевести русский алфавит с кириллицы на латынь, ибо «кириллица не отвечает делу социалистического строительства». Почти полтора года обсуждался сей бред в высших эшелонах власти Советского государства и в научных кругах. Лишь в 1931 г. ЦК ВКП(б) выработал постановление, категорически запрещающее какие-либо реформы русского языка...

Реформа же русского алфавита, начатая еще при Временном правительстве и продолженная большевиками, завершилась весьма неожиданно:вольно или невольно, но реформаторы остановили свой выбор на цифре 33 — таковое количество букв осталось в русской азбуке. Но 33 — это еще и количество лет земной жизни Иисуса Христа. Может быть, и русскому языку предстоят такие же испытания, что выпали на долю Спасителя, и он так же воскреснет из физического небытия?

**Борис Негорюхин**

## ПОЭТЫ И ПТИЦЫ

С интервалом в три месяца Костромская писательская организация выпустила в свет два поэтических сборника: «Высокий свет» Елены Балашовой и «Лета нашего итог» Леонида Попова. Последний из них — итоговый, юбилейный, посвящен пятидесятилетию поэта.

Я читал эти сборники подряд, один за другим, и стало ясно, что общего и что разного в произведениях поэтов, живущих в костромской глубинке, имеющих каждый свою жизненную судьбу и тем не менее объединенных не только талантом, поэтическим видением мира, об щими болями, но и еще чем-то, неуловимым сразу...

Валерий Ганичев, не раз бывавший в наших краях и пораженный просторами костромской природы, попытался выразить это нечто в предисловии к книжке Елены Балашовой. Он назвал ее «поэтессой по праву совести». А разве Леонид Попов — поэт не по тому же праву? Но в чем разница?

Читаешь строки Балашовой о тишине, как «сладко было услышать согласье журавлей», а затем о бабьем лете, «журавлиной песне души», восхищаешься образом, рожденным в душе поэта:

Плат небесный по самому краю  
Журавлиной строкою прошит.

Через несколько страниц читаю:

Качает ветер провода,  
Раскачивает ели...  
Ах, не мои ли то года,  
Курлыча, пролетели?

Журавль для Елены Балашовой — любимая птица, которая постоянно бередит ее душу. Почему так?

Чухломский край с его водными, воздушными и лесными просторами — это журавлинный край, край свободы, воли. И душа поэта тоже требует этого, страдая без творческого простора.

Душа — что журавль, чей осенний полет  
Был точно природой назначен.  
Как страстно она в поднебесье зовет!  
И бьется, и стонет, и плачет...

У Леонида Попова, который живет и творит в северных вохомских лесах, иные птицы рассыпаны на многочисленных ветвях его творчества, и чаще всего встречается в новом сборнике, как, впрочем, и в старых, синица да еще снегирь. Но синица — любимица, даже один из поэтических сборников поэта назван «Февральская синица». Почему так?

Леонид Николаевич играет на своей поэтической лире более суворые и приземленные песни. «Расписные синицы», которые стучатся в окно поэта, когда «небосвод заласкан сказкой», его желанные гости, и уже «поет в моей избе тихой радости синица». А в чем же эта радость?

Окна раскрою, душу открою  
Птице-синице, дрозду, соловью.  
Солнце на листья бросит монисто.  
Травы зернисто росы прольют.  
Ладным да чистым щебетом-свистом  
Вдруг да и вылечат душу мою.

А еще эта радость в том, что «любезная птица-синица» нужна миру, этому зимнему дню, этому первому солнцу.

Спасибо, певунья моя,  
За песню, привычную слуху,  
Желанную русскому духу, —  
Она в зимнем мире нужна...

Вчитываясь в строчки стихов обоих поэтов, и становится ясно, что все: и птицы, и цветы, и бабочки над лугами, и времена года, которые каждым любимы по-разному, — это окружающий поэта мир природы, через отношение к которому он стремится передать свое отношение к главному, к людям, к родине, к ее болям, бедам и радостям.

А что касается того, какая птица у какого из поэтов любимая, то это не что иное, как попытка автора рецензии показать, что настоящие

поэты всегда разные в частностях, как и то, что их отношение к миру в главном совпадает.

Беден край мой, державой забытый,  
Где под гнетом вседневных забот  
По соседству с надеждой убитой  
Проживает российский парод.

Так пишет поэт Леонид Попов.

Обманулось сердце бедное  
И поверило обману.  
Все распродано, все предано,  
Что — с прилавка, что — с экрана.

Так вторит ему поэт Елена Балашова.  
Но ведь есть же «сокровенное чудо души», и после дождя

Вся в дымном жемчуге, сырья,  
Трава живым ковром лежит...

И поэтому верит Леонид Попов, что «по российской горестной земле бродить недолго алчущему зверю», и

... час придет — земная твердь запляшет,  
И без раздумья вышвырнет народ  
Все лицемерье гнусной жизни нашей.

И читатель тоже верит в это, читая стихи Леонида Попова о деревенской частушке, которые так и просятся в хрестоматию, о русской зиме, о поминках лета. Читатель так же, как и поэт, верит:

Только сильный дойдет до конца,  
Только верный и вынесет муки,  
Только честный не спрячет лица  
От свинца, от любви, от разлуки.

Вера в будущее, надежда в то, что Россия возродится, звучит в стихах Елены Балашовой:

С народом я живу. Сама — народ,  
Который душу-то не продаёт.

Именно об этом многие ее стихи, особенно меня впечатлили два: «Мужик с огромными руками...» и «Ах, тротуары деревянные...», совершенно разные по стилю и единые в стремлении души поэта встать, заслонить, защитить малую родину и людей, с которыми вместе живет она, частица русского народа, имя которой Елена Львовна Балашова:

И в сомненьях своих, и в смятениях  
Я одна, я сама разберусь.  
Лишь души своей жар и горение  
Я отда姆 тебе, светлая Русь!

Впечатление от изданных новых книг было бы неполным, если бы стихи довольно удачно не дополнялись рисунками художников С.И. Лемехова («Высокий свет») и М.Ф. Базанкова («Лета нашего итог»), и главное достоинство иллюстраций — соответствие не только содержанию, но и духу лирических героев и Елены Балашовой, и Леонида Попова. Не всякому художнику это удается.

Павел Корнилов

## СВЕРШЕННАЯ ВОЛЯ

На этот момент в роли главной книги Михаила Базанкова определенно выступает эпический роман «Вольному воля».\*

Книга не только значительная, таковой выглядит на фоне современного литературного потока, она предстает достаточно новым словом в осмыслении жизни. Будущим историкам литературы еще придется «спотыкаться» на этом романе: столь объемна его смысловая многоплановость.

Тематически, в глубинном философском плане роман закономерно стоит в русле всего творчества писателя. Даже название «Вольному воля» кажется естественным продолжением большого цикла, начатого романами и повестями.\*\* Это произведение имеет непростую издательскую судьбу, позволяющую говорить об определенной ее нестандартности для творческой биографии писателя. Первая часть «Воли» под названием «По праву памяти» в значительно урезанном варианте была напечатана в 1984 году. Она отмечена журнальной премией как лучшее художественное произведение года. Переизданная «Современником» в составе авторской книги «Право памяти» получила конкурсную Всесоюзную премию по итогам 1986-87 года. Однако пришла к читателю в сильно усеченном варианте, остался отрезанным обширный сюжетный пласт, связанный с освещением и оценкой народной жизни в период тоталитарного страха сталинской эпохи. Только сейчас появилась возможность в полном объеме вынести на читательский суд многолетнюю работу.

События романа разворачиваются в дальнем лесном «раздолье» одной из российских областей. По мастерскому описанию природы, быта, по тончайшей нюансировке малозаметных деталей, знакомых исключительно рожденному в данной местности, становится ясным, что писатель обратился к досконально изученному, обжитому в нескольких поколениях Костромскому краю, в особенности его северо-восточной части, где прошли собственные детство и юность автора, — на пограничье вятской, нижегородской и костромской земли.

В центре крупномасштабного романа, как всегда у Базанкова, стоит не с дачного участка познанный мир деревни. Правда, в этот раз писатель существенно расширил пространство, наполнил книгу живым многоголосием сложных характеров, предельно сконцентрировал лирическое напряжение в раскрытии основных сюжетных линий.

Автор погружает читателя в мир послевоенной российской глубинки, где «не чудом, не оказией, а доброй памятью земляков, состраданием да участливостью» из века в век, трудно, но с внутренним светом в душе живут люди. Главные герои книги — кузнец Тимофей Иванов и его сын Василий, жители деревни Зоряны, не раз взятые на излом. «Покусанные войной», они черпают силы для праведной жизни, находят себя, ощущая духовное родство с другими. Природа этой живительной связи кроется в нравственных истоках крестьянства.

\* М.Ф. Базанков «Вольному воля», роман. Верхняя Волга, 1997 г., 535 стр.

\*\* «С чем ты идешь», «Самая сладкая рябина», «Заветные поляны», «Право памяти», «Дорога через поле», «Признание в любви», «Самое дорогое», «По причине любви», «Не ищи жар-птицу за морем».

Народный характер, не тот пастушечно-сусальный, что современность признает-таки самобытным, одновременно кивая на его отсталость и неразвитость, а серьезная, иногда и жестокая даже, но неизбытная сила стала основным предметом изображения в романе. Своебразным образцом русского характера выступает в книге бабка Матрена Глухова: «ни одной минуты не прожила она без сострадания и сочувствия другим... каждый зорянский житель близок и дорог ее душе. Да только ли зорянский».

Убедительно и ярко прорисованы не только главные герои. Основные персонажи книги — Евдокия Иванова, Андрей Зайцев, Татьяна Залесова, Ганька Веселова, Арсений Забродин, Анастасия Барцева, бригадир Хробостов, Иван Поляков, Степан Башурин, Виктор Валков, председатель Иван Фомич, Олењка Носкова — несут определенные смысловую и эмоциональную нагрузки. Философию романа составляет идея синхронизации, терпимости к людям, которая проистекает от выстраданного, не напускного чувства жалости к человеку, а на уровне осмыслиения вызревает до понимания жизни — трудного испытания, с которым каждый справляется как ему позволяют обстоятельства, и не людскому суду выносить окончательный приговор. Однако природа этого синхронизации не сентиментально-попустительская, а трезво-деятельная. Не только жалеть и через появившуюся сопричастность к чужой боли соболезновать и сострадать, но обязательно помогать ближнему делом, словом, активной верой в лучшее. И даже в том случае, когда надежды практически не осталось.

Одним из центральных нервов романа звучит невозвращение солдат с Великой Отечественной войны. Жены, матери ждут их, веря, что «долго еще будут объявляться без вести пропавшие и даже те, кто числился в списках погибших, кого давно оплакали родные». Думается, разработка этого мотива в какой-то мере определила название романа. Солдаты, ушедшие «в волю», на большую войну, обязательно должны бы вернуться «в волю» Дома, Семьи, Мира. Должен замкнуться круг превратностей и людских радостей, образовав единое целое — полновесную человеческую жизнь. Но война не бывает милосердной. Ее воля еще долгое время диктует людям, да и сейчас, по-своему, с отдаленным резонансом, но диктует уже новым поколениям свои жестокие условия и последствия.

Уцелевшие, вернувшиеся не сразу находят себя. «Коренной кузнец» Тимофей Иванов возвратился лишенным памяти. Столь желанная и близкая мирная воля оказалась обманчивой. Реальность обернулась душевным смятением, жутким, необъяснимым разрывом с главным: домом, семьей, людьми. В муках безвестности о доме и родных живет, а точнее, выживает в гулаговских условиях его сын Василий, о котором, не имея вестей, страдает мать Евдокия, сilitся вспомнить отец.

Память, пожалуй, концентрирует философию книги. Автор напряженно работает с этим понятием, добавляя к обнаженному корню глушающую приставку «бес». Противопоставление, а точнее, противостояние памяти и беспамятства — суть итоговой книги. По представлению романиста, память в человеке неразрывно связана с делом его жизни. М.Базанков синхронизировал возвращение памяти у Тимофея Иванова с возвращением трудовых навыков, медленным, не без досадных обрывов, вхождением в прежнее профессиональное мастерство. В книге пропет настоящий гимн крестьянскому труду.

Со знанием, обстоятельно, автор буквально заново обучает своего Тимошу-забытошу, как прозвали несчастного кузнеца односельчане, хитростям мужицкого домашнего ремесла. Писатель сочно живописует сам процесс работы. Пахота, плотницкое дело, косьба, столярничество, пчеловодные заботы под его пером превращаются в действие, необходимое для телесного, а главное, душевного самочувствия, для обретения человеком самого себя. Страницы, написанные с доскональным знанием и в то же время с некоторым замиранием перед непознанными возможностями человека, посвященные выздорвлению Тимофея, думается, несут в себе особый жизненный и художественный ток.

Однако М.Базанков не позволяет растревоженной памяти существовать в замкнутом пространстве только одной человеческой души. Он настаивает, и в том заключается глубинный пафос романа, на вовлеченности в индивидуальную память душевных усилий многих людей, в том числе читателей книги. «Память все поставит на свои места, каждому воздаст должное, через определенное историческое время она может охватить прожитую человеком жизнь и даже все жизни одной семьи, всего рода в многогранной взаимосвязи с другими жизнями, освещая особым светом самые дальние тени». Образовалась неразмыкаемая цепочка, освещенная «особым светом» — герой-автор-читатель, объединенная памятью и болью за тяжкое, в общем-то, одинаковое у всех, трагическое военное прошлое: «Люди, люди... Повязало, породнило нас долгое лихолетье, вроде и нет незацепленных бедой, вроде и нет обойденных».

Казалось бы, жестокая война должна была взять на себя весь груз человеческих страданий. Но, видимо, не дано русскому человеку жить без тяжких испытаний. Рядом с завоеванным на фронте относительным житейски-трудовым благополучием вслушивается приглушенное до поры до времени страшное, злое начало. Сейчас оно еще опасней, потому что угнездилось не за линией фронта, а в своей же родной стороне.

Осмысливая вечное противостояние тьмы и света, писатель возможно впервые в отечественной литературе художественно интерпретирует тоталитарный жизненный порядок на провинциальной государственной периферии на рубеже сороковых-пятидесятых годов.

Он детально исследует природу парализующего сознание всеобщего страха, который не просто присутствовал «для порядка», но довел над людьми, определяя их поступки, а значит, диктовал свои условия. «Постоянно казалось: кто-то цепко следит, будто бы читает мысли, предугадывает каждое движение... Не робость охватывала холодом, не страх за собственную жизнь, а нечто большее, вселенское, непредсказуемое».

Свободные, веселые, полноценные люди, неведомо как, но однажды подчинились дiktату страха — и весь миропорядок скособочился. Всеобщая атмосфера подозрительности неявно, но властно деформировала жизненный уклад, отношения между людьми.

Следует заметить, что писатель избегает натуралистического показа функционирования репрессивного механизма. Наоборот, Василий Иванов, узник сначала гитлеровского, а потом сталинского лагеря, добром и участием земляка охранника Носкова и лагерного доктора со странным прозвищем Петр Великий вырывается из гулага, и мы следим за перипетиями его судьбы уже на свободе. Гораздо сильнее любового изображения ужасов сталинских лагерей выглядит ход, которым воспользовался М.Базанков. Он «расположил» кон-

цлагерь, где находился Василий, в непосредственной близости от его родной Зоряны, вплотную приблизив источник парализующего страха к уюту домашних очагов. Правда, контраст не сыграл, да это, думается, и не входило в задачу писателя. Наоборот, невзгоды Василия, из небытия возвращающегося в родной дом, только подчеркивают трагизм жизни миллионов людей, остававшихся на свободе, но дышавших все тем же воздухом деспотизма и произвола, что и заключенные. Жизнь в лагере и так называемая «свободная» как бы сливаются, и вот уже нет границы между свободой и неволей. Но это состояние противоречит человеческой природе. Несвойственно людям долго жить в страхе. Однажды они распрямляются, срывают с себя истлевшую робу страха и неудержимо идут к обретению воли. Условно говоря, есть к ней два пути. Первый, всем известный — революционный, когда «взбрЫк» народный сметает все и вся. На время, зачастую очень ограниченное, народ получает желанное освобождение, но потом, как показывает история, он вновь погружается в трясину несвободы. Другой путь менее заметен. Однако за ним будущее. Более того, он и есть будущее, замешанное не столько на пресловутом терпении, сколько на бытовом, бытийственном действии — напряженном ритме извечного круга сезонных работ-праздников. Люди перемогают и эпохи, и времена, с трудом, в тяготах, продлевают себя все в новых и новых поколениях.

М.Базанков показывает, что топливо жизни произрастает все-таки не из страха, злобы и противостояния преждевременной смерти. Они неприменимые спутники человека, как пожухлые пальмовые листья неотделимы от чарующей прелести осени, но они не вечно. В человеческих силах расчистить от них землю, пусть ценой жизни, но свершить волю. В этом смысле очень показательна финальная сцена романа, поднимающаяся до высокого, символического звучания. Искатели правды Василий Иванов и Николай Барцев разговаривают с прокурором, занимающимся амнистий. Тот, понимая их боль, сочувственно поучает: «Терпение нужно. Терпение».

— Да уж будет, потерпели-пострадали, — в тон ему так же хрипловато обмолвился Николай.

— Что сделаешь. Терпение и надежда. Всему свой срок, ребята.

— Ты, товарищ Бабенков, это не говори. Мы и сами хорошо знаем, — едва слышно уведомил Василий. — А за все остальное — спасибо, низко кланяемся.

Вышли от прокурора безоглядно. На вольную волюшку. Леденящий порывистый ветер гонял стаю мерзлых листьев по бульжной мостовой...

Много, много зла на свете, говорит писатель. Порой нет сил на борьбу с ним, но на то и дана воля человеку, чтобы, свершая ее, расчищать землю для добра, радости и становиться вольным.

Когда читаешь прозу Михаила Базанкова, возникает ощущение, что автор — личность физически и душевно очень сильная, а главное, ненадломленная, именно по-мужицки ненадломленная. Жизнь и вертела и мотала, пробовала на зуб. Тщетно. Выстоял, выдюжил и, не поддавшийся печали, говорит о сущем веско, трезво, непредвзято.

Литературный процесс в наше время более чем когда-либо еще разделился на два почти непересекающихся потока — столичный и провинциальный. Обособленная, где-то по-снобистски высокомерная московская и питерская литературы уже и не смотрят в сторону периферийных авторов, довольствуясь собственными творениями и всячес-

кими событиями, разворачивающимися вокруг них. А в это время в стране живут сотни, если не тысячи, писателей, чье слово достойно быть услышанным, оцененным и освоенным отечественной словесностью. Книги, подобные роману Михаила Базанкова, о печалах и радостях извечно немногословной российской глубинки, есть та правда о русской земле, русском народе, русском характере, что будет нужна всегда, покуда есть такая земля, такие характеры, такой народ.

Память лихолетий стучится в современную действительность. В созданных писателем образах ясно проступает русский национальный характер, выраженный не только в типе лица, в особенностях речи и поступков, в облике при различных состояниях природы, в деталях быта и труда, но и в тональности, эмоциональном настроении произведения — в его свете и цвете, музыке и живописи. Без мелодраматической закрученности сюжета, приемов театральной и приключенческой броскости, внешней эффектности роман держит читательское внимание серьезностью мысли, душевной чуткости, отчетливо звучащей любовью, гражданским мужеством, отзывчивой добротой, глубоким знанием народной жизни и правды — всем тем, что нынче оттесняется из ряда человеческих достоинств.

### Роман Семенов

## ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ

Говорят, что писательство — один из способов самовыражения, самореализации. Но есть ли что-нибудь на свете, что себя не выражает, не реализует тем или иным видом и способом? У меня писательство и литература в целом ассоциируются с морем, где волны (рассказы, повести, очерки) накатываются на берег (к читателю) и, омыв его, откатываются назад, оставляя по себе память. Или, ничего не оставляя, возвращаются в море забвения. Иногда возникает девятый вал (роман), стремящийся вверх к небу. Тогда берег и все, что на нем, сотрясаются от грохота. Впрочем, бури не так уж часты. И вообще — можно прожить и без моря у маленькой речки или даже в безводной пустыне.

В безбрежном море литературы есть все: любые темы, всякие идеи, всевозможный слог и стиль вплоть до нынешней журнальной тарабарщины о мусорной, остервенелой жизни (см. например, «произведения» Асара Эппеля в «Новом мире»). Нет только одного — строгого определения, что такое литература и зачем она нужна. Впрочем, как и жизнь. И если кто-то попытается дать такое определение литературному творчеству, то это будет похоже на впихивание огромного медведя в маленькую стальную клетку, где ему никак не развернуться. И опять же, вся наша жизнь от маленькой семьи до огромного государства похожа на впихивание в клетку и желание из нее выбраться.

Подобные общие мысли вызваны чтением подряд произведений Михаила Семеновича Зайцева, которые до сего времени я читал по отдельности, с перерывами. Две особенности в творчестве писателя хотелось бы отметить сразу. Первая — он посвятил свой труд и свое время не «героям нашего времени», не рудинам и печоринам XX века, а, в общем-то, скромным семейным людям. Одинокие мужчины у него наперечет, о женщинах и говорить нечего: матери и жены. Тема семьи,

конечно, не оригинальна в литературе, но всегда плодотворна. Если есть что сказать. Ну уж если пишут огромные книги «Из жизни на-секомых», то прожившему на этой земле полвека семейному гражда-нину Отечества есть, конечно же, что сказать о людях, что выразить о них послушным и непослушным словом.

Вторая особенность — только два раза из двадцати мысль писателя залетела в историю («Память») и в географию («Туман»), то есть вышла за пределы своего времени и привычной местности. Все остальные повести и рассказы ограничены знакомым, обжитым го-родком с прилегающими окрестностями. И эта особенность существенна, потому что у нас в литературе последних десятилетий явно преобладают, с одной стороны, столичные (мегаполисные) модные мотивы, с другой, — деревенская тихая музыка, а о жизни районных, райончиков пишут совсем мало. А ведь эти наши малые города есть средоточия провинции, связанные десятю дорогами с деревней, селом и одной-двумя — с большим городом. Поэтому в наше время, когда рушатся человеческие и семейные связи, так важно знать нам, как живет, о чем беспокоится человек повсеместный, а не только столичный. Ведь слышны повсюду уже возгласы: «Только на провинцию надежда!»

Так что же провинция, что там есть? А вот «Ванька», например, или Иван Тарасович, талантливый инженер, проектирующий ажурные мосты, сказочные мосты, которым, по-видимому, не суждено осуществиться, так как они не учитывают всей реальной конъюнктуры мо-стостроения в наш централизованный век. То есть без бесконечных согласований, утрясений в ведомствах никакие мосты не строятся. Но почему Ванька? Да таким он представляется московскому коллеге, приехавшему в командировку в город Данилов. Виктор Михайлович никак не может примириться с мыслью, что такому вот непрактичному строителю-мечтателю досталась красавица-жена, и уже готов порвать со своей семьей, чтобы умыкнуть у Ивана жену. Но «глупец» Иван оказывается умнее и московского инженера, и своей жене: он заранее «просчитал» это очередное развлечение для жены, «кубивая» Виктора Михайловича и дружелюбием, и доверием, и гостеприимством. «Заходи», — кричит Иван гостю вдогонку...

Если бы Виктор Михайлович оглянулся, то пришел бы в ужас и уже никогда не появился бы в Данилове, людьми и Богом забытой дыре. И тем более не вошел бы в этот дом. Большие и по-телячьи наивные глаза Ивана смеялись. «Не ты, братец, первый, не ты последний. Но эта женщина моя, и она нужна мне».

Не новость сказать, что все, что есть на местах ценного и интересного, вплоть до красивых жен, столицы стремятся увезти, прибрать к рукам, присвоить, — и оттого в значительной мере пустеет и разоряется Россия (теперь вот заграница подключилась к этому умыканию). И писателю надо было найти некий штрих к портрету своего героя, чтобы показать, что этот человек не так прост, как кажется. Штрих этот, правда, получился склоноватый. Убедил ли он нас? Чаще сетуем мы на свою излишнюю простоту и доверчивость. Но это если рассуждать в практическом смысле. А в идеальном мире, к которому полностью принадлежит настоящая художественная литература, простота и доверчивость — высочайшие качества. Вспомним князя Мышкина у Достоевского (роман «Идиот»). Какие неуловимые грани между прекрасным и убогим! Убожество презираем. Но стоит только пере-

ставить ударение в слове и получится «у божества», то есть рядом с самым высоким.

Российская провинция не совсем растеряла простоту и доверчивость. В рассказах и повестях Михаила Зайцева эта мысль, мне кажется, проходит довольно убедительно, хотя, конечно же, далеко не все в них замыкается на этой мысли, а иногда ей прямо противопоставляется.

В повести «Точки над i» и в рассказе «Неотправленное письмо» (в другой редакции — «Завещание») рассматриваются близкие ситуации: неожиданная смерть супруги в повести, супруга в рассказе. Схожесть не в горе, не столько в горе, сколько в супружеских отношениях, на первый взгляд, идеальных: муж бесконечно любит жену и без нее не может мыслить никакой жизни. Но в этой любви нет настоящей радости для обоих, так как и в том и в другом произведении жена — не то что красивая вещь (все-таки живая душа!), но «моя неотчуждаемая собственность». И отсюда все следствия. В повести вдовец Виктор Хапков мечтается в поисках оправдания своей семейной жизни, своего отношения к умершей жене. В рассказе муж Веры Вадим при жизни боялся ее потерять и «заранее ненавидел Веру за это». Не знаю, возможна ли такая природа или причина ненависти к жене. Проще, наверное, было бы обозначить это чувство беспричинной (если не считать причиной красоту женщины) ревностью. Ненависть и ревность все-таки чувства разные. В тоске по уехавшим на время жене и дочери Вадим не знает, чем себя занять, и неожиданно, дико погибает в своем сарае, напоровшись в темноте горлом на провисшее лезвие косы. Рассказ трагичен: «Она стояла и слышала, как что-то тонко-тонко звенит в воздухе». Этот звук повторяется в рассказе дважды и точно обозначает состояние потрясенной женщины.

Евгений Степаненко

## «ХОЧЕТСЯ ХОДИТЬ В ТЕАТР ЗА ОЗАРЕНИЕМ...»

Так сложилась жизненная судьба Игоря Александровича Дедкова, что именно в Костроме, куда приехал на жительство в 1957 году, «вызвала» его «серебряная мысль» о жизни, литературе, искусстве. В бытность Дедкова гражданином нашего города редкая премьера местного театра проходила мимо его внимания и отзыва, которых многие частные к лицедейству люди ждали с неподдельной заинтересованностью, ибо в 60-80-е годы честное, открытое, доброжелательное слово критика стоило дорого.

К тому же Дедков не только осмысливал художественный результат режиссера, актера, сценографа, но непременно, хотя бы несколькими фразами (газетная страница принуждала не одну экономику быть экономной), высказывал свои соображения на предмет того, что есть духовный климат города и как он влияет на творческое самочувствие театра. В чем заключается индивидуальность «областного учреждения культуры, именуемого театром» и должен ли один провинциальный коллектив отличаться от другого.

Скоро после знакомства молодого журналиста Дедкова с местными служителями Мельпомены он узнал, увидел, услышал и понял: театр в Костроме любят и понимают, помнят всё, что приключилось на его веку. Будучи человеком объективным, он оговаривался, что любят не все, иным так и дела до него нет, другие искренне полагают, что театр — это увеселительное место при уютном и благородном буфете.

Театральные пристрастия Дедкова были совершенно определенного свойства: он не признавал убаюкивающего благодушия, привычной тишины и покоя, о чем писал откровенно: «Хочется ходить в театр за о з а р е н и е м (разрядка И.Д.). За надеждой, за укреплением или пробуждением нашей смелости, ненависти, любви, за здравым смыслом и безрассудством».

Однако на здешних спектаклях никаких особых «озарений» и «прозрений» не испытывал. Все шло привычно, своим чередом, как и далеко окрест: абы на сцене каждая режиссерская «находка»мотрелась «по-всамделишному». О чем поведал в одной из своих первых рецензий в 1959 году на страницах молодежной газеты: «На сцене Костромского драматического театра мы не раз видели спектакли, которые ставились режиссерами невыразительно, скучно, обыденно, в расчете на одобрение иного ценителя, у которого один критерий: "Огонь-то, гляди, как настоящий; небо-то тоже как настоящее; березка-то как у нас под оконшком, а едят-то артисты взправду или как?"»

Такого «реализма» критик не признавал категорически. Анализируя в той рецензии постановку комедии В.Левидовой «Трехминутный разговор», героями которой являлись «обыкновенные советские люди», Дедков явно полемизировал с его заступниками, отстаивая лаконизм художественного оформления, другие, по разумению неискушенных, формалистические приемы, когда на глазах у зрителей вращалась сцена, менялись декорации, некоторые действующие лица — чиновники — выезжали на своих столах... Для многих костромичей такие новации были непривычны (подобный scenic графический прием использовался лишь Ю.М.Бонди при постановке пьесы А.Блока «Роза и Крест» в 1920 году). Более того, непонятны.

Предвидя вполне объяснимую «малограмотность» публики в этом смысле, критик, что называется, шел ва-банк. «Иным людям, — отмечал он, — этот спектакль не понравится, они скажут: формалистические выкрутасы, и таким людям следует ответить определенно: вы неправы!» По убеждению Дедкова, именно такие формальные, но художественно осмыслившиеся, приемы задавали спектаклю ритм,озвращали театру театральность, выявляли комизм ситуации, будили и тревожили воображение. «В конце концов, — настаивал автор, — театр призван не только озвучивать драматургический материал, а по-своему трактовать его».

И хотя «Трехминутный разговор» привлекал, прежде всего, свой яркой выразительной формой, общением с публикой лаконичным, но емким языком, уходя из театра, Дедков мечтал о спектакле, который одарил бы подлинным озарением,нес новые идеи и мысли, заставлял спорить и переживать.

Как, какими средствами достичь такой высокой творческой самодостаточности? На этот счет у Игоря Дедкова были свои виды, какими он поделился в глубокой и доказательной статье «Эта земля и это небо...» (журнал «Театр», 1972, №7).

Прежде всего, он настаивал на возможности и даже необходимости своего, условно говоря, «костромского» либо «вологодского» взгляда на жизнь, нас окружающую, такого взгляда, который «придвигает к нашим глазам новые лица, характеры и новую среду, вовлекая нас в размышления и переживания не совсем обычного свойства». В этой связи критик напоминает о провинциальной прозе Василия Белова, Виктора Астафьева, Виктора Лихоносова, Евгения Носова, Валентина Распутина... По мысли Дедкова, такие герои, как Иван Африканович и Катерина из «Привычного дела» В.Белова, Миша Пряслин из романа Ф.Абрамова «Две зимы и три лета», старуха Анна из «Последнего срока» В.Распутина, могли бы выйти на сцену именно в провинциальном театре, поскольку таких героев этот театр должен знать лучше и основательнее других, так как проживает с ними по соседству.

Предчувствие Дедкова находило понимание в среде тогдашнего провинциального театрального мира. Так, актер из Калинина, а ныне приметный писатель Михаил Петров, в ту пору в одном из очерков вопрошал: «И не на этой ли сцене современный театр в будущем ожидают открытия, которых мы сегодня ждем в театрах столичных? Родилась же на периферии современная большая литература. И родилась она из понимания сокровенных духовных потребностей все того же простого человека, которого сегодня старается понять провинциальный театр. И подчас в лучших своих работах понимает, отвечая на те вопросы, с которыми приходит сюда зритель, и делает это на языке ему понятном и доступном».

Однако благие ожидания не сбылись. Произведения литературы, «привезанной самой жизнью», перенесенные в разовом порядке на сцену не только в Костроме, делали свое благое дело, но привычной репертуарной ситуации не меняли, выявлению самобытного «взгляда на вещи» не способствовали.

Впрочем, Игорь Дедков отлично понимал сложность осуществления такого репертуарного зигзага. Тут одни пожеланиями и мечтаниями сыт не будешь. Требовался художник, умеющий не просто загореться такой судьбоносной идеей, увлечь ею коллектив, распознать и привить исполнителям вкус нового понимания «публичного одиночества», но и способный проникнуться земными делами и заботами новых героев, обладать «новой художественной психологией».

Признавая как данность, что настоящий большой художник может родиться из большого человека, критик тем не менее оговаривался, когда касался такой тонкой материи, как «игра воображения». По его разумению, для самого «большого» человека и художника мало литературной да и жизненной понятливости, дабы дать настоящий простор этим самым «играм». Нужен личный возбуждающий мотив, считал Дедков.

С возбуждающими мотивами, тем паче личными, в искусстве всегда приходилось туговато, а в пору семидесятых — и того круче. В театре же, как, быть может, нигде, определяющим является авторитет лидера, его художнический «лад». Тот самый «лад», который, по при метам Дедкова, заключает в себе не единственный божественный дар, культуру и осведомленность, но и является результатом его живого личного опыта, его живого бытия в этом пространстве, среди этих людей и этого времени. «И тогда значение имеет все, — подчеркивал критик, — и Шекспир на этой сцене для этих людей этой поры так или иначе впустит в себя то, что окружало этого режиссера: настроение и гул улицы, которой он ходит в театр, магазин, соседку, плачущую за стенкой,

белую часовенку на берегу русской реки... И лица, лица, сотни и тысячи лиц с этими глазами, скулами, морщинами, и каждое — со своим смыслом и со своим счастьем-несчастьем в полную и единственную меру...»

По прошествии лет, когда отшумят ставшие рефреном своего времени слова «что-то физики в почете, что-то лирики в загоне», Игорь Дедков, всматриваясь в скорость движения мысли художника и мысли «технаря», отметит: движение это нагляднее проявляется в скоростях автомобилей, самолетов, ракет, но никак не в искусстве. И если его малозаметные, почти микроскопические подвижки воспринимать на техническом фоне, то впору говорить о «каких-то пустяках». Но, замечал критик, на сумрачном заднике мировой сцены многое глядится пустяками. Однако то, что порою так глядится, и есть главное: бесценная человеческая жизнь с его повседневным трудом и повседневной борьбой за лучшее завтра.

Такие художнические устремления Дедкова, на мой взгляд, очень созвучны воззрениям Гете, считавшего, что восприятие и воссоздание частного и составляет сущность искусства. В разговорах с Эккерманом немецкий поэт и философ успокаивал неверующих: не надо бояться, что частное, индивидуальное не найдет отклика. Непременно найдет, говорил он, поскольку в любом характере, как бы отличен он ни был от других, в любом подлежащем воссозданию объекте, от камня до человека, есть нечто общее, ибо все повторяется и нет на свете ничего, что существовало бы лишь однажды.

Найти-то найдет, как бы заочно соглашался с Иоганном Гете Игорь Дедков, но при непременном условии: если в произведении искусства людская душа услышит «только свой, предназначенный ей одной, зов». По убеждению критика, душа — такая строгая и щепетильная материя, какую ни силой принудить, ни на лихом коне не обхехать. «Каждая душа, — считал Дедков, — отзывается на свое и ничего постороннего, чужого тебе — как ни навязывай, ни нахваливай — не принимает».

По его свидетельству (кстати, и по словам многих давних поклонников сценического искусства), подлинный ренессанс такого взаимопонимания между зрителями и творениями местных служителей Мельномены театр переживал в 50-е годы, когда его возглавлял заслуженный деятель искусств России В.А.Иванов, имевший «художническую и умственную независимость». Постановки Иванова отличались самостоятельностью, живым дыханием современности, глубиной осмысливания затрагиваемых проблем, отменным актерским ансамблем. Его спектакли создавали в городе тот особый духовный климат, приобщиться к которому костромичи считали не просто естественной потребностью, но счастьем и необходимостью. Еще и по сей день от любителей сценического искусства той далекой поры нет-нет и улышишь, каким незабываемым праздником являлось для них посещение театра.

После ухода В.А.Иванова кто-то должен был хранить традиции. Но кто? — задавался вопросом Дедков, сам же на него отвечая: если некому, то традиции приобретают мистический характер, их при случае декларируют, но их — нет. Что подтвердили 60-е и последующие годы. Вроде и состав труппы после Иванова мало изменился, и на афише появлялись имена уважаемых авторов, но нет... Не задавался прежний доверительный тон, атмосфера «своего зова», творческая окрылен-

ность, та особая непередаваемая тишина зрительного зала, которая порой дороже самых громоподобных аплодисментов.

Хотя, если судить по названиям рецензий тех лет, коллектив был не просто на творческом взлете, но достигал заоблачных высот: «Волнующий спектакль», «Финал великой эпопеи», «Утверждение подвига», «Героика незабываемых лет», «Впервые поставлено в Костроме»... Но тут пришел Дедков и сказал: «В провинции любят ставить спектакли впервые в стране — так трансформируется желание иметь свое заметное, интересное лицо». Конечно, против «своего» лица критик ничего не имел против. Просто у него на этот предмет был свой взгляд, свои убеждения, весьма не созвучные с бытовавшими идеологическими канонами.

К примеру, в спектакле «Аттестат мужества» Е. Молчанова и В. Пашерина, повествующем о Я. М. Свердлове и его революционных сподвижниках, газета «Правда» разглядела «живую память поколений», сын Якова Михайловича получил от постановки «впечатление неизгладимое», а вот критик Дедков пошел гулять сам по себе, оповещая со страниц журнала «Театр», что «не было за теми именами ни характеров, ни живых слов, ни проблеска мысли».

Постановка пьесы Н. Сотникова «Встреча в веках» об Иване Сусанине, Михаиле Глинке и прочих хороших и разных исторических героях и персонажах, в которой, по убеждению газеты «Известия», «художник находил героя», по дедковским размышлениям, все было с точностью до наоборот: художник героя окончательно терял по причине того, что подобным пьесам и постановкам «свойственна боязнь реальных человеческих судеб и характеров, а также сознательное упрощение этих судеб режиссером, драматургом, актером, художником». Мало того, полагал Дедков, спектакли, отмеченные достоинствами «Встречи в веках», «являлись высшим достижением антихудожественного направления, которое складывалось годами и давно восторжествовало бы бесповоротно, если бы не приходилось театру прислушиваться к голосу зрителей, помнящих о том, что есть на свете Островский, Ибсен, Горький...»

Большие надежды связывал Игорь Дедков с режиссером Петром Слюсаревым, возглавившим творческий коллектив в 1968 году. Его спектакли — «Соловьиная ночь» В. Ежова, «Трехгрошовая опера» Б. Брехта и К. Вайля, «Ромео и Джульетта» В. Шекспира, «Девяносто семь» Н. Кулиша, «Папашины игрушки» Д. Урнявичюте — обнадеживали, вселяли уверенность в незаурядные способности молодого, целеустремленного, волевого главрежа, ученика известного театрального деятеля Андрея Александровича Гончарова. Его постановочные решения подкупали завидной оригинальностью, широтой взгляда при интерпретации жизненных реалий, умением говорить со зрителем ярким и емким scenicографическим языком.

Так, смысл спектакля «Соловьиная ночь» для Слюсарева заключался не в обличении некоего должностного лица, а в утверждении «здравой нравственно-безупречной точки зрения на события, которые всегда истиннее любого регламентирующего параграфа».

А с постановкой «Трехгрошовой оперы», торжествовал Дедков, костромская сцена впервые «источала, швыряла в зал, бередя душу, пробуждая социальную активность, слова ненависти, возмущения, тоски». Под этим давлением страсти, и воли, и беспощадной насмешки, признавал критик, в мягких удобных креслах становилось как-то не по себе. Обострялась жажда справедливости...

Подкупало Дедкова в Слюсареве понимание последним того, что серьезность искусства не упраздняет его вечной несерьезности — игры, забавы, яркой зрелицности. В этой стихии главный режиссер, действительно, чувствовал себя раскрепощенным, задиристым, репетировал одержимо, фантазировал безгранично. И, главное, по делу.

Но, к сожалению, ожидания критика, как и в случае с восхождением на сцену героев новой провинциальной прозы, не оправдались. Петр Иванович Слюсарев где-то на взлете популярности не сдюжил, поддался соблазну изменить самому себе, своей требовательности. Стал творить с оглядкой на столичных законодателей театральных мод, брать произведения апробированные, порой откровенно художественно-бесцветные, начал возрождать подзабытую традицию выпуска спектаклей с грифом на афише: «Впервые в стране...» Да и на сцене многое стало меняться не в лучшую сторону. Куда подевалась прежняя строгость отбора каждого жеста, каждой интонации, каждой детали, до-тошнича осмысленность сценического действия во всех его проявлениях? Зрителю стали являть в изобилии формальные новации, зачастую вторичного происхождения, новизны мысли в себе не таящие, а откровенно демонстрирующиеся «для глаза», но никак «не для ума и души».

Предвидя гибельность пути, на который возвращается Костромской театр, Дедков, как всегда, молчать не мог. Его критические откровения не только на страницах печати, но и на заседаниях художественного совета, членом которого он являлся долгие годы, на бдениях секции театральных рецензентов при местном отделении ВТО (ныне СТД), где он был бессменным председателем, секция, к слову, распалась вскоре после отъезда Дедкова из Костромы, вызывали явное неудовольствие и неприязнь деятелей идеологического фронта и, что того прискорбнее, представителей режиссерского корпуса, опекаемого главрежем.

Со временем отчуждение нарастало, непонимание углублялось, из учреждения, именуемого театром, все явственнее слышались сетования, что непосвященные мешают большому кораблю выплыть на широкий простор. Игорь Дедков быть помехой такой нешуточной акции и не помышлял. Его беспокоило иное: состояние самого корабля, на глазах превращающегося в заурядную посудину. «Легче всего искаль виноватых на стороне, — писал Игорь Александрович, — упрекать общественность, печать, нерасторопных администраторов. Труднее — остановиться, оглядеться и снова ощутить себя молодым, беспокойным, неудовлетворенным. И — не простить себе отхода от творческой самостоятельности, от поиска какого-никакого, а своего голоса и лица. Не простить повадок мэтра, недовольного критиками, интриганами и всеми "непосвященными"».

Но мы все прекрасно знаем: пророков в своем отечестве днем с огнем не сыщешь. Вот и здесь все тихо-мирно вернулось на круги своя. Петр Иванович Слюсарев, получив звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, укатил покорять другие театры. Костромской, как это часто бывало, остался при своих интересах.

Но Игорь Дедков не напрасно считался оптимистом. Обладая даром замечать все новое, свежее, неизбитое, поддержать талант, если он того заслуживает, будь то начинающий артист либо деятель, об-

ремененный высокими званиями и регалиями, он скоро попал под обаяние работ режиссера Владимира Шиманского. Шиманский являлся человеком творчески одержимым, признававшим только драматическую литературу высшего достоинства, умел и любил работать с актерами. Каждую пьесу выбирал трудно. Не потому, что она «не расходилась» на труппу либо не отвечала болевым проблемам времени. Шиманского тревожили вечные проблемы: несовершенство человеческой натуры, подавление личности внешними обстоятельствами, социальной средой. Отсюда пристрастие к таким, казалось бы, далеким друг от друга произведениям, как «Бесприданница» А.Н.Островского и «На дне» М.Горького, «Птицы нашей молодости» И.Друцэ и «Вишневый сад» А.П. Чехова, «Макбет» В.Шекспира и «Филумена Мартурано» Эдуардо де Филиппо... Показательна в этом смысле его работа «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе А.Н.Островского.

Так случилось, что Игорю Дедкову довелось видеть на костромской сцене два варианта этой комедии: 66-го года в постановке А.Сагальчика и 85-го — режиссера В.Шиманского. В статье, посвященной сравнению этих спектаклей, отделенных двумя десятилетиями («Северная правда», 12 декабря 1985 года), критик дает нам — возможность не только почувствовать индивидуальную особенность режиссеров двух минувших поколений, но за их интерпретацией комедии Островского разглядеть изменения, происходившие в общественном сознании, в самочувствии и поведении героев Островского на разных исторических этапах нашего отечества.

В понимании Дедкова, драматург «более всего печалился развращением и продажей молодого ума и таланта. Он зорко видел, сколь она заманчива и опасна, та продажа. Он высмеивал ее... Смеялся над участниками сделки. Но в сатире к веселью примешаны серьезные чувства, и даже через сто с лишним лет они не утратили в глумовской истории своей серьезности».

«Серьезность» эта интересовала критика по причине того, что в апрельские дни 85-го людям вроде бы дали возможность позвать «какие-то новые дни». Это позже, незадолго до завершения своего земного срока, Игорь Александрович воскликнет вслед за Александром Блоком: «Но не эти дни мы звали!» А тогда, в 85-м, в ту судьбоносную пору, припоминая «шестидесятника» Егора Глумова в исполнении Евгения Воронова и видя перед глазами Глумова «восьмидесятника», сыгранныго Эмиляно Очаговия, критик Дедков удивительно точно подметил различие их миросозерцания и миропонимания в конкретно сложившихся жизненных ситуациях, определение ими собственной «ниши» в быстро меняющихся житейских буднях.

По свидетельству Дедкова, Глумов Воронова был моложе духом, повеселее и посимпатичнее Глумова «перестроичника», каким его являл Очаговия. Вороновский Глумов обольщал «мудрецов», играя и наслаждаясь игрой, и веяло от него чем-то безрассудным и пьянящим. Актером, по словам критика, «не произносилось, а игралось вот что: вам не я, Егор Глумов, нужен — а нужен всего лишь слуга, прихвостень, лебезящий, поддакивающий сочинитель спичей и вообще чего угодно, надежный свой среди надежных своих! — Так получайте!..»

Но как отличен он от своего двойника, дожившего до «свежего бриза» перестройки! Глумовская игра в представлении Очаговия —

отточена, холодна, страсть ее выверена, взвешена и отмерена. Глумов-восьмидесятник подтянут почти по-офицерски, речь его отчетлива и суховата. Даже в быстром, бравурном танце, которым режиссер Шиманский как бы отмечал победы героя над «мудрецами», было что-то холодно-формальное, умственное. Такой Глумов никогда не увлечется, не забудется, не выпадет из правил игры. Он озабочен и деловит, ибо прекрасно осознает: при известных обстоятельствах и каждодневная ложь — большое дело.

Дедков не стремился уяснить: какой Глумов лучше — старый ли, новый. Но, по его версии, в Глумове, воскресшем из российского бытия в середине 80-х годов нашего столетия, в полный рост виделся деловой человек, мастер приспособления, профессионал карьеры, готовый ради личного успеха служить любой идеи.

Впору позавидовать постановочному коллективу, увидевшему в достаточно «заигранной» пьесе Островского удивительную чуткость и отзывчивость простого русского чиновника на самые крутые веяния новизны, его умение без потуг и душевных потрясений находить «свой шесток» в этом лихо меняющемся российском житье-бытье.

Нельзя не подивиться и прозорливости критики Дедкова, «озаренного» этой театральной постановкой и уже тогда, в пору начинающегося перестроичного аврала, предупреждавшего вместе с театром: смотрите, кто идет!

С тех пор минуло достаточно времени. Режиссер Владимир Шиманский трагически погиб в 1987 году. «На сумрачном заднике» российской сцены иные времена, иные драматические коллизии. Так стоит ли вспоминать о том, что было, да быльем поросло? И снова на память приходят слова Игоря Дедкова, сказанные, правда, по другому поводу: «Стоит. Хотя бы из чувства благодарности за те мгновения искусства и правды, которые случаются в театре. Не эти ли мгновения, добытые трудом и талантом, сберегаясь в памяти, противостоят краткой жизни провинциальных премьер, рассеивающей силе времени?

Стоит вспоминать, чтобы сравнить и видеть от чего и к чему движемся, на чем стоим и на чем настаиваем».

Добавлю: стоит вспоминать и из чувства благодарности к тем критикам, которые были заодно с театром во дни его торжеств и бед, всегда веря, что «озарения» и «прозрения» в зрительном зале никогда отмененными быть не могут.





ДЕТСКАЯ ТЕТРАДЬ  
«СОЛНЫШКО»



Евстolia Прокофьева

### НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Я пробудилась среди ночи. Что-то шуршало и скреблось как будто под моей кроватью. Вставать не хотелось. Но вот еще прошуршало. Я встала и зажгла свет.

Возле кровати на моем валенке лежал усатый большеглазый кот Васька.

— Дай-ка мне валенок, — сказала я, — уди.

Васька не слез, только покосился на меня. Я сую ногу в валенок, а кот лапами вцепился в него и к себе тянет. Что, думаю, такое? Кота я согнала, валенок все же надела, но тут же с криком пришлось сбросить его — в нем шевельнулось что-то живое и цапнуло меня за палец. Опомнясь, я подняла валенок и тряхнула его. На пол упал крохотный серый мышонок. Он в страхе прижался к полу, и широкие его ушки пугливо зашевелились.

— Васька, — позвала я.

Кот лениво зевнул и потянулся. Я, дескать, стерег его, а ты выпустила, теперь лови сама.

Мышонок, сверкая бусинками глаз, шевельнулся. Кот лениво подошел к нему и ступил лапой на его, похожий на шнурок, длинный хвост. Мышонок пискнул, вырвался и заметался, стараясь скрыться. На глаза мне попался веник. Я схватила его и хотела бросить в мышонка.

— Мама, — остановил меня голос моего сынишки. Он проснулся и с упреком глядел на меня. — Не тронь его, мам. Не тронь!

Веник выпал у меня из руки. Я подошла к сыну и, вздохнув, погладила его по мягким спутавшимся волосам.

— Не тронешь? — поднял он ко мне свои ясные глаза.

— Не трону, — сказала я. — Найдет норку и уйдет.

Сын успокоился. Мышонок ушел. А мне еще долго было как-то неловко, не по себе.

## НОВЬ

Весна выдалась холодная, затяжная. Дождям и слякоти, казалось, не будет и конца. Но вот выпал веселый денек.

Сережа вышел из дома.

— Здравствуй, — сказал он собаке, ушастому рыжему Баяну, — дай лапу.

Они поздоровались, и о своей радости, что видит хозяина, Баян оповестил звонким лаем всю деревню.

— Пошли, — махнул рукой Сережа.

За деревней, за полями, в густой синеве виднелся лес. Туда они и направились.

Сквозь тонкие синие облака пригревало солнце. На южной стороне неба будто дремала тихая нарядная радуга... Падали последние капли дождя и тут же высыхали. В мягких лучах солнца трепетали голосистые жаворонки.

Когда Сережа с Баяном дошли до леса, дорогу им перебежал заяц. Спина и уши у него были серые, а бока и хвост белые. Баян пропустил за ним, но зайчишка, мелькая своим приметным хвостом и словно поддразнивая собаку, ловко устремился от него.

— Эх, ты, — усмехнулся мальчик и свернулся в делянку.

В лесу было много снегу, а в делянке он сохранился только в низинах. Там, где снег стаял давно, трава была желтее, а где только что — зеленее. Под снегом ей было теплее в весенние холода.

Около березового пня Сережа наткнулся на осколочек кирпича, но, подняв находку, увидел, что это маленький гриб.

— Сморчок, — удивленно свистнул Сережа и стал внимательно шарить глазами. А сморчки,казалось, с любопытством выглядывали из-под старого темного хвороста, сухой травы и листьев. Ножки у них белые, шляпки в извилинах, завитые, и чем меньше грибок, тем плотнее и свежее на вид. Сережа приворно собирали их, очищал от мусора и складывал в кучи.

Набрав грибов полный свитер, Сережа приладил его на спину, как мешок, и довольный зашагал к дому. Он думал о том, как обрадует и удивит бабушку.

Дома бабушка похвалила Сережу и поджарила ему грибов. Сережа с удовольствием сел за стол, но едва успел взять в рот первый грибок, как бабушка шершавыми пальцами сгребла его ухо и стала теребить, приговаривая:

— Новь ешь, новь ешь, новую новинку в старую брюшинку.

— Ты за что? — обиделся Сережа.

— А как же, всех дерут, когда впервые весной грибы, а летом хлеб свежий едят.

## НАХОДКА

Время наста — привольное весеннее время. Зима, конечно, хороша, в ней своя отрада, своя прелесть. Но все же длинна русская зимушка. А уж как завьюжит, заметелит на неделю и больше — не возрадуешься, скучно станет. Зимой как ни бодресь, а все же чувствуешь себя как-то скованно, стесненно. Да и в самом деле: с крыльца утром сойдешь, все замело, запуржило, кругом сугробы, дорога в длинных наметах гравастых косиц, а шагнешь в сторону, давая дорогу трактору, рухнешь по колено, а то и по пояс.

Но зима не уходит покорно, она нет-нет да и дает о себе знать, покажет свой строптивый норов, не зря же сказано: «Взбесилась ведьма злая...» — то запуржит колкий куржак, то повалят отвесно мокрые непроглядные хлопья, облепленные деревья обвиснут, наклонятся, а слабенькие, не выдержав тяжести, рухнут как подкошенные, распластаются белыми ветками. А то жахнет однажды ночью по-январски морозец, все оцепенеет в его жесткой хватке, снег застынет, смерзнется чуть ли не до земли — снег станет настом. А утром, как ни в чем не бывало, — солнце улыбчивое, неба переливающаяся лазурь, гортанные крики прохаживающихся по вынастенным огородам грачей и звон капель с карниза.

Вся деревня пробует насту на прочность. Мальчишки, вбежав на горбатый сугроб, прыгают, топают, бьют каблуками, — нет, не проваливается, беги, кривуляй куда хочешь, везде дорога торная, широкая, бесконечная.

Рады насту хозяйки, скорее разворачиваются со стиркой, прополосканное в проруби белье расстилают по насту. Вылезится оно, вымерзнет до первозданной белизны, внесут его охапкой, ворохом в дом, положат на лавку, — по всей избе ядреная терпкость солнечного снега.

Все рады насту, все благодарят наведавшуюся ночью зимку, — потрафила, что хорошо, то хорошо.

И только егеря, охотоведы, лесники, объезжая свои участки, вздохнут сокрушенно, обеспокоются, — не вся лесная живность до насту охоча, иному зверю эта льдисто застывшая корка не просто помеха, она всегда коварна и часто грозит гибелью.

Венька Соловьев, самый младший из жителей лесной деревушки Пеньки, проснулся, взглянул на освещенную солнцем переборку и кубарем скатился с кровати. Надевая форменные брюки, торопился, все поглядывал на сияющие лучиками, зависшие над пролетом рамы остроконечные сосули.

Штанины путались, ступня никак не пролетала, он прискакивал на одной ноге, тянул на себя брюки, а сам все зыркал в окно, — на самой длинной сосуле дрожала и переливалась крупная капля. Венька скакал уже на другой ноге, — капля разбухла, накалилась густым светом, а все висела. Наконец она вытянулась сосочком и алмазно просверкнула за стеклом.

Венька сунул босые ноги в материнские валенки, накинул на плечи куртку и опрометью на улицу. Его несло какое-то необычно радостное чувство свободы и легкости. По самому себе, неясным ускользающим признакам он уже ощущал сегодняшнюю благодать обновленной за ночь природы. Смело влетел на просевший у тына сугроб. Странно, словно Венька совсем невесомый, — сугроб держал на своей переливающейся кристаллами ладони, не проламывался, даже не прогибался, только похрустывал.

Вышел отец на крыльцо, на плече пузатая полевая сумка, из-под козырька торчит заткнутая пробкой бутылка с желтым топленым молоком. Отец работает токарем в мастерской на центральной совхозной усадьбе в селе Крутники, уходит на весь день, вот мать и набивает ему впрок съестного.

— Чего тут кружишься, марш домой, пора собираться, — строго сказал отец.

Он вообще строгий, Веньке кажется, что даже суровый, сердитый, — не раз получал от него трепку за двойку в дневнике, за непослушание — рука у отца тяжелая. Венька старался убедить себя: поделом наказан, но в то же время чувствовал какой-то неподдающийся рассудку внутренний протест отцовской воле. Он подчинялся требованиям, исполнял жесткие наказы, но в то же время было ясно, что он не в ладу с отцом, и на душу исподволь ложился горький осадок отчуждения и недоверия.

— Ты слышишь?

— Я успею, папа! Наст толстый, держит, я пойду напрямки через болото. Ты тоже иди прямо, не бойся. — он крепкий, удержит.

— Думаешь? — засомневался отец. Однако свернул с тропы, чуть приседая, осторожно прошелся по гулко отдающемуся на каждый шаг панцирю. Потом топнул, вдарил каблуком, удостоверился — держит, и пошел отмерять быстрые бодрые метры — хруст-хруст, хруст-хруст. Уже выйдя за окопицу, крикнул:

— Вернешься, сделаешь уроки, и в лес — рубить тычинник! Понял?! — в голосе его звучала обидой задевающая душу властная непреклонная нота.

Венька вбежал в избу запыхавшийся. Мать стучала ухватами, в печи что-то кипело и выплескивалось на под, от шестка тянуло дрожжевым тестом и поджаренным луком. Подскочил к умывальнику, застучал стержнем, вода в подставленную

лодочку ладоней хлынула обжигающе холодная, ногти заломило, как пристукнутые. Плеснул в лицо — по щекам, по шее пошла легкая судорога, — заработал локтями, зафыркал.

Мать высунулась из кухни:

— Почто ледяной-то, обожди, добавлю кипяточку.

— Надо закаляться, — замотал головой Венька, шепелявя забитым пенящейся пастой ртом.

Сорвав с гвоздя полотенце, по всем правилам — показывал на уроке физрук Анатолий Константинович — растер лопатки, грудь, шею и тут же почувствовал, как ознобшее тело наливаются ласковым, туманящим взгляд жаром.

— Что сегодня не торопишься, Вениамин? — сказала мать. Когда ей хотелось подбодрить его, озаботить, она называла его полным именем. Венька и сам чувствовал, как это действовало, — он как бы взрослел сразу, словно бы ума прибывало, — становился рассудительней и серьезней.

— Мама, разве ты не знаешь, — сегодня наст. Я пойду прямо через болото и сэкономлю тридцать минут.

— Удержит ли на болоте, в деревнях наст слабее.

— Удержит, я знаю. В прошлом году так же было, — держал.

Венька уже завязывал галстук. Концы никак не подравнивались, сморщененный мыс на спине упразжал в сторону.

Мать подошла, перевязала по-своему. Венька сразу отметил, — галстук теперь краснел словно бы свободней и ярче.

Наскоро перекусив, вскинул через голову на лопатки портфель. Мать едва успела сунуть в карман ватрушку и уже вдогонку наказала:

— Вениамин, я сегодня приеду поздно, в Клинцах на ферме буду делать прививки. Ты, как вернешься, подои корову и напой теленка.

— А сена дать?

— И сена дай. И вообще — посерьезней.

— Ладно, коли так. — И Венька хлопнул дверью.

Он выбежал за огороды, свернул с тропы и понесся по сверкающей снежной равнине. Бежалось легко, наст чуть приседал и слегка пружинил, портфель дергался и стучал в спину. Снег неистово переливался, вспыхивал радужными искрами, — рябило в глазах. Венька жмурился, хватал острый, сущащий горло воздух и летел, не чуя ног, — под уклон его несло как бы само собой.

Дорога все отдалялась, уходила влево, она тут делала полуторакилометровую петлю, огибало болото.

Побежал дальше. Увидел овальные вмятины, догадался: отец шел. Некоторое время бежал по его следу.

Вдруг Венька вспомнил: болото ведь клюквенное. Осенью ходили с матерью по закрайку, набрали стаканов пятнадцать.

Венька сапогом сбил коросту с кочки, присел, разгреб льдистые крошки, — сквозь белизну примерзшего к моху снега полыхнула каленая россыпь ягод. Венька выскреб крупную ягодину, бросил в рот, прижженная десна сразу заныла, шевельнул языком, — ледяная горошина со стуком прокатилась по зубам. Оттаяв клюквину, Венька раздавил ее, во рту разлилась терпкая, со взбодряющей кислинкой, сладость.

Принялся выцарапывать ягоду за ягодой, четыре пригорши упрятал в накладной карман куртки, — будет чем угостить школьных друзей. Потряс озабочими ладонями — подушечки пальцев жгло, щипало — и припустил по отцовскому следу.

Крутики стояли на взгорье, а школа — на окраине в самой высокой точке. Поле шло на подъем, но бежалось все равно легко. Венька сквозь отраженный, колко высверкивающий в чистом воздухе свет прицельно щурился, — уже виден утоптаный двор, ступеньки крыльца, перила. Сердце его екнуло, ноги потеряли упругость, отяжелели, — на дворе никого не было. Чего уж теперь бежать, Венька перешел на шаг и мимо окон прошагал независимо, сдержанно.

Повесив в раздевалке куртку, подошел к классу и после минутного замешательства открыл дверь.

Анна Михайловна вскинула руку, посмотрела на часы, осуждающе покачала головой и велела садиться.

Дальше пошло все своим чередом, и Венька успокоился.

Повторяли пройденное: падежи, склонения, всякие там «дополнения, определения и обстоятельства». Венька не очень вникал — всего три дня назад его спрашивали, правда, он получил тройку, но все равно очередь дойдет теперь до него не скоро, — и он, что называется, считал за окошком ворон.

— Соловьев?

Он не поверил ушам своим, лишь встревоженно напружинился.

— Соловьев, оглох, что ли, — к доске.

Растерявшийся, отвечал он робко, сбивчиво и все больше неверно: перепутал склонения, не сумел определить спряжение глагола. Анна Михайловна пыталась его вытянуть, «гоняла по учебнику», но безуспешно, он запутывался на самых простых вопросах.

Наконец, она вздохнула, развела обескураженно руки, дескать, ничего не поделаешь, не обессудь, и поставила в дневник двойку, да еще приписала на полях внизу: «Опоздал на пятнадцать минут».

Домой бежал опять через болото, не задержался, тут уж не до ягод было, — хозяйские дела не отсрочишь, не переложишь на завтра. Он всегда умело и в охоткуправлялся по дому.

Переодевшись, Венька взял подойник, баночку с вазелином и спустился во двор. Корова стояла, положив морду на жердь, смотрела большущими добродушно мигающими глазами. Она любила Веньку и всегда, когда он подходил к ней, успевала цапнуть его за полу шершавым, как рашиль, языком.

Венька на этот раз увернулся от ее языка, набрал охапку сена позеленевой, бросил в кормушку. Корова уtkнулась, захлопала пыльными ушами, захрупотела. Теленок в загородке взбркнул, стукнул копытцем в стенку и замычал.

— Экий ты, Артист, нетерпится. Обожди, сейчас, — прискасал его Венька.

Корова тоже ждет свою норму, но этой надо еще приготовить.

Курицы квохчут назойливо, стучат пустыми клювами, требуют корм.

Уже в потемках сел за уроки, раскрыл дневник, сокрущенно вздохнул: вообще-то, с русским у него неладно, надо подтянуться.

Скоро пришла мать, — запахло сладковато-душным йодом.

Следом за ней заявил отец. Венька слышал, как он, неуклюже покряхтывая, топтался у вешалки, снимал пропитанную мазутом телогрейку, и уже догадывался, что это значит.

— Ты чего, опять, да? — донесся сдержаный голос матери.

— А-а... — небрежно протянул отец. — Ерунда это... Кхе, кхе... Пару болтов одному выточил, — не откажешься, надо уважить...

Тяжело пришлепывая босыми ступнями, отец подошел к столу. Венька чувствовал затылком его сопящее дыхание.

— Ну что, ученик? Кхе, кхе. — Отец раскрыл дневник и стал листать толстыми, в подтеках блестящего масла, пальцами, оставляя на листах жирные пятна.

Венька весь взъерошился, закипел.

— У тебя руки грязные, не трожь! — Он отбросил ладонь отца, но тот уже успел высмотреть его сегодняшний «успех».

Отец обреченно, с какой-то угрюмой подавленностью, отвернулся.

— Кхе, кхе, обрадовал... Эх ты, неуч... Да еще шлялся где-то почти пол-урока...

Венька, не помня себя, что-то шептал, — строчки кривились и упливали.

Отец молчал, жестко сопел. Венька знал: этим не кончится. Резкий голос заставил его вздрогнуть:

— Грязные руки!.. Мозги у тебя грязные!..

Шлепок в затылок был увесист. Венька едва не слетел со стула.

На крик выбежала мать:

— Михаил, успокойся, ну что ты в самом деле!..

Венька, напружинившись, сдавливая подступившую дрожь, ждал нового подзатыльника. Но отец отошел, нервно застучал портсигаром, доставая сигарету.

Венька сидел, не шевелясь, может, час, а может, два часа.

Мать подошла к Веньке, ласково обняла за плечи:

— Хватит маяться-то, родной мой, ложись-ко лучше спать, а завтра встанешь и на свежую голову...

Венька расслабился и вздохнул, — легки и отрадны слова матери.

Всю неделю подмрашивало. Солнце, конечно, ярилось, подъедало сугробы, лучи так и жгли. К вечеру наст подтаивал, терял крепость, так что даже легкий Венька проваливался. А на другой день опять ударял ядреный утренник, опять наст во всей своей красе и силе, — гуляй, не признавая дорог, свищи ветром в поле.

За неделю Венька вдосталь запас тычинника. Тут и отец заметил, похвалил за старание.

А на воскресенье — задание школьное: собирать сосновые почки. Венька знал приметное местечко. За приречным полем среди старого осинника есть песчаная гравийка, поросшая молодыми кужлявыми сосенками.

Венька вышел пораньше. Солнце только всходило, лучи скользили по белой глади, стволы березок у бани в ледяной прозрачной сорочке посверкивали, стена дома уже успела отволгнуть и курилась сизым парком.

За огородом мать расстилала прополосканные простыни. Они схватывались сразу и коробились, словно от жара, легкие царапающие звуки растекались по сугробу.

— Вениамин, ты хотя бы позавтракал, — сказала мать озабоченно.

— Ничего. Я взял краюху и соли. Я ненадолго.

Венька шагал твердо, выдерживая широкий мужской шаг. Он шел, а мать смотрела вслед, и ему хотелось выглядеть в глазах матери этаким самостоятельным и серьезным молодцом.

Он взглянул вправо, влево. Чиста и раздольна вымощенная морозом околица, — и тут же забыл все свое притворство, игру в солидность — понесся вырвавшимся на волю, взбрыкивающим теленком.

Венька живо перепорхнул поле, угнув голову, пробился сквозь ивовое сплетение подлеска, миновал сумрачную гряду елей и вышел в светлый зеленоствольный осинник. Он знал,

пройдя около ста шагов, надо повернуть влево к реке. Гравийка, поросшая ершистыми, вздорно растопыренными сосенками, возвышалась крутой подковой. Осины тут расступались, как бы давая свободу этому молодому семейству.

Венька вытащил целлофановый пакет, принял сощипы-вать продолговатые, обметанные крупчаткой смолы почки. Смола прилипала к пальцам, разрастались темные, сковывающие движения корости. Венька несколько раз вытаскивал складничок, скоблил ладони. Пряный запах вытопившейся живицы щекотал в носу.

Потом он перешел на другую сторону гравии. Тут скат покруче. Галоши поехали, Венька не успел схватиться за ветку, и его вынесло к толстой дуплистой осине. Венька резво вскочил, опервшись о ствол, заправил в голенище выбившуюся штанину и увидел среди деревьев широкие округлые проломы. Подбежал, удостоверился — след сохатого. Присел на колени, взгляделся в отвесно пробитую темную дыру — глубок еще снег. И тут заметил на стеклянисто зазубренном ободке отверстия розоватые сгустки оплавивших комочеков. Венька осмотрел соседнюю ямку — та же картина. А потом убедился, что и каждый шаг зверя отмечен вкраплениями застывшей крови.

Венька с бьющимся сердцем безрассудно побежал по следу. Ох этот бесконечный безмолвный осинник! Сохатый, словно почувствовав его равнодушную безысходную глухоту, стал мотаться, — след пошел рваный, кривулями. Снег тут окроплен обильней и гуще.

Все чаще проломы, порой зверь вообще топтался на месте, — наст вздыблен, пластины торчат ребрами, никаких следов не разберешь. Венька замер: в проволочно свившемся ивяжке что-то темнело. Вытягивая шею, словно бы крался, позабыв о хрусте наста. Раздвинул ветки, затаив дыхание, — на продавленном снегу лежала молодая лосиха. Она пыталась подняться, судорожно сучила ногами, дергалась комом головой. Встать не удалось, — лосиха раздувала ноздри и дико косила взглядом. Подойдя, Венька увидел ее запекшиеся, содранные до костей, колени. Лосиха была измучена, истощена. Кусты — насколько ей удалось дотянуться — обглоданы.

Венька поспешил вытащил краюху,сыпанул по ноздристому срезу щедрую щепоть соли и, вытянув руку, осторожно, с остановками стал приближаться. Лосиха смотрела неподвижным, каким-то осталбенело-обреченным взглядом. Краюха уже зависала над ее шелковистой вздрагивающей губой, — лосиха брезгливо фыркнула — по коже прокатилась рябь судороги — и забилась, задрыгала непослушными ногами.

Выронив краюху, Венька испуганно отскочил, спрятался за кусты. Лосиха все билась, запрокидывалась головой, пачкая сочавшейся сукровицей перетолченный в крошку наст.

— Ну успокойся, успокойся же!.. — шептал Венька суматошно. — Ну обожди, я сейчас, ты не бойся, я сейчас!..

Сделав несколько слепых шагов назад, он повернулся и понесся в деревню.

Прибежал взмокший, грудь нараспашку, задохся, едва выговорил:

— Папа... папа... там ло... лосиха... Она... лежит... не встать ей...

И только спустя минут пять смог объяснить толком.

Отец быстро собрался, позвал соседей — Ивана Кузьмича с сыном Алексеем. Все пошли на пустующую конюшню, откопали придавленную сугробом дверь, выволокли оплетенные, с широкими изъезженными полозьями, розвальни. Подумав, вывернули из заверток оглобли — будут мешать в лесу, — вместо них прихватили висевшие на стене вожжи и два сыротяных чересседельника.

Розвальни сначала пошли с упором, на снегу оставались грязные полосы, но уже через минуту-другую полозья попретились, заскользили легко и податливо. Проехав Пеньки, отец поступал в наличник стоящего на отшибе дома, позвал хозяина Расходова, еще крепкого семидесятилетнего старика.

Мужики шли по сторонам розвальней, положив на раскосины ладони, — сани катились как бы сами собой. Алексей даже предложил Веньке сесть, — занятно же прокатиться в этой необычной упряжке. Но Венька наступил, зыркнул сердито, — в такой-то важный час до забав разве!..

Наст держал хорошо. Пригревистое солнце ласково румянило щеку. Синеватые тени ног размашисто стригли белое покрывало.

Подошли к лесу. Венька обогнал розвальни. Он чувствовал себя проводником и рьяно выказывал старание: забегал вперед, совался в стороны, показывал, где лучше пройдут сани. Иногда расколесины застревали. Подходил Алексей, резкими ударами топора валил деревце. Пробрались в осинник, здесь прогалы свободней. Венька вел уверенно, сани покатились скорей.

Лосиха лежала, ткнувшись губами в снег, поникшие уши зябко подергивались. Когда стали подходить, она очнулась, попыталась подняться, с отчаянием дернулась головой, вскинулась на колени, но не удержалась и завалилась на другой бок.

— Придется связать ей ноги, — сказал Иван Кузьмич.

— Ишь ты! А? — кивал старик Расходов. — Вот это наст — вся кожа в клочья. Да это — ладно, заживет.

Отец с Алексеем прижали вытянутые лосихины ноги, а Иван Кузьмин ловко захлестнул их чересседельником.

Подкатили розвальни, запрокинули, подвели раскосину под бок, дружно взялись и в один момент перекатили лосиху через спину в оплетенный короб саней.

Лосиха словно уже смирилась с участью, лежала неподвижно. Она лишь измученно фыркала, в мглистых глазах ее горел лихорадочный ужас.

В лесу пришлось попыхтеть, — тянули воз в подъем, да и полозья проседали, резали борозды. Но когда пробились в поле, в этот до свечения, до каления раскочегаренный солнечный котел, вздохнули облегченно, просияли отрадными улыбками, — вот она деревня-то, рядом.

Венька шагал с бьющимся сердцем, жалостливо смотрел на понурившуюся лосиху.

— Куда мы ее, бедолагу, — на ходу вытирая шапкой лысину, сказал старик Расходов. — К вам, Михаил, надо.

— А еще куда же, конечно, к ним, — подхватил Иван Кузьмич. — Как раз и ветеринар к месту...

— Придется. Надо выхаживать, как же, — согласился отец, оценивающе приглядываясь к лосихе.

— Молодая еще, опыту нет, поосторожней бы, перестоять бы ей эти дни в укромном mestечке, — где там, гулять надо, — сокрушался старик Расходов.

— А может, волки гоняли? — тревожно спросил Алексей.

Иван Кузьмич аж остановился, удивленный наивности сына:

— Волки... что мелешь: волки есть волки, неужели бы они отступились?

— Тогда собаки. Слышал я дня четыре назад, — гавкали.

— Так собаки или волки?

Выручил старик Расходов:

— Собаки могут, этим шавкам все равно, лишь бы за кем гоняться.

Притолкали сани ко двору. Отец открыл одну створку ворот, вынес брезент. Переложили слабо сопротивляющуюся лосиху на его широкую полу и волоком втянули во двор.

— Вот тебе новое обиталище, — сказал Иван Кузьмич, пыхловав по лбу безучастно сопящую плениницу.

Корова, зачуяв дикий запах лесного зверя, шумно втягивала воздух, косилась и устрашающе топала ногой.

Мужики разошлись. Отец принес ножовку, топор, гвозди и сразу принялся сколачивать загородку.

Вскоре пришла мать с чемоданчиком, помеченным синим крестом. Осмотрела лосиху, повздыхала, покачала головой. Но за дело принялась расторопно и смело, — обстригла слипшуюся

шерсть, промыла разрывы марганцовкой, затем обильно присыпала раны каким-то порошком и забинтовала.

Венька суетился, что называется, сам не свой, — помогал то отцу, то матери. Но что бы он ни делал — закручивал ли бутыль с марганцовкой, держал ли приколачиваемую отцом жердь, — ни на минуту не упускал из вида лежащую на соломе лосиху. Ему даже не верилось, что все это происходит на самом деле, что загадочный зверь теперь и под его опекой, защищай. Это было почти что наваждение, и чтобы вернуться в реальность, поверить в явь, ощутить себя в такой необычной, но конкретной обстановке, Венька подходил к лосихе, трогал ее шею, уши, гладил худую лоснящуюся отмякшей шерстью спину. Сердце его при этом трепетало, — спас лесного великанна, какой же он счастливый.

Загородка получилась просторная. Кормушку отец не стал делать, решил сколотить, когда лосиха встанет на ноги.

Утром, проснувшись, Венька первым делом спросил:

— Мам, ну как там моя находка?

Как-то непроизвольно, неожиданно слетело это слово — находка.

— Вот уж, действительно, — настоящая находка. Не наткнись ты на нее — погибла бы, это точно, — рассудила мать.

— Как же она, мам?

— Ну как — все лежит. Я вот ей сейчас водицы подсоленой отнесу.

Венька оделся и выскользнул во двор за матерью. Лосиха сначала было отвернулась от воды, но когда мать смочила ей губы, она встревожилась, ноздри затрепетали. Мать тотчас придинула ведро, и лосиха стала пить. Она пила совсем покоровьи: цедила воду сквозь зубы, копила ее в пасти и с урканием толкала редкие емкие глотки.

Венька, просунув сквозь жерди руку, гладил лосиху по спине, приговаривал:

— Нахodka... Нахodka...

— Ты вот что, Вениамин, — сказала строго мать, — как придешь из школы, наломай ей всяких прутьев — иловых, ольховых, рябиновых, осиновых — всяких. И хорошо бы сосновых лапок. Она выберет на свой вкус. И так каждый день.

Ну эта забота — не забота, а одно удовольствие. Венька еще по пути из школы наломал охапку всяких прутьев, даже не поленился завернуть на хутор Пчелкино за липовыми веточками.

Лосиха не стала есть ветки при Веньке. Он подсовывал, уговаривал: — Нахodka, Нахodka, — не обращала внимания. Но когда ушел и взглянул в щелку непрятворенной двери, увидел, — лосиха ткнулась в охапку, обнюхала и, выбрав сосновый зеленый побег, захрупала.

Вечером вместе с отцом пришел охотовед Григорьев, невысокий, плотно сбитый, еще молодой мужик. Он сходил во двор, осмотрел лосиху и остался доволен. Потом они долго сидели с отцом на кухне, брякали ложками, хрюстели капустой. И Венька слышал по-хозяйски уверенный, слегка назидательный, голос охотоведа:

— Лечите. Зверь — он живучий, поправится. За труды — сквитаемся, будь спокоен. Сам знаешь — товар у нас всякий. Как поправится, встанет на ноги — дайте знать, сообщите.

— Кхе, кхе. Ясно дело, чего говорить — само собой, — сквозь капустный хруст немовато подхватывал отец.

Венька каждый день шел в школу и возвращался с думой о своей Находке. Дел ему по хозяйству хватало, но главной заботой он теперь считал уход за лосихой, — убирал из хлева огрызки веток, наламывал новых, причем выбирал молодые, тоненькие. Лосиха совсем привыкла к нему. Он брал щетку, перелезал через жерди в загородку и вычесывал потускневшие линяющие волосы. Лосиха мирно лежала, скольжение щетки словно бы убаюкивало ее, — глаза туманились подступающей дремотой.

Мать каждые три дня меняла бинты, говорила, что заживление, хотя и трудно, но идет, и с шуткой добавляла, что после такого их старательного ухода этим ногам «сносу не будет».

Вообще дни шли для Веньки заполошные, согретые нечаянной радостью. Правда, один раз ему снова крепко попало от отца, — взял без спроса ножовку по металлу, хотел выпилить тросточку из медного стержня, да неудачно нажал, полотно лопнуло. После жесткой, высекающей скупую молчаливую слезу трепки Венька недолго сидел в углу нахолившимся цыпленком. Мать пошла во двор с ведром, — Веньку как ветром сдуло. Пока мать доила корову, он все гладил, почесывал лосиху, чувствуя, как горечь обиды рассеивается, тает, уступая тихой задумчивой радости.

Наст давн рухнул, рассыпался в прах. Остатки грязных лохмотьев снега истлевали под нажимом упрямого солнца. Шумела река, в подтопленных прибрежных кустах крякали утки. Сырой, припахивающий прелью валежника ветер дул то с севера, то с востока, но уже ничто не могло остановить пробуждение, — весна хозяйствничала кропотливо, дотошно.

Как-то утром мать разбудила Веньку. Это редко случалось, обычно он поднимался сам. Мать повернула его на спину, вкрадчиво прошептала:

— Проснись, соня. Ничего ты не знаешь — ведь радость к нам залетела.

Венька съязил с кровати. Он уже понимал, — дело не шуточное, мать никогда его не разыгрывала.

— Что случилось, мама?

— Беги во двор, увидишь, — подтолкнула его в спину. Венька сунул ноги в шлепанцы и, обмороочно пошатываясь, позевывая — сонная нега сковывала движения, — заковылял по широкой коренной половине.

Из сеней — дверь налево. Он дернул за скобку, перешагнул порог и замер, ошеломленный чудесной картиной: лосиха стояла.

В маленькое оконце наискось падали лучи. Нахodka стояла аккурат в их конусе. Гладко вычесанная спина переливалась, искрилась, и казалось, на лосиху наброшена звонкая серебряная попона. Венька хлопал глазами, — какая, оказывается, его Нахodka высокая, могучая, стройная. И что особенно восторгало: лосиха, просунув голову между прядями, дружелюбно обнюхивалась с коровой.

Через четыре дня мать сняла повязки. Коленные чашечки зарубцевались, коросты подсохли, и острые иглы волос уже просяли голубоватые проплешины молодой кожи.

В тот же вечер пришел охотовед Григорьев. Опять он долго сидел с отцом на кухне, опять стучали ложки и смачно хрюстила капуста.

Мать ушла со своим ветеринарным чемоданчиком к Ивану Кузьмичу, — прибегал Алексей, что-то случилось с теленком.

Венька учил уроки. Но разговор за переборкой сбивал настроение, мешал сосредоточиться.

Бубнил все больше Григорьев, — назойливый голосок, какой-то зудяще-ровный. Венька хмурился, нервно ерзал на стуле, — ничего не запомнилось.

— ...Что ни говори — большое доверие. Подумать только — областной семинар, со всех районов съедутся. Охотоведы, лучшие егеря... Климков мне прямо сказал: «Ваш участок один из лучших, вот и пал выбор». Честь-то честью, да и ответственность...

— Кхе, кхе... Принять надо как следует, это уж точно...

— Вот я и говорю, человек полста будет, кой-как не отделаешься. Климков опять же — первая персона. Ну с директором я договорился, — общежитие сейчас пустует, двадцать пять коек есть, остальных по домам. Со столовой тоже утрясли, трехразовое питание каждый день. Теперь насчет мяса. Эту лосиху договорились — того... Котлеты, студень — все посытнее. Так что завтра давай. Сможешь?

Венька аж похолодел, уловив смысл решительных слов охотоведа. Он зябко сжался, вспугнутое сердце затрепыхалось.

— Кхе, кхе... Подумаешь, зверь какой, завалим хоть бы что, силка есть... Только за уход-то надо бы...

Они еще о чем-то говорили. Словопрения перемежались паузами насыщения, — ядрено, звучно скрипели на зубах ка-

пустные кочки. Слышать этот самозабвенный и вольный хруст было просто невыносимо, — Венька с содроганием зажимал уши.

Вдруг он поднял голову, напряженно, с решимостью уставился в переплет рамы: «Что, все так и будет? Что же это получается? И вообще, как же тогда дальше?..»

Он встал и, крадучись, вышел. В сенях нашарил топор под лавкой и опять же, не включая света, на ощупь спустился во двор. Все знакомо, выверено до шага, протянул руку — вот она задвижка, — выбил ее из гнезда и открыл ворота.

Тусклый свет звездного неба потеснил вязкий лучик двора, — Венька различил стойку, уходящую в темноту слеги, силюэт замеревшей лосихи.

Топор к сухой жерди припечатался звонко, — Венька содрогнулся, сердце забилось так, что зашумело в ушах, ослабли руки. Но терять время было нельзя, и Венька, собрав волю, замахал топором. Гвозди поддавались легко. Жерди падали одна за другой. Вот уже вся стенка расшита, путь свободен, но лосиха ни с места. Она лишь смотрела в воротный проем, в это туманное, шибающее талой землей, горчащее, отмякшее ивовым и ольховым прутняком ночное чудо и настороженно прядала лопущистыми ушами.

Венька поднял хворостину, хлопнул лосиху по крестцу. Она стронулась, сделала три-четыре шага и остановилась в воротах, поводя головой и с шумом втягивая напирающий во двор сырой холодный воздух.

За огумнами всплеснулась река, должно быть, обрушился подмытый берег. Гулко отдалось в прибрежном осиннике. Всполошились грачи, — заклокотали, захлопали крыльями. Но быстро все стихло, и только доносились с поля какие-то осторожные чавкающие звуки, словно там кто-то заблудился и вот ходит, маётся, не решаясь подать голоса.

Лосиха сначала пошла шагом, но, миновав проулок, перешла на бег и стала ходко удаляться. Скоро Венька потерял ее из вида, и только размеренные степенные шаги еще долго слышались в гулкой глубине ночи.

— Нахodka!.. Нахodka!.. — шептал Венька, прижавшись к косяку. Слезы текли по его дергающимся щекам и прыгающему подбородку. Это были слезы не страха перед совсем скрым наказанием, Венька даже не думал об этом, — секло душу и сбивало дыхание что-то неизмеримо более печальное, безысходное.

Он понимал: лосиха ушла, она теперь в своих владениях, на свободе, но то, что он услышал дома, переворачивало и разрушало все его прежние радужные мечты, и он явственно представлял теперь, какая беда подстерегает лосиху.



\* \* \*

Благодатный час природы:  
В свете зреющею луны  
И сады, и огороды  
Вдохновения полны.

Раздобревшая до хруста  
От последнего тепла  
Днем намаялась капуста,  
Но одежек не сняла.

Ночью яблоко проснулось —  
Одолел ядреный дух, —  
К спелой груше потянулось,  
А упало на лопух.

Неприятно. Что ж, бывает.  
Промолчал, однако, он.  
Может, тоже открывает  
Тяготения закон?

### ЛИСТОРОД

К зеленой этой дате  
Готовились с весны:  
И барабанщик-дятел,  
И трубачи-клесты.

С веселыми улыбками,  
Нарядны и крепки,  
С березками и липками  
Вальсируют дубки.

И, вспоминая молодость —  
Эх! если б да кабы, —  
Поглаживают бороды  
Столетние дубы.

Летит сорока-бестия,  
Трещит на полсела:  
Последние известия  
Из леса принесла.

### ШУТКА

В ночь на первое апреля — не до сна,  
Петуха звала на улицу весна.  
Во дворе увидел звезды в луже он,  
Думал, зерна — разбудил скорее жен.  
Закружились куры, падая, на льду,  
Заклевали непонятную еду.  
А потом клевали вместе петуха,  
И смеялся в небе месяц: ха-ха-ха...

### ШИШКА

Любопытный мальчик Мишка  
Пошагал однажды в лес.  
Он хотел увидеть шишку,  
На сосну в лесу полез.

А свалившись, мчался к маме,  
Шишки нес, и сразу две:  
Ту, что меньшая, — в кармане,  
Что крупней — на голове.



### ЧИТАЕМ ВСЛУХ

### НЕ ДОРОС

— Ты теперь уже большой! —  
дед одобрил Гришку.  
И парнишка подал свой  
звонкий голосишко:  
— Нет, ещё пока что мал.  
Даже с табуретки  
я до полки не достал,  
где лежат конфетки!

## РУКАВИЧКИ

Плачет внучка-невеличка:  
— Потеряла рукавички!..  
— Не реви напрасно, внучка.  
Рукавички-то на ручках.

## ОЧЕВИДЕЦ

Федот в зеленой роще встретил Бову:  
— Не видел ли ты здесь мою корову?  
— Какую? Пеструю? И на рогах веревка?..  
— Ага!  
— Нет, не видал, — ответил Бовка.

## ТАЛАНТ

— Младенец наш всего лишь годовалый,  
а книг перелистал уже немало...  
— Так он читать умеет, может быть, —  
не научился только говорить!

## ОПРАВДАНИЕ

— В чем дело? У тебя подряд  
оценки в дневнике плохие...  
— Ой, мама! Я не виноват.  
Учитель выставил такие.

## РЕКОРДНАЯ ОТМЕТКА

Егорушка признался тете Поле:  
— «Четверку» получил сегодня в школе.  
— А по какому же предмету?  
— Дело в том,  
что у меня одна — по четырем.

## УРОК ГЕОГРАФИИ

Учитель вызвал к карте  
семилетнего Макара:  
— Чем ты докажешь,  
что Земля имеет форму шара?.. —  
Парнишка хмыкнул  
и нетвердым голосом  
ответил однозначно:  
— Глобусом.

## ПРОПАЖА

Хнычет Лешенька спросонок.  
Малыша грызет тоска.  
— Где Пушок? Пропал котенок.  
Помогите отыскать!.. —  
Прибежал на помощь Саша.  
Братик легок на подъем.  
— Не реви. Нашлась пропажа.  
Спит он в валенке твоем.

## НАДО УЧИТЬСЯ

Саша книжку взял из сумки  
и, на травке лежа,  
показал — где есть рисунки,  
а где буквы — Леше.  
Петушок из-за кусточка  
подбежал проворно.  
Клюнул буквы в верхней строчке:  
думал — это зерна.  
Почему ошиблась птица?  
Непонятно, что ли?  
Надо было поучиться  
в петушиной школе!



## ТРАМПЛИН

Восьмиклассник Вовка Репин — известный в ребячьею миру барабанщик. В очередной раз рассорившись с мальчишками, он от нечего делать соорудил под горой возле деревни большущий трамплин и опробовал его.

Ровесники Вовки из-за принципиальных соображений не проявили к трамплину никакого интереса. А ребятня помладше на творение рук Вовки решила все же посмотреть.

— Ого! — не сдержал кто-то из них удивленного взгляда. — Тут запросто голову свернешь.

Вовка с самодовольным видом обратился к ребятам:

— Ну, пацаны, кто рискнет?

Рисковать без нужды никто не хотел. Вовка пренебрежительно скривил губы:

— Слабаки-и-и!

Чуть помедлив, он вытащил из кармана куртки битую перебитую хоккейную шайбу.

— Приз самому смелому.

И опять желающих совершить прыжок не нашлось. Но Вовка не отступал:

— Даю на неделю свои лыжи тому, кто не сдрейфит.

Надо сказать, что лыжи у Вовки были отменные: красивые, легкие. Их Вовке привез из Мурманска его дядя.

Мальчишки не поддавались и на этот соблазн.

— Трусы, дохлятиki, — куражился Вовка.

И тут из ребячьеи ватаги послышался звонкий голосок:

— Я прыгну!

Выражение злого торжества разом слетело с Вовкиной физиономии. От ребячьеи стайки отделился плотный парнишка — пятиклассник Серега Степанов. Он поднялся на гору, постоял там немножко и, скаввшись в ком, сиганул вниз.

Приземлился Серега не очень удачно. Нелепо взмахнув руками, грохнулся на снег. Его шапка лохматой черной собачонкой метнулась в сторону. К Сереге поспешили ребята, помогли ему подняться. Подошел сникший Вовка, нехотя протянул лыжи.

— Держи. Уговор дороже денег.

Серега повернулся к нему мокрею то ли от слез, то ли от растаявшего снега лицо, бросил неприязненно:

— Иди гуляй со своими лыжами, понял!

Вовка от неожиданности не нашел, что и сказать.

Осторожно ступая на ушибленную ногу, Серега двинулся к деревне. Его приятели направились следом, оставив Вовку одного.

## ПИРОЖКИ

Воскресное утро. На вершине укатанной лыжами и санками горки стоит, опервшись на палки, второклассник Пашка Давыдов. Он уже досыта накатался и теперь посматривает в сторону деревни, откуда давно бы должен появиться его новый приятель Вовка Сорокин. В кармане Мишкиного пальто хранят тепло домашние пирожки, завернутые в газету. Мишке хочется отведать пирожков, но он пока не достает сверток, поджидает друга, чтобы угостить его.

Неделю назад Вовка приехал на каникулы к бабушке из города. Но та неожиданно прихворнула, и потчевать внука вкусной стряпней ей пока было не по силам.

Но его все нет и нет. Мишка не выдерживает и с жадностью набрасывается на пирожки. С трудом одолев последний, он добродушно смотрит на карабкающихся в гору дошкольников.

Взметая снежную пыль, к горке мчится Вовка. Подлетает к Мишке, разворачивает серую оберточную бумагу, на ней румянятся аппетитные... пирожки.

— Мама приехала, — с радостной интонацией в голосе сообщает Вовка. Киваet на пирожки.

— Только что испекла. Держи.

Мишке, стыдливо потупясь, глянул на смеющегося дружка.

Николай Шорин

## ПТИЧЬЕ МОЛОКО

Мне бабушка сказывала, что на базаре раньше можно было купить все, «окромя птичьего молока». Я и верил и не верил. Отец ответил мне на мой вопрос: «Говорят, в Москве кур доят. Мы пришли, сосков не нашли».

— Птичьего молока не бывает на свете, — объяснил мне эту загадку старший брат, — потому народ и сложил такую поговорку.

А дедушка говорил неопределенно:

— Возможно, и птичье молоко бывает. Как знать?

Так у меня и осталось невыясненным: есть оно или нет?

После войны, залечивая раны, я заинтересовался голубями: стал их разводить. Красивая птица! Не только парами живет, но парами птенцов выводит. То самочка сидит на гнезде, яички греет, то самец. Гнездо у них прямо на полу, на досках. Появляются детеныши, так родители устали не знают! Тут-то я и приметил: есть птичье молоко! Только оно не такое, как

коровье. Это — кашка молочная, образующаяся под языком у голубя. В первые дни жизни птенцов и питают этой молочной кашкой. Конечно, на базар такое молоко не повезешь. Но птичье молоко есть!

## ВОРОНЬЯ СМЕКАЛКА

Про человека, который упустит из рук добычу, говорят презрительно: «У-у, ворона!» Да справедливо ли это?

Подточенный волнами берег съехал в воду. Ветлужская вода тут билаась и клокотала. У таких мест кишит рыба. Зная об этом, сидели и мы тут, ниже несколько по течению. Время от времени на удочки попадали и окуньок, и подлещик, даже ветлужский князь — язь.

Часов около восьми утра к нам пожаловали из леса вороны. Одна уселась над берегом, на крестике ели, и молча следила за рекой. Другие бродили по песку, словно что-то меряли, крестиками прибавляли да множили. Ниже нас в реке начинался перекат, мель, или, как говорят рыбаки, «переплавье». Туда волны из ямы выносили все: водоросли, мусор, мелкую рыбешку с личинками заодно. Тут и кормились вороны.

Ворона, что сидела над нами, на ели, вдруг бесшумно сорвалась и спланировала на песок, к самой воде. Она схватила в клюв, как мне показалось, камешек и начала остервенело бить его крепким клювом.

«Почему она бьет камень?» — подумал я и потянулся за биноклем. Оказалось, что у нее был не камешек, а раковина. В ней живет нежный моллюск.

— Достань, попробуй! — пошутил я вслух, как бы подбадривая ворону, и стал следить за поплавками.

Однако мое любопытство было задето, и я изредка косил глаза, чтобы следить за вороной. Она долго била носом раковину, стремилась вскрыть. Но... И тут я был удивлен. Ворона зажала добычу в клюве и стала быстро набирать высоту. Взлетев метров на десять-пятнадцать, она выпустила раковину и следом быстро спланировала на песок. Подошла, стукнула клювом. Раковина не раскрылась. Ворона еще несколько раз поднималась и бросала раковину на песок. Все повторялось. Наконец, она полетела с раковиной выше по течению, на тот берег. И там, я видел, снова не раз бросала с высоты раковину. И вот раковина попала на камень. И надо было видеть, с каким проворством упала ворона к своей добыче. Раковина расширилась. Ворона с жадностью хищницы выдирала тело моллюска из расширенного панциря.

Завтрак вороне понравился. Она вернулась к переплавью и стала упорно ждать: не покажется ли еще раковина.

## МУРАВЬИНАЯ ДОРОГА

Трудолюбивое насекомое муравей. С зарей поднимаются они на работу, поздно заканчивают смену. Даже в дожди, если дождь грозовой, муравейник без устали трудится. Нет, наверное, в природе более сильных и трудолюбивых существ!

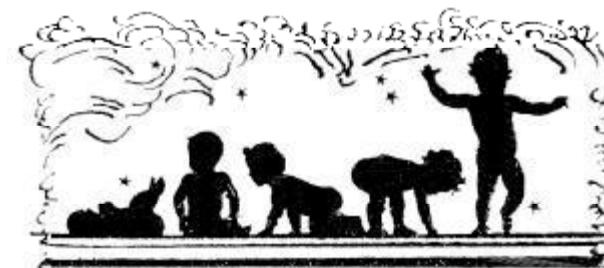
Мне много раз приходилось удивляться настойчивости муравьев.

После утреннего тетеревиного тока я отдыхал в лесу. На остатки моего завтрака напали муравьи. Они захватывали крошки, поднимали их и тащили, кажется, утаскивали в разные стороны. Потому я и подумал сначала, что муравьи эти из разных муравейников. Но, последив за их движением, улыбнулся: они тащили крошки кто куда, а вскоре каждый из них оказывался на торной тропке. Она и заинтересовала меня.

Если вы бывали в сосновом бору, то, вероятно, замечали более или менее прямую углубленную бороздку в белом, сухом мху. Это не что иное, как муравейная дорога. Присмотритесь, сколько буреньких насекомых спешит назад и вперед по такому «шоссе». Дорога обязательно торная. И если один из муравьев не может никак управиться с ношей, застрял, то свободные помогут ему взять груз более удобно, как бы говоря: «Взялся тащить — не хныкай!» И он тащит по выбитой во мху дорожке тяжелую, в несколько раз себя тяжелее, но посильную, по мнению его друзей, ношу.

Я мхом завалил дорогу, затруднил муравьям путь, смотрел — что же они будут теперь делать? Первый же подбежавший муравей мигом нашел выход: он легко отделил один из стебельков мха, перегораживающего путь, и потащил его к муравейнику. Следом подбежал второй. Сделал то же. А через минуту у этого участка сутились сотни муравьев. И вскоре от преграды ничего не осталось.

«Вот как они упорно отстаивают дорогу жизни», — подумал я и, довольный и обрадованный их настойчивостью, поспешил уйти.





## САТИРА И ЮМОР

Павел Румянцев

### СКОРБНАЯ ДОРОГА

Из повести «Последние версты»

Москва хоронила Гоголя. Гоголь лежал в гробу и думал: «А что если встать сейчас — вот будет зрелище! Похлеще немой сцены из моего «Ревизора»! Нет, негоже... Вдруг кому-то в толпе дурно сделается, или давка начнется, или дитя заплачет? Разве воскрешение стоит слезы ребенка? Красивая фраза! Оставлю кому-нибудь из собратьев...»

— Эй, посторонись! Дорогу его высокопревосходительству!

По узкой Воздвиженке сквозь толпу и сугробы пробирался экипаж с московским губернатором графом Закревским.

— Небось генерала хоронят, раз сам губернатор пожаловал? — полюбопытствовал у соседа один из зевак, что столпились возле университетской церкви.

— Нет, — ответил его сосед, на вид почтенный московский гражданин. — Гоголя!

— А кто это?

— Писатель.

— Неужто из-за него столько народа собралось? Видать, много написал?

— Нет, немного, — ответил почтенный гражданин и снял меховую шапку. — Гений! Гений! — со слезами умиления произнес он. — Гении — они много написать не успевают... они лишь наметки делают, а далее другие по их наметкам свои таланты проявляют. Еще одного гения Россия потеряла!

Но любопытствующий зевак уже оставил своего соседа и пытался протиснуться поближе.

Внутри церкви было так же многолюдно, как и снаружи. Профессора и студенты Московского университета, литераторы и актеры, власть имущие и простой люд прощались с Гоголем, быстрая и внезапная смерть которого потрясла всю Москву.

— Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный — Помилуй нас! — упоенно и проникновенно пропел священник.

Начались приготовления к выносу. Решено было закрыть гроб крышкой возле церкви, чтобы народ еще раз мог увидеть Гоголя. Морозное февральское утро поторапливало организаторов похорон.

И вот гроб с Гоголем медленно поплыл на руках студентов. Несли, бережно передавая друг другу. При выходе из церкви кто-то из молодых людей оступился, гроб покачнулся, и многим показалось, что Гоголь пошевелился.

— Живой! Глядите, и щеки от мороза порозовели! — запричитала одна из женщин.

— Цыц, баба! — прикрикнул на нее стоящий рядом жандарм. — Не виши, ученые хоронят. Стало быть, того... точно покойник. А ну, подвинься!

Люди расступились.

Гоголь в лавровом венке был страшно красив. И эта страшная, непонятная красота манила народ, завораживала и вела за собой. Толпа увеличивалась, и с каждой минутой росло напряжение. Всем казалось, что должно что-то произойти, что-то случиться. Тревога охватывала собравшихся, и ничем ее невозможно было объяснить. Одно все понимали: еще никого в Москве не хоронили так.

— И здесь он первый! — прочувствовав атмосферу похорон, заметил профессор истории Соловьев. — Кто знает, господа, скольких еще Москва будет эдак провожать?

— Единицы, Сергей Михайлович, единицы подобной чести удостоятся! — в отличие от суховатого и педантичного

коллеги живо откликнулся Тимофей Николаевич Грановский.  
— Народу-то собралось!..

— А друзья хороши, не пришли на вынос! Даже Аксаковых нет! — возмутился кто-то из профессуры.

— Не любят нас с вами, «западников», вот и не пришли, — ответил Грановский. — Погубит когда-нибудь Россию этакая нетерпимость! Эх, погубит!

— Тимофей Николаевич, что вы, право, в пророчества ударились? — откликнулся Соловьев.

— Так ведь пророка и хороним! — подытожил Грановский.

И замолкли ученые мужи, и робко взглянули на Гоголя, и потянулись вслед толпе к выносу...

— Господи! Сын бедного малороссийского дворянина из-под далекой Полтавы — и пожалуйте, весь цвет Москвы перед гробом! — подивился Николай Берг и тут же перекрестился, словно сказал нечто крамольное.

На что его товарищ по гимназии драматург Александр Островский довольно спокойно заметил:

— Это магия гения, Николай! Гений — он во всем гений: и в жизни, а уж в смерти тем паче... Вспомни гибель Пушкина!.. Меня другое занимает: говорят, он лестно обо мне отзывался. Выходит, благословил?

— Александр Николаевич, а верно, что Виельгорские приезжали попрощаться? — шепотом спросил еще один участник похоронных мероприятий, недавний выпускник университета Евгений Феоктистов.

— Полноте... очередные слухи, — ответил Островский. — Помните, про Иосифа Виельгорского наговаривали, теперь про Нози!..

— А может, жалеют, что отказали в сватовстве Гоголю? В лучшей аристократической церкви Москвы отпевание-то!

— Вы никак завидуете, Евгений Михайлович? — съязвил Островский. — Успеете еще!

— Может, если бы не отказали, был бы жив? — смущился Феоктистов. — Я это имел в виду...

— А-а... — протянул Островский. — Не думаю, что женщина его бы в этом мире удержала... он до них неохоч был. Да и стоит ли, как московские купцы говорят, «опосля» философствовать. Вы бы лучше господам студентам подсобили!

— Да, непременно! — обрадовался Феоктистов и с готовностью бросился на помощь.

— Ты что, Александр? — спросил Берг.

— Не люблю эту либеральствующую братию! Думаешь, он о Гоголе сожалеет? Себя пришел показать!

— Но ты резок!

— Волнительно на душе, Николай. Неспокойно!

— И мне не по себе. Да и не только нам. Смотри, наши профессора громко говорят, жестикулируют. И народ, видишь, как напирает... нервозность вокруг, а?

— Это его дух колобродит! Эх, колобродит! Чуешь?

— Чую.

Они ошиблись.

Гоголя не привлекала людская суeta. Дух его, хоть еще и связанный с телом, блуждал то в прошлом, то в будущем. Гоголь и прежде обладал даром перемещения, но узнавал крохи. Да рассказывал маменьке: то о железных дорогах, что вскоре опояшут всю землю паутиной, а то и вовсе о делах необыкновенных, о возможности разговоров и видении на отдалении друг от друга! Он даже пытался с маменькой так пообщаться, и маменька его слышала и однажды видела его, а он ее. А над ними с маменькой смеялись! Приписывали несусветное! Что якобы он, Никоша, придумал железные дороги!.. А он их — видел! ...Ах, эти упоительные видения! Как хотелось заглянуть туда — за черту — увидеть Россию будущего! И вот сейчас его дух свободен для полета! И вот настало его время!

С трудом оттеснив народ, актер и близкий друг Михаил Щепкин закрыл крышку гроба. Шевырев дал команду, но студенты вновь не позволили положить гроб с Гоголем, возвысили его над толпой и понесли на руках.

— Господа студенты! — обратился к ним профессор Грановский. — До Свято-Данилова монастыря *верст шесть* будет.

Но студенты лишь молча менялись местами, проваливаясь в глубоком снегу.

Накануне была метель, и поземка намела по сугробам причудливые узоры, словно сама природа дивилась смерти Гоголя. Так же причудливо извиваясь, потекли людские цепочки вслед: кто пеший, кто в санях. Сверху было видно, как далеко-далеко растянулось траурное шествие.

Гоголь всегда обожал дороги, множество сюжетов рождалось у него в путешествиях. А уж скорбная дорога и вовсе открывала просторы необъятные.



## СЕРЕГИНА ТЕТУШКА

Было это, если не изменяет мне память, в 1953 году. Я, студент факультета журналистики МГУ, после трех неудачных попыток напечатать свои юморески в журнале «Крокодил» уже готов был дать себе зарок на пушечный выстрел не подходить к этой заколдованный редакции. Но тогдашний заведующий отделом писем Евгений Весенин, с некоторой благосклонностью относившийся ко мне, неожиданно предложил:

— А почему бы тебе не взяться за обработку авторских писем под рубрику «Вилы в бок»? Литературной славы это тебе не принесет, поскольку фамилия твоя будет фигурировать не в журнале под заметкой, а только в гонорарной ведомости. Для бедного студента это уже кое-что. А там, глядишь, и со своим опусом прорвешься.

Я, разумеется, согласился и получил для начала два длиннющих письма, из которых следовало сделать одну двадцатистрочную сатирическую заметку. Это оказалось куда труднее, чем написать рассказ. Уж как я только не исхитрялся обыгрывать содержащиеся в письмах факты, обличавшие какого-то мелкого чиновника в волоките, никак не мог добиться, чтобы было и коротко и смешно. Лишь в самом конце отведенного мне недельного срока что-то более-менее юморное у меня получилось.

— Не шедевр, но для начала сносно, — оценил мои труды Весенин и вручил для обработки еще два письма, одно из которых меня особенно задело за живое, поскольку нечто похожее испытал и я в своей молодой жизни.

Вот суть этого письма. Несколько абитуриентов, не принятых в институт кинематографии, жаловались на необъективность приемной комиссии и в качестве доказательства приводили совершенно абсурдный факт, «имевший место» на недавних вступительных экзаменах.

И я загорелся, опираясь на этот факт, сочинить не крохотную заметку, а многострочный зубодробительный фельетон. И так горячо аргументировал в разговоре с Весениным закономерность своего намерения, что тот дал добро.

Прямо из редакции рванул я в кинематографический институт, нашел там молодых людей, бывших свидетелями возмутительного случая, о котором шла речь в письме. Фельетон был сочинен мною в один присест. Я дал прочитать его нескольким своим однокурсникам и, окрыленный их одобрением, на другой день, пожертвовав лекцией, примчался в «Крокодил».

Весенину тоже вроде бы понравилось мое творение, хотя ничего определенного хитрый еврей мне не сказал.

Два месяца редакция мурыжила мой фельетон, дважды возвращала на доработку и, наконец, решительно отвергла после конфиденциальных консультаций с какими-то специалистами.

Это меня так обидело, что, если бы не появление в журнале той первой заметки под рубрикой «Вилы в бок» и полученного за обработку неожиданно большого гонорара, мои деловые отношения с «Крокодилом» были бы окончательно порваны.

И опять многоопытный Весенин протянул мне руку помощи: дал совет убрать из отвергнутого фельетона всю «конкретику» и переделать его в безобидный юмористический рассказ.

— Смени саркастический тон на игривый, убери обличительные филиппики и сделай благополучную концовку. Только и всего.

Без особой надежды на успех взялся я за переделку. Но уж больно хотелось напечататься в «Крокодиле» под своей фамилией — утереть нос некоторым однокурсникам, кичившимся своим сотрудничеством в московских многотиражках.

Прошло несколько месяцев. И вдруг в канун нового 1955 года по почте в фирменном конверте приходит мне поздравление. Обрадованный таким вниманием я вмиг забываю обиду и бегу к телефону-автомату. Весенин узнает меня с полуслова.

«Куда же вы запропастились? Нехорошо, — слышу его дружеский упрек. — Редакцию завалили откликами на вашу заметку, а вы демонстративно отсиживаетесь на лекциях и в ус не дуете... Приезжайте непременно — представлю вас новому редактору».

Когда я на следующий день приехал в «Крокодил» с надеждой увидеть ну если не гору, так хотя бы пачку писем, касающихся моей заметки, то был весьма обескуражен: Весенин протянул мне три листочка. Два из них принадлежали перу авторов тех писем, которые легли в основу сюжета. Оба ругали редактора, который позволил «какому-то бессовестному плагиатору» воспользоваться их трудами, чтобы сочинить «дуряцкую фитильку» и получить за нее «чужой» гонорар.

Я прочитал эти обидные строки и растерянно посмотрел на улыбающегося Весенина.

— Все закономерно, — успокоил он меня. — Обычная реакция самолюбивых фискалов. Пойдемте-ка к шефу Мануилу Семенову.

Кряжистый черноволосый человек с калмыцким типом лица встал из-за стола и пошел навстречу нам. В одной руке он держал полный стакан крепкого чаю, в другой — дымилась сигарета. Пока Весенин пространно характеризовал меня как подающего надежду сатирика, Семенов неспешно пил чай, чередуя маленькие глоточки с глубокими затяжками табачным дымом. (Я такое оригинальное чаепитие наблюдал впервые!)

— Так что же вы нам принесли? — спросил у меня Семенов.

— В данный момент ничего, — смущился я.

— Обиделся сочинитель, — кивнул в мою сторону Весенин.

— Редколлегия отвергла фельетон, который он создавал как рассказ.

— Ну это вы совершенно напрасно, — улыбнулся Мануил Григорьевич. — В нашем деле издержки производства неизбежны. Привыкайте держать удары.

— Привыкнет, — подмигнул мне Весенин.

— А куда он денется, если вступил на тропу сатиры...

---

Нет, не привык я за сорок лет работы в журналистике и литературе спокойно воспринимать отказы редакций, даже если они облекались в исключительно любезную форму. Все эти сожаления, извинения, ссылки на то, что редакция имеет или уже использовала материал на подобную тему, казались мне неискренними, каковыми в большинстве случаев и являлись. Это оскорбляло и унижало, надолго оставляло в душе горький осадок.

После двух-трех безуспешных попыток напечатать материал в каком-нибудь периодическом издании, я охладевал к своему детищу и убирал рукопись с глаз долой. Потом с письменного стола она перекочевывала в старую объемистую папку, в которой беззаберно хранились газетные вырезки с чужими материалами, черновики своих, выписки из книг, всякие непричесанные заметки «по поводу»... Растолстевшую до предела папку заменял новой.

Годами не заглядывал я в это скопище отработанной писаницы. И только накануне архисерьезного домашнего аврала, собравшись с духом, перелопачивал содержимое папок на предмет избавления от плевел и натыкался на опальную рукопись. С интересом перечитывал ее, кое-что подправлял и по примеру своего любимого литературного героя Мартина Идена запускал в оборот.

Вот как выглядело мое сочинение.

\* \* \*

Хоть и был Серега Грушин признанным комиком местного народного театра, хоть и предсказывал ему великое будущее такой видный театрал, как главный пожарник Дома культуры Епифан Погорелов, все же на экзамены в театральное училище явился паренек с дрожью в коленках.

— Так что вы нам прочитаете? — спросил председатель комиссии, взглянув на Серегу сквозь толстые стекла очков.

— Монолог Хлестакова, — смущенно пролепетал Грушин.

— Ну-ну, слушаем.

Сергей начал неуверенно, запинаясь. Вдруг сковывающая его робость исчезла, слова полились легко, в жестах появилась та непринужденность, которую Серега ощущал на сцене во время хорошей игры. Но странное дело, председатель прервал разбушевавшегося Хлестакова на середине монолога и невозмутимо обратился к членам комиссии:

— Я думаю, достаточно. Все ясно, можете идти.

Серега даже ахнул от неожиданности. Он хотел было спросить мнение комиссии, но к столу уже подошел очередной абитуриент. Грушин только махнул рукой и, сокрушенный, вышел из зала.

В коридоре его окружила ватага любопытных. Серега не слышал их вопросов. Он стоял в центре круга, одинокий и несчастный, занятый своими невеселыми мыслями. Потом резко повернулся к двери и крикнул:

— Вы легко отделались от меня, но попробуйте избавиться от моей тетки!

С этими непонятными словами Серега бросился бежать по лестнице к выходу...

Через полчаса, когда этот инцидент был уже забыт, в училище появилась забавная старушка, одетая в старомодное, пахнущее нафталином платье, в широкополой шляпе с ощипанным павлиньим пером. Весь вид ее будто говорил — я из прошлого века.

Она нахально приставала к каждому встречному с требованием проводить к самому главному начальнику, чтобы лично пожаловаться на черствость экзаменаторов, проваливших ее талантливого племянника. Старушка собрала вокруг себя довольно большую группу любопытных.

— Вы представляете, — горячо говорила она с ярко выраженным французским акцентом, — Серж Грушин исключительно одаренный юноша. Уж я-то знаю толк в актерах, я сама всю жизнь вращалась в этой богеме. В девяностом году на Рождество в Петербурге, наверное, помните... Ах, простите, я совсем упустила из виду, что говорю с молодыми людьми. Но ваши-то родители, наверное, помнят... Что?! И их еще не было на свете? Ну деды — спросите у них, кто в девяностом году вместе с Ермоловой гремел по сценам России? Да что Россия — Париж! Я в Париже была звездой. Меня сама Сара Бернар боялась...

И так далее, и тому подобное...

Каким-то образом, несмотря на протесты секретарши, старушке удалось прорваться в кабинет директора. Там в это время шло какое-то совещание преподавателей училища.

Не дав присутствующим опомниться, нахальная бабуся уселась в свободное кресло по правую руку директора и принялась безудержно говорить:

— Вы меня, конечно, не знаете. А было время, когда в Европе мое имя произносили с благоговением. Франц-Иосиф, король австрийский, целовал мои руки. Шаляпин... Сам Шаляпин делал мне предложение... Зачем я это говорю? Бонжур, сейчас объясню! Мой племянник Серж Грушин приехал, чтобы поступить в ваше училище. Это же будущий великий актер, уж верьте мне! А его, как самого бездарного мальчишку, выгнали с экзаменов, даже не дали доказать монолог Хлестакова... Не перебивайте меня!.. Не так нас учил покойный Станиславский обращаться с молодыми талантами! Я сама была молода, и когда меня в «Синей птице» шестьдесят восемь лет назад заметил Пров Садовский, он сказал мне... Вас это не интересует? Прекрасно, тогда я расскажу, как мне удалось отыскать в Казани, в этой дыре, юношу Качалова и устроить его в Художественный театр... А Москвин, Книппер? Это тоже мои протеже! Видите, я в них не ошиблась! И не ошибусь в Грушине... Боже мой, неужели этот мальчик не увидит света рампы, не услышит грома аплодисментов! Нет-нет, я не переживу этого! Вы мне поможете? Обещайте, я прошу вас!

В довершение всего эта языкастая бабуся закатила истерику. Испуганный директор схватился за телефон, чтобы вызвать «скорую помощь», кто-то бросился к графину с водой.

— Нет-нет, не надо! — кричала старушка сквозь слезы. — Позовите председателя экзаменационной комиссии — это меня исцелит!

Через две минуты в кабинет директора вошел срочно вызванный председатель.

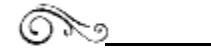
— Скажите, Василий Степанович, вы прослушали Сергея Грушину? — обратился к нему директор. — Он действительно... безнадежен?

— Кто вам сказал? — удивился председатель комиссии. — Наоборот, это очень одаренный юноша — прирожденный комик. Послушали бы, как он читал Хлестакова... Мимика, жест... Удивительные способности! Я даже не стал слушать его до конца. Если сдаст общие экзамены, с радостью возьму в свою группу.

— Что вы сказали? — воскликнула старушка изменившимся голосом. — Меня в свою группу!

— Простите, — начал директор и поперхнулся.

Все с изумлением взглянули на старушку и ахнули. Из-под ее старомодной шляпы выбилась и болтала на веревочке за ухом букля седых волос, а лицо... Перед ними в женском платье сидел молодой парень. Он, забыв обо всем, смотрел на председателя широко раскрытыми, сияющими счастьем глазами. Ну конечно, это был наш старый знакомый — Серега Грушин.



## АНЕКДОТЫ

Народ и в слове — дока,  
Куда тебе, поэт!  
Какие анекдоты  
Пустил на белый свет!

Без паспорта, без визы  
Летя во все концы,  
Они врывались в избы,  
В лачуги и в дворцы.

Их слушали с усмешкой  
И хотели так,  
Что был на ад кромешный  
Похож в тот миг кабак.

У работяг в отрепьях  
Чечетку бил кадык.  
С зла бросало в трепет  
Влиятельных владык.

Остры, неумолимы —  
Народ, брат, не дурак!..  
С оглядкой подхалимы  
Хихикали в кулак.

А тип довольно частый  
Уже вилял хвостом  
И на ухо начальству  
Нашептывал о том.

О, их не уважали  
Не только короли!  
За них в тюрьму сажали  
И на расстрел вели.

Строчил донос доносчик  
Про то, как ржал народ,  
И в «черный ворон» ночью  
Сажали анекдот.

Но, пробивая доты  
Запретов и цензур,  
Сверкали анекдоты,  
Как молнии в грозу.

Их бьют — они живые!  
У тех, кто бил их, вдруг,  
Как черви дождевые,  
Кривились ленты губ.

Сергей Потехин

\* \* \*

Я живу в стране богатой,  
Вознесенной до небес.  
Я иду войной с лопатой  
На технический прогресс.

Говорят, была разруха —  
Нынче подняли страну.  
Я вилами тычу в брюхо  
Дядисэмову слону.

Полон космос кораблями.  
Жизнь прекрасна, как в кино.  
Я гребу, гребу граблями  
Аргентинское зерно.

Я жую, жую галету  
Из немецкого пайка.  
Маяковскому-поэту  
Наша слава на века!

\* \* \*

Мы встречались без восторга,  
Без бантов, цветов и лент.  
Ваша душенька отторгла  
Инородный элемент.

Не дошло до алиментов.  
И за то судьбе мерси.  
Я ж не из интеллигентов.  
Не катаюсь на такси.

В закутке стоят овечки.  
В блюдце мокнет мухомор.  
Целый день лежу на печке  
Да курю свой «Беломор».

Голубые кольца дыма  
Поскромней бантов да лент,  
А любовь проходит мимо —  
У нее другой клиент.

Вяч. Смирнов

### ПРИТЧА О БЛАГОДЕТЕЛЕ

Богач раздобрился,  
что маловероятно:  
он бедняку дал сапоги  
бесплатно.  
«Бери, — сказал богач, —  
без всяких денег, даром.  
Ты будешь мне  
премного благодарен!»  
Худые сапоги  
и жесткие, как жесть,  
а бедняку отдать —  
какой красивый жест!  
«Вот видишь, на меня  
порой находит блажь...  
Заблещут сапоги,  
их только жиром смажь.  
И никогда не забывай  
о том, любезный,  
что я тебе вручил их  
безвозмездно!..»  
Богач напоминал  
при встречах то и дело:  
«Ну как там сапоги?  
Они, надеюсь, целы?»  
Зашли богатый с бедным  
вместе в Божий Храм.  
Богач о сапогах  
 заводит речь и там.  
«Не жмут?» —  
он прошептал,  
склонясь перед иконой.  
И тут впервые  
прозвучал ответ резонный:  
«Ох, как ты надоел мне!  
Видит Бог —  
душа в мозолях  
от твоих сапог!»

# ПАРОДИИ

Юрий Семенов



## ШЕСТЬ СОТОК

Есть горожанин на природе.  
Он взял неделю за свой счет  
и пастерначит в огороде,  
и умиротворенья ждет.

Сергей Гандлевский

Сосед по даче дело начал,  
Смотреть на это — выше сил:  
Он грядок пять опастерначил  
И десять грядок освеклил.

И каждый день, и каждый вечер  
Не отрывался он от дел:  
Все сельдереил, огуречил  
И, прямо окажем, офигел.

Жене, и теще, и свекрови  
Его в работе не унять.  
Он все малинил и морковил,  
И ревенел, томата мать.

Перемешал с навозом душу,  
Я за него переживал,  
А он капустил и петрушил,  
Турнепсил, репил, спаржевал.

Таким соседушкой по даче  
Бог ненароком наградил.  
Он тут такого нахреначил,  
Что в городе не городил...

## ЖАРА

Всего две остановки — капля, малость.  
Входили люди. Ехал кто куда.  
Она сошла. А теплота осталась.  
Бывает же такое иногда.

Ирина Баринова

И ехать-то ей было недалечко,  
Но все-таки в трамвай она вошла,  
Она вошла, горячая, как печка,  
Всех мужиков мгновенно обожгла.

У мужиков слегка съезжала крыша,  
Они к своим сиденьям приросли.  
Две остановки — и  
Сошла, не вышла,  
И мужики, видать, с ума сошли.

А теплоты осталось столько много,  
Такой всепоглощающей притом,  
Что мужики хватали всю дорогу  
Горячий воздух конвульсивным ртом.

## ТАК ЛУЧШЕ

Немного дней счастливых было.  
Я буду долго вспоминать  
Того, которого забыла,  
и сыну шапочку вязать.

Валентина Юдина

Смешно, наверно, это слишком,  
Какой должна иметь я вид —  
Совсем забыла про парнишку,  
А он все в памяти сидит.

Но этого не знают люди,  
И я не смею им сказать.  
А что сказать? Кататься любишь,  
Люби и шапочки вязать.

Счастливых дней совсем немного  
Нам отпустили для утех.  
А то пришлось бы, ей-богу,  
Мне открывать вязальный цех.

## СЛЕВА НАПРАВО

Но судьба по-своему нередко  
Строит жизни простенький сюжет:  
Есть жена и даже есть соседка,  
А любви, какой мечталось, нет.

Виктор Манякин

Я по жизни бьюсь, как птица в клетке,  
И сегодня хмурый встал с утра,  
Обругал жену, сходил к соседке,  
Ну а завтра так же, как вчера.  
Вновь судьба по пошлой теореме  
Строит все сюжеты наугад,  
Мне бы тошно было и в гареме —  
Там ведь не любовь, а суррогат.  
А вообще, зачем беситься с жиরу?  
Я решил сознательно вполне —  
Перейду в соседку квартиру,  
А налево сбегаю к жене.

## ПРИГОВОР

— Прощай! Нам отныне детей не рожать,  
Больших головастых мальчишек.  
Тебе под окошком рукой не махать,  
А мне твоих слов не услышать.

Владимир Сидоров

Рожал я с тобой головастых парней,  
Не каждому это знакомо.  
Ко мне ты ходила при свете огней  
Под окна родильного дома.  
Махала руками, махала платком,  
Лимоны несла, апельсины.  
Кричала: «Володя! Ну как с молоком?  
Ну скоро вас выпишут с сыном?»  
Не знаю теперь, как себя удержать  
И с горя опять не напиться, —  
Ведь доктор сказал, что не буду рожать.  
Мне впору теперь утопиться...



## ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ

### ИЗДАНЫ И ПОСТУПИЛИ В РЕАЛИЗАЦИЮ 1996-1997 гг.

#### Проза

Константин Абатуров «Моя Шача»  
Виталий Пашин «Вот такое кино...»  
Борис Бочкин «Огневица»  
Олег Каликин «Зулька» (Галич)  
Михаил Базанков «Вольному воля», роман  
Ольга Гуссаковская «Персиковая коробка»  
Василий Травкин «Пастушок Ваня...»  
Олег Каликин «Незваный гость» (Галич)  
Михаил Базанков «Не ищи жар-птицу за морем»  
Фаина Соломатова «Корень любви» (Шарья)  
Михаил Базанков «Свет и цвет судьбы»  
Олег Каликин «Вечерний поезд» (Галич)  
Олег Каликин «Мы жили по соседству» (Галич)  
Екатерина Тихомирова «Чухлома и чухломичи»

#### Поэзия

Вячеслав Смирнов «Верь — не верь»  
Анатолий Беляев «Музыка для уставших»  
Светлана Виноградова «Дорога домой»  
Виктор Смирнов «Деревенский дым»  
Николай Муренин «Земная дорога»  
Борис Дроздов «Охотничий ужин»  
Олег Хомяков «Русский век» (Шарья)  
Вера Клевич «Признание» (Галич)  
Ольга Колова «Пугливая птица»  
Алексей Скуляков «Стихи — моя стихия»  
Елена Балашова «Высокий свет»  
Татьяна Дмитриева «Перекрестки» (Шарья)  
Леонид Попов «Лета нашего итог»  
Джуди Хоган «Бобриная душа»  
Юрий Балакин «Волшебный рог» (Галич)

#### Другие издания

Альманах «КОСТРОМА»  
Сборник «Откровение» (Волгореченск)  
Сборник «Надежда» (Парфеньево)  
Юрий Лебедев «Русская литература», учебник, 3-е изд.  
Юрий Шибаков «Всегда в поиске» (Шарья)



## СОДЕРЖАНИЕ

Михаил БАЗАНКОВ. И встретимся вновь .....	3
Мудрость Островского. К 175-летию со дня рождения.....	6
Вячеслав ШАПОШНИКОВ. Стихи. ....	8

## ПРОЗА

Владимир КОРНИЛОВ. Волга. ....	16
Михаил БАЗАНКОВ. Домой. ....	26
Борис БОЧКАРЕВ. Катанки. ....	46
Владимир СТАРАТЕЛЕВ. «Мне бесконечно жаль...» .....	55
Олег КАЛИКИН. Вокруг озера. ....	62
Алексей АКИШИН. Ружье, которое не стреляет. ....	70
Константин АБАТУРОВ. Золотой Починок. ....	75
Олег ХОМЯКОВ. Мой взгляд на Астафьеву. ....	87
Фаина СОЛОМАТОВА. На небо взглянуть из толпы....	91
Ольга ГУССАКОВСКАЯ. Там, на неведомых дорожках...	98
Михаил ЗАЙЦЕВ. Ветла на Неворотимой. ....	103

## ПОЭЗИЯ

Виктор ЛАПШИН. ....	110
Леонид ПОПОВ. ....	115
Сергей ПОТЕХИН. ....	118
Татьяна ИНОЗЕМЦЕВА. ....	122
Елена БАЛАШОВА. ....	124
Станислав МИХАЙЛОВ. ....	126
Татьяна ДМИТРИЕВА. ....	128
Ольга КОЛОВА. ....	132
Евгений РАЗУМОВ. ....	134
Алексей ЗЯБЛИКОВ. ....	137
Борис ДРОЗДОВ. ....	141
Светлана ВИНОГРАДОВА. ....	144
Алексей МАЛАХОВ. ....	146
Владимир МАКСИМОВ. ....	150
Алексей СКУЛЯКОВ. ....	152
Анатолий БЕЛЯЕВ. ....	153
Виктор СМИРНОВ. ....	156
Юрий СЕМЕНОВ. ....	158
Вяч.СМИРНОВ. ....	160

## СТАТЬИ,ОБЗОРЫ,РЕЦЕНЗИИ

Юрий ЛЕБЕДЕВ. «Когда гроза взойдет...» .....	161
Алексей БАЗАНКОВ. Повторение пройденного. ....	175
Константин ВОРОТНОЙ. Тайнопись славянской азбуки.	185
Борис НЕГОРЮХИН. Поэты и птицы. ....	188
Павел КОРНИЛОВ. Свершенная воля. ....	191
Роман СЕМЕНОВ. Вопросы без ответов. ....	195
Евгений СТЕПАНЕНКО. «Хочется ходить в театр за озарением...» .....	197

## ДЕТСКАЯ ТЕТРАДЬ "СОЛНЫШКО"

Евстolia ПРОКОФЬЕВА. Этуды о природе. ....	206
Василий ТРАВКИН. Нахodka. ....	208
Николай МУРЕНИН. Стихи. ....	221
Вяч. СМИРНОВ. Читаем вслух. ....	222
Александр ХЛЯБИНОВ. Рассказы. ....	225
Николай ШОРИН. Зарисовки. ....	226

## САТИРА И ЮМОР

Павел РУМЯНЦЕВ. Скорбная дорога. ....	229
Виталий ПАШИН. Серегина тетушка. ....	233
Анатолий БЕЛЯЕВ. Стихи. ....	238
Сергей ПОТЕХИН. Стихи. ....	239
Вяч.СМИРНОВ. Стихи. ....	240
Юрий СЕМЕНОВ. Пародии. ....	241

## ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ

Изданы и поступили в реализацию. ....	244
---------------------------------------	-----



## К О С Т Р О М А

Литературный сборник

Издания Костромской писательской организации осуществляются в связи с принятой региональной программой изучения русской литературы.

За справками обращаться по адресу:  
156005, г.Кострома, пл. Конституции, 1.  
Костромская писательская организация.  
Телефоны: 57-21-91, 57-35-02.

Общее и художественное  
редактирование — М.Ф.Базанков  
Редактор — Е.А.Разумов  
Художник — М.Ф.Базанков  
Техническое редактирование, компьютерный  
набор и оригинал-макет — А.М.Базанков  
Корректура — Е.А.Разумов, Н.Т.Перетягина

Издание осуществлено при участии  
Костромской областной администрации.

Сдано в набор 20.12.97г. Подписано к печати 5.03.98г.  
Заказ №918. Печать офсетная. Учетно-типографских 15,5 п.л.  
Учетно-издательских 17,5 п.л. Тираж 1200 экз.

Отпечатано в областной типографии им. М.Горького  
управления по делам печати и массовой информации  
администрации Костромской области,  
г. Кострома, ул.П.Щербины,2.